

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·
· ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД



2002

ИЮЛЬ

АВГУСТ

Содержание

СТАТЬИ

- Шнирельман В.А.* (Москва). Русские, нерусские и евразийский федерализм: Евразийцы и их оппоненты в 1920-е годы 3
Косик В.И. (Москва). "Молодая Россия" (К вопросу о русском фашизме) 21
Ефимова В.С. (Москва). Местоимение первого лица в древнейших славянских текстах 32

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

- Бонацца С.* (Верона). Южнославянская проблематика в журнале Ватрослава Ягича "Archiv für slavische Philologie" 43
Ботт М.-Л. (Берлин). "Филология" или "изучение противника"? Славянский институт М. Фасмера в развитии славистики в Германии (1925–1932) 57
Аксенова Е.П. (Москва). Записка А.В. Флоровского 1938 г. "Славянскому институту в Праге" 65

СООБЩЕНИЯ

- Калинина Т.М.* (Москва). Этиологическая и этимологическая легенды персидского писателя XI в. Гардизи о славянах 68
Королев Г.И. (Москва). Изучение гербовых грамот в венгерской, словацкой и чешской историографии 74

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Матейич П.* A Fotić. Sveta gora i Hilandar u Osmanskom carstvu XV–XVII vek 82
Деньщикова А.В. Н.П. Гордеев. Пражская научная школа конца XVI – начала XVII века 86
Никитин С. S. Aloe. Angelo De Gubernatis e il mondo slavo: Gli esordi della slavistica italiana nei libri, nelle riviste e nell'epistolario di un pioniere (1865–1913) 89
Задорожнюк И.Е. R. Paradowski. Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei. 91
Казнина О.А. G.S. Smith. D.S. Mirsky: A Russian-English Life (1890–1939) 94

<i>Досталь М.Ю.</i> L. Harbul'ova. Ladomirovske reminiscencie. Z dejin ruskej pravoslavnej misie v Ladomirovej. 1923–1944 гг.	99
<i>Васильев М.А.</i> Неоязычество на просторах Евразии	100
<i>Фридман М.В.</i> G. Barbă, L. Cotorcea, A. Crasovschi. Слово о полку Игорево. Cântecului oastei lui Igor	105
<i>Гаврюшина Л.К.</i> Дж. Трифунович. Ка почецима српске писмености	107
<i>Костюхин Е.А.</i> Е.Г. Водолазкин. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палеяного повествования XI–XV веков)	112
<i>Гусев В.Е.</i> Glagoljski fragmenti Ivana Bercica u Ruskoj Nacionalnoj biblioteci. Faksimili. S.O. Vialova. Glagoljski fragmenti Ivana Bercica u Ruskoj Nacionalnoj biblioteci. Opis Fragmenta	115
<i>Турилов А.А.</i> А. Джурова, К. Станчев. Описание славянских рукописей Папского восточного института в Риме	117
<i>Рыжова М.И.</i> Prešernovi dnevi v Kranju. Simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franca Prešerna	125

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Ефимова В.С.</i> Чтения по проблемам славистики и болгаристики, посвященные юбилею Е.И. Деминой	129
<i>Лантева Л.П.</i> IX Международный сорабистический фестиваль во Львове	131
<i>Першай А.Ю.</i> Супруновские чтения в Белорусском государственном университете	132

ЮБИЛЯРЫ

К юбилею Светланы Михайловны Фалькович	134
К юбилею Людмилы Норайровны Будаговой	135
Марк Яковлевич Гольберг	137

НЕКРОЛОГИ

Памяти Льва Никандровича Смирнова	139
Памяти Раисы Романовны Кузнецовой	140
Новые издания Института славяноведения РАН	142

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.К. ВОЛКОВ (главный редактор), **А.В. БОЛДОВ** (отв. секретарь),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, **Г.К. ВЕНЕДИКТОВ**, **Р.П. ГРИШИНА**,
В.И. КОСИК, **Г.Ф. МАТВЕЕВ**, **В.В. МОЧАЛОВА**,
С.В. НИКОЛЬСКИЙ, **В.Я. ПЕТРУХИН**,
М.А. РОБИНСОН (зам. главного редактора), **Л.А. СОФРОНОВА**,
Б.Н. ФЛОРЯ, **В.А. ХОРЕВ**, **Т.В. ЦИВЬЯН** (зам. главного редактора)
Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),
Васильев М.А. (отдел истории).

Зав. редакцией *Е.В. Пономарева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А.*, *Веслова И.Ю.*, *Кошкина Е.А.*

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32а. Телефон 938-01-20
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru



© 2002 г. В.А. ШНИРЕЛЬМАН

РУССКИЕ, НЕРУССКИЕ И ЕВРАЗИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ЕВРАЗИЙЦЫ И ИХ ОППОНЕНТЫ В 1920-е ГОДЫ

Около середины XIX в. в политической жизни Европы наметились глубокие сдвиги – нарастание общедемократической тенденции "разбудило" малые безгосударственные этнические группы, которые возвысили свой голос и настоятельно потребовали у крупных господствующих народов предоставить им равное участие в политической жизни, гарантировать доступ к жизненно важным экономическим и финансовым ресурсам, проявлять уважение к своим культурным традициям и т.д. В конечном итоге был поставлен вопрос о политической самостоятельности ранее "безгласных" малых народов и создании новых государств там, где прежде существовали огромные многонациональные империи. Первой начала рушиться и дробиться Оттоманская Порты. Австро-Венгрия пыталась спасти ситуацию путем политико-административной реорганизации и принятия законов, расширяющих права этнических меньшинств.

В России, начиная с последней четверти XIX в., происходила борьба двух противоположных тенденций. С одной стороны, с 1880-х годов заявил о себе русский этнический национализм, выразившийся в нарастании шовинистической агитации и еврейских погромах; с другой – на окраинах наблюдался рост национальных движений, сыгравших не последнюю роль в революции 1905–1907 гг. и заставивших I Думу всерьез заняться вопросом о статусе национальных меньшинств в России [1].

Вместе с тем даже среди русских либералов и социалистов, не говоря уже об открытых консерваторах, преобладало стремление любыми путями сохранить территориальную целостность Российской империи [1. С. 11–24]. Однако было ясно, что старая российская идеология, делавшая гарантом государственной целостности исключительно правящую династию, была непригодна для этого, ибо после реформы 1861 г. общественно-политическая ситуация в стране кардинально изменилась. Россия вступила на путь демократизации, и архаический принцип самодержавия, основанный на наследственной монархической власти, авторитарном правлении и вере в безусловную поддержку царя народом, начал подвергаться сомнению. В новых условиях на место субъекта государственности постепенно начинал претендовать народ России, представленный ее гражданами. Иными словами, важнейшим актером на политической сцене России становилась российская нация.

Как известно, становлению и развитию буржуазных наций в Европе способствовала свойственная им идеология национализма, консолидировавшая жителей государства на принципах общего гражданства. Этот принцип действовал безотносительно

Шнирельман Виктор Александрович – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.

к какой-либо культурной или языковой вариативности, хотя со временем условия модернизации требовали определенной культурно-языковой гомогенности [2]. Специалисты обычно подходят к национализму дифференцированно, различая несколько его типов. Одна из наиболее детальных классификаций была предложена Питером Олтером, выделившим два главных типа национализма: 1) тип рисорджименто и 2) интегральный национализм [3. Р. 28–40]. Первый из них связан с освободительным движением либо против прежней абсолютистской власти, не соответствующей новым политическим и экономическим реалиям (в Западной Европе), либо против правящей денационализированной элиты (в Центральной и Восточной Европе). Это – либеральный национализм, связанный с формированием наций и национальных государств и направленный против всех форм угнетения. Олтер делит его на такие подтипы как политический, экономический и культурный, в зависимости от того, какие проблемы стоят в центре борьбы. В свою очередь, внутри культурного национализма иногда можно выделить лингвистический и религиозный подтипы. Если тип рисорджименто направлен на создание единого национального государства из автономных прежде компонентов, его можно отнести к объединительному национализму (Италия, Германия), а если на формирование отдельных государств на развалинах прежней империи, то это будет национализм сецессионного типа (греки, чехи, финны, ирландцы).

К типу рисорджименто близок восточный национализм, который Олтер называет реформистским. Это движение характерно для некоторых азиатских стран второй половины XIX в., которые обнаружили свое экономическое и военное отставание от государств Запада. Для преодоления этого там началось движение за реформы и создание современного национального государства, для чего пришлось позаимствовать с Запада националистическую идеологию (примеры – Япония, Османская империя, Китай, Египет).

Прямо противоположен рисорджименто по духу интегральный национализм, который, по Олтеру, отличается радикализмом, экстремизмом, воинственностью, экспансионизмом, реакционностью. Это – правое движение, основоположником которого был Шарль Моррас (он-то и дал ему название). Моррас видел в этом национализме разновидность религии и призывал к мистическому культу земли и умерших, что будто бы накладывало особые обязательства на живых. Интегральный национализм стремился полностью подчинить волю индивида одной идее – идее нации. Если национализм типа рисорджименто основывался на равенстве всех национальностей и подчеркивал примат прав личности, то интегральный национализм превращал данную нацию в Абсолют и требовал либо насильственной ассимиляции, либо этнических чисток. Интегральные националисты исходили из идей социального дарвинизма и опирались на понятие борьбы за существование, которая будто бы определяла взаимоотношения между отдельными нациями. Именно этими идеями питались фашизм в Италии и национал-социализм в Германии. Совершенно очевидно, что интегральный национализм был характерен для стран с "отложенной модернизацией", которые с тревогой и завистью смотрели на своих более "продвинутых" соседей.

Российский политический путь к современной государственности мало чем отличался от европейского (см.: [4]), хотя Россия и вступила на него позже, чем многие другие европейские государства. Правда, у России имелась своя специфика, состоявшая в исторически сложившейся значительной культурной и конфессиональной гетерогенности, закрепленной российским законодательством и политической практикой. Как в этих условиях следует формировать единую нацию, из кого она должна состоять и на каких принципах базироваться, каким может быть содержание национализма в российских условиях, что должна представлять собой национальная культура и какой язык способен стать общенациональным, как он должен соотноситься с другими языками, бытующими в пределах государства, – все эти вопросы очень остро звучали и активно обсуждались российскими мыслителями на рубеже XIX–XX вв.

Начиная со второй половины XIX в. идея национализма активно обсуждалась русскими и нерусскими философами и историософами, занятыми выработкой новой

идеологии. В ходе этой дискуссии быстро выявилось, что ни о какой единой националистической платформе речи быть не могло. Среди русских мыслителей уже в начале XX в. определились два направления, сходные как с рисорджименто (П.Б. Струве [5; 6]), так и с интегральным (М.О. Меньшиков [7]) типами. При этом если русские мыслители призывали к единству ради сохранения целостности отечества и его защиты от внешних врагов, то их оппоненты указывали на вопиющие факты дискриминации нерусского населения и требовали полноправия в политической, социальной, культурно-языковой или конфессиональной сферах. Иными словами, единой националистической идеологии не получалось; вместо нее параллельно формировались разные националистические идеологии, вступавшие в живой диалог друг с другом.

Одним из наиболее ярких участников этой дискуссии являлся выдающийся русский философ-либерал Вл. Соловьев. Он трактовал "национальный вопрос" с христианских позиций и, основываясь на органической теории, полагал, что "различные народы суть различные органы в целом теле человечества" [8. С. 10, 25]. Поэтому он видел в национализме исключительно национальный эгоизм, ведущий к борьбе за превосходство, к культурному насилию, к угнетению одних народов другими и призывал народы преодолеть свою природную ограниченность, признать себя частью вселенского целого и служить всечеловеческим, а не своим узкокорыстным интересам [8. С. 11–13, 21–22]. Будучи либералом, Соловьев признавал права народов на самостоятельное существование, протестовал против насильственной обрусительной политики и в то же время стоял за нерушимое государственное единство России и не видел ничего предосудительного в "мягкой", "естественной" ассимиляции нерусских народов. Чувствуя некоторую противоречивость своей позиции, он настаивал на том, что в отличие, например, от немцев русский народ не считает государственность самоцелью и политический фактор стоит для него на втором плане. Возделенной целью русского народа является "правда", воплощенная в православной церкви.

Какими бы привлекательными ни казались на первый взгляд идеи Соловьева, они без труда обнаруживали имперский подход к действительности (подробно см. [9. С. 114–115]). Они вполне отвечали той атмосфере, которая преобладала в кругах либеральных мыслителей второй половины XIX в. Но сегодня, когда на повестке дня стоит вопрос о правах этнических меньшинств, такие взгляды трактуются некоторыми авторами как великодержавные и даже шовинистические [4. Р. 30 ff.; 10, Р. 17–20].

Между тем многие воззрения Вл. Соловьева нашли свое продолжение в концепции евразийцев, которые ставили своей целью спасение целостности Российского государства. Во имя этого они разрабатывали идеологию, которая способствовала бы единению всех входивших в него народов. Основными ее компонентами были концепции замкнутого географического и культурного мира России-Евразии (идея автаркии), иерархического строения культуры на принципах "соборности", духовной (религиозной) сущности культуры, идеологического единства (идеократии), включающего "общеевразийский национализм", и в то же время элитарного членения культуры на "высокую" и "низкую". Роль связующего ядра в евразийском сообществе отводилась русскому народу. Естественно, евразийцы отвергали сепаратизм и узкий этнонационализм, в том числе и русский, справедливо видя в них угрозу единству. Ради территориальной интеграции они жертвовали общностью крови и сознательно отказывались от "славянской идеи" многих своих предшественников. Зато они всемерно развивали "туранскую идею", означающую родство восточных славян с финно-угорскими и тюрко-монгольскими народами (подробнее см. [11; 12]).

Евразийцы мечтали о том, что разработанная ими идеология послужит сплочению всех граждан новой России. Поэтому нам должно быть небезынтересно, какую реакцию она вызвала в лагере их оппонентов, в чем они видели плюсы и минусы этой идеологии. Особый интерес для нас может представить критика евразийства со стороны лидеров нерусских национальных движений, так как ведущийся с конца 1980-х годов дискурс по национальному вопросу по многим позициям напоминает тот, который был инициирован в 1920–1930-е годы евразийцами (см., например: [13]). Мало того,

аналогичные дискуссии ведутся в последние годы и на Западе в связи с обсуждением проблем мультикультурализма. Это и стало поводом для написания данной статьи, посвященной евразийскому дискурсу.

Мне уже приходилось отмечать, что евразийское решение национального вопроса основывалось на теории культуры, разработанной евразийцами (подробно об этом см.: [12]). Евразийцы настаивали на том, что Россия – это не просто обычное государство, каких много на планете. Они доказывали, что ей суждено быть целостным культурным евразийским миром, для чего имелись все предпосылки – геополитическое единство, единство этнической системы и культурно-историческое единство. Однако для того, чтобы этот мир получил политическое оформление в виде многонационального государства, каждую "нацию" надлежит признать особой личностью, все "нации" должны получить равный статус, и у каждой из них должны быть свое правительство и своя этническая территория в пределах единого государства. В то же время всем им надлежит признать "органические" связи с государственным единством и, развивая свои оригинальные культуры, религии и представления о прошлом, избегать шовинистических уклонений [14; 11. С. 117]. Последний сюжет представлял для евразийцев предмет особой заботы, ибо они с тревогой отмечали рост этнического национализма и сепаратизма в СССР в 1920-е годы, что, на их взгляд, угрожало государственному единству. Чтобы предотвратить распад государства, Н.С. Трубецкой, например, предлагал сознательно создавать "общий этнический (национальный) субстрат", который бы занял то место, которое в прошлом принадлежало русским. Такой субстрат мог возникнуть лишь при условии добровольного объединения народов СССР и стал бы некоей "многонародной нацией", т.е. евразийской нацией с собственным национализмом, который можно было бы назвать "евразийским" [15]¹. Иными словами, в данном контексте Трубецкой использовал термин "национализм" в западноевропейском смысле, но, вслед за Струве, придавал особое значение его культурному содержанию, ибо он не верил в лояльность граждан государству, если эта лояльность не опиралась на крепкое культурное единство.

Любопытно, что Трубецкой допускал существование в стране разных национализмов. Однако, чтобы они не привели к сепаратизму, он предлагал сформировать из них определенную многослойную структуру. Иными словами, каждый гражданин Евразии должен был, по его мнению, осознавать не только свою этническую, но и евразийскую (т.е. государственную) принадлежность, т.е. иметь двойную идентичность. Трубецкой предчувствовал, что одна лишь формальная государственная принадлежность не является достаточным основанием для прочного государственного единства. Понимая огромную роль идеологии в современном обществе (он называл это явление "идеократией"), он был убежден в необходимости формирования крепкого общеевразийского самосознания, при отсутствии которого России-Евразии неминуемо грозил распад.

В то же время евразийцы были неспособны преодолеть свою подозрительность в отношении других, нерусских, национализмов. Вот почему Трубецкой настаивал на отчетливом разграничении между "истинным" и "ложным" национализмами. И вот почему, развивая эту его мысль, Н.Н. Алексеев писал, что "русский национализм... менее всего питает в себе национальный партикуляризм" и никогда не был связан ни с каким "узким (т.е. вредным) национализмом". По его словам, принцип национального эгоизма никогда не лежал в основе российской государственной политики ([17. С. 258]; см. также [18]). По сути, то, что евразийцы называли "истинным национализмом", во Франции XVIII в. именовалось космополитизмом. И неслучайно весьма чуткий к интересам этнических меньшинств лидер чешских националистов Т. Масарик усматривал в последнем не что иное, как претензию Франции на мировое доминирование, основанное на верховенстве французской культуры [19, S. 73]. Нечто подобное пропагандировали и евразийцы, подразделяя культуру на "высокую"

¹ К этим аргументам сторонники интеграции прибегают и сегодня. См., например, [16. С. 339].

(элитарную) и "низкую" (этнографическую) и отводя русской культуре почетное место фундамента для формирования "высокой" общеевразийской культуры. Так, например, по мнению Л.П. Карсавина, "русское первенствовало и первенствует донныне как наилучший носитель общеевразийского", и в этом у русского начала не было и не предвидится конкурентов [20]. Трубецкой также был согласен с тем, что по определенным причинам русский народ был призван играть первенствующую роль среди всех других народов государства [15. С. 25].

Ясно, что такая позиция была неприемлемой для интеллектуалов нерусского происхождения, которые вступали в ожесточенный спор с евразийцами. Это особенно отчетливо высветила дискуссия об "украинской проблеме", которая проходила во второй половине 1920-х годов. Дискуссия имела свою предысторию, интересную тем, что позволяет обнаружить дореволюционные корни евразийского дискурса и рисует ту накаленную атмосферу, в которой воспитывались будущие активисты евразийского движения. Речь идет об обсуждении украинского вопроса на страницах либерального журнала "Русская мысль", происходившем в 1911–1912 гг., где оппонентами выступали видный общественный деятель, редактор этого журнала П.Б. Струве и безымянный автор, подписавшийся псевдонимом "Украинец". Несмотря на господствующую в стране реакцию, Струве полагал, что все мыслящие люди России должны задуматься о будущем культурном облике страны, ибо реакция пройдет, а культурно-языковые проблемы останутся, причем в условиях демократии их острота возрастет. Позиция самого Струве заключалась в том, что в будущей России он видел "национально русское государство", понимая под "русским" триединство великороссов, малороссов (украинцев) и белорусов. Такой взгляд не в последнюю очередь диктовался данными всероссийской переписи 1897 г., по которой великороссы составляли 43% населения, тогда как численность всего восточнославянского населения достигала 65% обитателей России. Это-то доминирующее "триединство" Струве и объявлял "русской нацией", видя в ней "растущую национальную силу, творимую нацию (*nation in making*)", отличавшуюся своими общерусской культурой и общерусским языком. В "малорусском" и "белорусском" он видел локальные варианты этой культуры, имеющие исключительно второстепенное областное значение [21. С. 66]. Он не только не признавал их равноценными "русской культуре", но в полемическом задоре доходил до того, что объявлял их несуществующими: "Как культуры, равноценные или равнозначные с той, которую любители этнографических терминов называют великорусской, но которую и история, и здравый смысл предписывают называть просто – русской, культура "малорусская" и "белорусская" еще должны быть созданы. Их еще нет" [22. С. 185–186].

Более того, Струве фактически использовал термины "русский" и "великорусский" как синонимы и отводил великорусским (русским) культуре и языку роль гегемона. При этом он всячески пытался принизить политическую подоплеку этого феномена. Признавая определенную роль государства в распространении русской культуры и языка, он все же делал акцент на "естественности" их широкого бытования во всех уголках империи. В частности, Струве подчеркивал роль капиталистического хозяйства в сложении единого языка и преодолении культурной разобщенности и настаивал на том, что в современном обществе интегративные силы действуют не в пример успешнее дифференцирующих [21]. О неславянском населении Российской империи Струве в этом споре не упоминал, как бы молчаливо признавая, что общерусские язык и культура будут иметь определяющее значение и для него. Но, как нетрудно заметить, это население оставалось за пределами "русской нации", и читатель мог лишь строить догадки относительно его статуса и прав в том демократическом государстве, которое рисовалось в воображении Струве.

В развитии местных языков, в частности, украинского, Струве видел бесцельную растрату психических сил населения, а также разбазаривание средств, которые должны были бы пойти на общий подъем культуры. Кроме того, он страшился конкуренции со стороны вновь созданных "малорусской" и "белорусской" культур как

равноценных русской. В этом он видел угрозу раскола единой русской культуры, который был чреват вытеснением общерусской культуры с территории "этнографической" Украины: «Если интеллигентская "украинская" мысль ударит в народную почву и зажжет ее своим "украинством", [это грозит] величайшим и неслыханным расколом в русской нации» (ср. [22. С. 185, 187; 21. С. 74, 82, 84–85]).

Разумеется, участвуя в столь высокоэмоциональном споре, Струве не мог оставаться полностью беспристрастным, и его концепция была не лишена противоречий. Например, отрицая реальность украинской и белорусской культуры, Струве признавал, что и русская нация находится в процессе создания. Мало того, говоря об огромной роли общерусского литературного языка, он отчетливо сознавал, что в условиях ужасающей безграмотности народа этот язык остается многим недоступным. В то же время его задевали слова оппонента о том, что русская нация была не более, чем порождением фантазии русской интеллигенции [23. С. 137], и он обосновывал свою позицию ссылкой на существование общерусской культуры и общерусского языка (ср. [22. С. 185; 21. С. 67–68, 81]).

Вместе с тем нельзя не заметить, что Струве оперировал такими понятиями как высокие и низкие культуры и языки (низкие – областные, а высокие – их синтез), культуротворческая и нациестроительная роль интеллигенции (элиты), распространение культурных и языковых инноваций из высших классов к низшим (но в отличие от евразийцев, Струве видел и обратный процесс заимствования культурных и языковых форм снизу вверх; этот двусторонний процесс он выразил в литой формуле: "беря у улицы, в то же время учить улицу" [21. С. 77]). Несколько позднее эти идеи нашли свое дальнейшее развитие в работах евразийцев, прежде всего Н.С. Трубецкого (подробнее см.: [12]). Это нельзя объяснить случайностью, учитывая, что один из самых активных евразийцев, П.Н. Савицкий, являлся любимым учеником Струве и одно время даже работал его личным секретарем. Не остается сомнений в том, что взгляды Струве по национальным проблемам, а также на решение культурно-языковых вопросов в России сыграли огромную роль в формировании евразийской концепции. Правда, не все в его взглядах оказывалось приемлемым для евразийцев. Ведь в отличие от них Струве избегал какой-либо откровенно антизападнической позиции и даже признавал положительный вклад немецкого и французского языков в развитие русского ("национальное духовное объединение совершилось через космополитическую учебу") [21. С. 83]. Будучи экономистом, Струве хорошо понимал роль модернизации как фактора культурной нивелировки. Удивительно, что этот важнейший момент его концепции ускользнул из внимания евразийцев, хотя много позднее он был независимо развит специалистами по проблемам национализма (см., например, [12]).

Что же возражал "Украинец" Струве? Любопытно, что изложение своих взглядов он начал отнюдь не с обсуждения культурных факторов. Он обращал внимание читателей прежде всего на антиукраинскую деятельность правой и, частично, даже либеральной российской прессы и всевозможных общественных комитетов, а также на прямые действия властей, закрывавших украинские культурные общества и органы печати. Он упоминал также о решении Государственной Думы исключить украинский язык из сферы образования, что обрекало украинцев на безграмотность. Именно к этому вело раздувание мифа об "украинской опасности", к чему, как мы видели, был причастен и Струве. Иными словами, там, где Струве предпочитал описывать ситуацию в терминах языка и культуры (в этом по его стопам шли евразийцы), его оппонент прямо писал о дискриминации, которая и составляла суть "украинской проблемы". Далее, в том, что Струве изображал "общерусской культурой", "Украинец" видел "беспочвенную вненациональную и антипатриотическую интеллигентскую культуру вместо культуры народных масс". Он отказывался воспринимать и тезис Струве о "естественности" гегемонии русской культуры и демонстрировал, что это был результат целенаправленной политики Российского государства и действий Русской православной церкви по искоренению украинской литературной традиции. Соглашаясь с тем, что в наше время национальные культуры создаются осознанно

и целенаправленно (этим он предвосхищал современный конструктивистский подход), "Украинец" подчеркивал, что "русская культура" творилась при активном участии государства, а украинская – демократическими силами снизу. Он также сетовал на то, что развитие образования на русском языке при исключении украинского вело к трагическому разрыву между украинской интеллигенцией и массой неграмотного народа, которые в прямом смысле говорили на разных языках. "Украинца" обижало высокомерное отношение Струве к украинской культуре, и он настаивал на том, что "из факта подавляющего величия русской культуры нельзя выводить того, что у украинской культуры нет никаких шансов стать самобытной" [23].

"Украинца" поддержал председатель московского Общества славянской культуры академик Ф.Е. Корш, выступавший за повышение прав отдельных земель, входивших в состав Российской империи. Он выказал себя убежденным противником шовинистического лозунга о том, что "историческое призвание России – обрусить все нерусское и оправославить все неправославное", как о том говорилось в Государственном совете. По мнению Корша, такой подход был неспособен выработать прочную русскую культуру, которая бы развивалась в гармоничных отношениях с местными культурами (похоже, евразийцы пытались учесть эту критику, хотя и сохранили в своей программе установку на оправославливание). Корш подчеркивал, что по своему лингвистическому статусу украинский язык стоит ничуть не ниже русского. Он напоминал о несомненных достоинствах украинской культуры XVII в. перед великорусской, которые в то время заставляли московские власти "выписывать" ученых из Украины. Напротив, заявлял он, с тех пор грамотность на Украине резко упала, ибо "прежняя украинская культура [была] подавлена московско-петербургской государственностью". Наконец, обращая внимание на ситуацию в австрийской Галиции, которая была не в пример благоприятнее для развития украинской культуры, чем на остальной Украине, Корш заключал: "Мы сами, великороссы, своим несправедливым отношением к малороссам придали Галиции ореол обетованной земли украинства". В этом он винил не только российское правительство, но и русское образованное общество [24]. Таким образом, если Струве делал акцент на культурно-языковых факторах, то его оппоненты подчеркивали прежде всего роль реальной государственной и партийной политики. Из-за этих расхождений Струве пришлось в 1915 г. порвать с кадетской партией, в ЦК которой он входил долгие годы [25. Р. 210–219].

С новой силой этот спор вспыхнул в эмиграции в 1927–1928 гг., когда украинский вопрос стал пробным камнем евразийской доктрины. Не возвращаясь к его деталям, которых мне уже приходилось касаться [9], необходимо заметить, что по многим позициям эта дискуссия воспроизводила ту, которая рассматривалась выше. Практически игнорируя политические механизмы, воздействующие на культурный процесс, евразийцы делали упор на исторические, языковые и собственно культурные факторы. Они апеллировали к "общерусскому единству", существовавшему в раннем средневековье, что имело для них гораздо более важное значение, чем последующее разделение на великороссов, украинцев и белорусов с их особым историческим прошлым. Иными словами, они сознательно подчеркивали то, что сближало восточнославянские народы, и старательно обходили те факты, которые могли повредить их единству. Трубецкой готов был приписать "высокую" культуру петровской России облагораживающему импульсу, исходившему из Украины, и даже заявлял, что Петр I полностью искоренил великорусскую культуру Московской Руси, заменив ее на украинскую [26; 27]. Он делал все это вполне осознанно, ибо, на его взгляд, наличие общей русско-украинской основы "высокой" культуры России легитимизировало политическую интеграцию Украины в состав Российской империи; так создавался опасный прецедент, когда государственная политика оправдывалась интересами культуры.

Фактически Трубецкой развил и сделал более стройной ту концепцию "высокой" общерусской культуры и трех ее локальных "низких" воплощений, которая была намечена Струве. В отличие от последнего, он уже не путал "русскую" культуру

с "великорусской" и утверждал, что в XVIII–XIX вв. рука об руку с "высокой" общерусской культурой естественным образом развивались локальные индивидуальные культуры (великорусская, украинская, белорусская). Имея в виду старый русско-украинский спор, нашедший характерное отражение в дискуссии Струве с "Украинцем", Трубецкой видел суть вопроса в том, имела ли общерусская культура вообще какой-либо смысл или же каждая из трех ветвей "русского племени" должна была создавать свою независимую региональную культуру. Здесь-то ему и понадобилась идея о "высокой" и "низкой" культурах. С его точки зрения, каждая культура должна была иметь два этих аспекта, и он предупреждал украинцев, что если они отвергнут "высокую" общерусскую культуру, то столкнутся с катастрофическим культурным упадком. Он настаивал на том, что настоящая украинская культура могла выжить только как "индивидуализация общерусской культуры", т.е. как "низкая" культура. Подобным же образом следовало создавать великорусскую и белорусскую "низкие" культуры. Но если все эти отдельные "низкие" культуры могли развиваться независимо друг от друга, создание "высокой" культуры требовало их совместных усилий, без чего невозможно было построить единую культурную систему. Последняя была бы еще прочнее, если бы она создавалась на основе какого-либо сущностного принципа. Трубецкому казалось естественным, что только православие может идеально служить основой, способной оплодотворять все сферы культуры сверху донизу [27].

Таким образом, украинская контрверза отчетливо показывает, чему на практике должна была служить евразийская теория культуры и какие результаты следовало от этого ожидать. Совершенно очевидно, что отдельные этнические культуры могли сохраняться в планировавшемся евразийском государстве только как этнографические "низкие" культуры, бесписьменные или со слабо развитой письменной традицией. Такой вывод естественным образом вытекал из либерального подхода к национальной проблеме, популярного на рубеже XIX–XX вв. [4. Р. 41–42]. Между тем, украинские авторы не могли воспринимать эту перспективу без возмущения (см., например, [28. С. 20–21]). Они, как, впрочем, и активисты других национальных движений (это мы еще увидим ниже), прекрасно понимали, что последовательное претворение в жизнь евразийской теории культуры могло в отдаленной перспективе привести к русификации и обращению в православие всех нерусских народов страны.

Русские либеральные, социалистические и монархические течения в эмиграции, а также большинство национальных движений, независимо от их собственных разногласий, с самого начала дали евразийству достаточно однозначную оценку как консервативного антизападнического, мистического и фаталистического учения². Многие подчеркивали наличие в нем русского национализма, великодержавного шовинизма и империализма, грозивших русификаторскими тенденциями. Не укрылась от критиков и явно авторитарная антидемократическая политическая платформа евразийства, и некоторые наиболее прозорливые почувствовали уже в раннем евразийстве призраки большевизма [31. С. 278] и даже русского фашизма [32. С. 404]. Все это подтвердилось спустя десять лет, когда часть евразийцев открыто пошли на союз с Советской властью и, вместе с тем, стало очевидным, что евразийство создало идеологические основы для всех русских правых консервативных политических группировок [33. С. 13].

Вместе с тем в оценке отдельных евразийских идей критики нередко расходились, чему многим способствовала большая эклектичность евразийской идеологии [34; 28. С. 27]. Действительно, как отмечал в своем нашумевшем докладе П.Н. Милюков, "каждый может найти у них, чего хочет: кто хочет – православие, кто хочет – национализм, кто хочет – критику белого движения, кто хочет – соглашательство и оправ-

² В нашей литературе первым об этих дискуссиях стал писать Н.А. Омельченко. Он обратил внимание прежде всего на критику евразийства, исходившую из среды русских эмигрантов, которые, во-первых, протестовали против резкого отрыва России от Европы, во-вторых, отмечали недооценку евразийцами общности христианского мира, в-третьих, сомневались в разумности использовать в борьбе с европоцентризмом такое сомнительное средство как русский мессианизм (см. [29; 30. С. 139–177]).

дание большевизма, кто хочет – реализм в понимании настоящего, кто хочет – националистическую утопию в построениях будущего" [35; 36. С. 236]. Эклектичность в полной мере была свойственна и национальной программе евразийцев. По наблюдениям А.С. Изгоева, евразийцы, с одной стороны, предложили заменить узкий обрусительный централистский национализм привлекательной на первый взгляд идеей широкого федерализма, уважающего языки, веру, обычаи всех народов. Но при этом, с другой стороны, в этом предложении было много лицемерного, ибо их федерализм очень напоминал коммунистическую модель, которая благородно позволяла каждому народу на своем языке славить коммунизм [33. С. 12].

Некоторые критики в принципе отвергали выдвинутую евразийцами идею автаркии, как бы предугадывающую тезис о победе социализма в одной отдельно взятой стране. Они указывали на то, что мир вступает в эпоху "культурного универсализма" и приходит конец замкнутому национальному существованию [37; 38. С. 135]. Отмечалось, далее, что искусственная изоляция от мира является "национализмом самого дурного и нелепого тона", который способен отбросить страну далеко назад [39].

Тем не менее некоторые другие критики [34. С. 3; 40. С. 422–424], сочувствовавшие предложению о введении федерального устройства страны, считали, что евразийская идея о "государстве-континенте" имела здоровое зерно. Ведь в отличие, скажем, от Британии, в России формирование нации шло параллельно с образованием империи. По мере колонизации огромных пространств, не имевших выраженных географических рубежей, в России складывалось политическое устройство и формировалась культура, шло формирование русской нации, причем большое влияние на этот процесс оказывали вовлеченные в него нерусские народы. Очевидны отличия этой картины от той, которая наблюдалась, например, в Америке, где занесенные извне в готовом виде основные элементы англо-саксонской нации обусловили резкую национальную исключительность. Напротив, русская нация складывалась в ходе расселения и скрещения с коренными народами, что вело к размыванию сколько-нибудь резких культурных границ и формированию "сверхнациональной", общероссийской культуры. Отсюда "всечеловечность" русского человека, его терпимость, отсутствие высокомерного отношения к другим народам. Так складывались предпосылки к тому, что, как писал П.М. Бицилли, "русская нация и пространственно, и духовно есть нечто неизмеримо большее, широкое и многообразное, нежели ее этнический субстрат – великорусская народность" [40. С. 423].

Поэтому и русская интеллигенция не имела узконационального лица. По словам А. Кулишера, "она не могла не быть менее определенно русской в силу необходимости быть общероссийской, – вернее, создавать эту российскую культуру, отделенную от специально русской лишь очень неопределенными переходами". Он отмечал, что русский национализм страдал от такой имперской роли русской культуры. Но если бы русская интеллигенция была более национальна, то русскому национализму пришлось бы довольствоваться границами Московского государства. Следовательно, заключал он, "интернационализм" русской интеллигенции являлся плодом имперского инстинкта, но именно это евразийцы самым парадоксальным образом и ставят ей в вину ([34. С. 3]; см. также [1. С. 116–117]).

И Кулишер, и Бицилли вполне разделяли евразийскую идею сохранения империи, считая ее естественным органическим образованием и связывая ее судьбу с союзом свободных народов. В ее возможном распаде Бицилли видел такую же дикую нелепость как, скажем, разделение Италии на остготовов, лангобардов, этрусков и пр. Он писал: «Там, где империя росла вместе с нацией, росла органически, а не сколачивалась механически, путем захватов и удачных бросков, – там ликвидация империи во имя "самоопределения народностей" и по этому принципу, применяемому в качестве единообразного критерия, притом без внимания к величайшим разнообразиям в степени особенности каждой отдельной народности, означает не просто расторжение некоторой сделки, но, в целом ряде случаев, "разделяние" по случайным, искусственным и неизбежно ложным, кажущимся признакам, органического процесса истории,

которая необратима, умерщвление живого субъекта истории в глупой надежде заменить его несколькими новыми» [40. С. 423].

В принципе такой была позиция практически всех русских эмигрантских течений. Однако многих резко не устраивали практические предложения евразийцев в отношении строительства федеративного государства. Одной из главных мишеней для критики был вопрос о православии. Напомню, что суть любой культуры евразийцы усматривали в религии, и в то же время единственной истинной религией они считали православие, полагая, что со временем оно вберет в себя все остальные религии. Все нехристианские религии они безапелляционно объявляли языческими, которые будто бы находятся на пути к православию (см. [11. Р. 453; 12. С. 7–8]). Это не могло не возбудить подозрений уже у самых первых критиков, которые резонно задавали вопрос, каким образом "купол православной церкви может покрыть собой массы мусульманского и буддистского населения" и не приведет ли это к новому закабалению инородцев [37; 41]. В то же время Милюков убедительно доказывал отсутствие жестких связей между религией и национальностью [1. С. 60–61].

Н.А. Бердяев критиковал евразийский подход к религии с других позиций. В неведении евразийцев к западному миру, равно как и в поклонении Востоку, он видел нечто нехристианское и дохристианское. Тем самым не язычники тянулись к православию, а напротив, евразийцы изменяли христианству в пользу язычества. Это выражалось, в частности, в их приверженности именно бытовому русскому православию, которое стойко сохраняло языческие черты и действительно было скорее родственно исламу, чем духу новейшей русской религиозной мысли. Бердяев видел реакционность евразийства в том, что оно "хочет преобладания плоти и крови над духом", тогда как русским свойственны именно духовные искания ([38]; см. также [36. Р. 234; 42. С. 341–342]). Из этого вытекало и нехристианское отношение евразийцев к государственности, в которой они видели абсолют, доминировавший над всеми сферами жизни и не оставлявший места личной свободе. Бердяев резонно опасался установления евразийской диктатуры, видя в ней выражение скорее латинского, нежели русского духа. В частности, он предчувствовал ограничения свободы совести, что было бы логическим следствием сращивания государства с православной церковью [43]. Еще откровеннее высказывалась З. Гилпиус, для которой было очевидным, что такое огосударствление церкви немедленно приведет к гонениям на еретиков и иноверных, заставит ее служить политико-идеологическим целям и тем самым окончательно ее погубит ([44]; см. также [40. С. 430]).

Развивая эти мысли, Бицилли показывал, что понятия "Православие" и "Евразия" не совпадают: с одной стороны, немало православных находятся за пределами Евразии, а с другой – живущие в ней так называемые "язычники", которые, вопреки евразийцам, вовсе не стремятся стать православными, никогда не примирятся с религиозным неравенством (подробнее см.: [42. С. 337–338]). Ведь мусульманам, буддистам, иудеям и многим другим будет закрыт доступ в "евразийскую партию". Иначе говоря, евразийская федерация народов рисковала вылиться на практике в неограниченное господство православных над всеми остальными, а партия Союза – оказаться Союзом Русского Народа! [40. С. 425].

Вся эта подоснова евразийства весьма скоро стала понятна чешским и польским публицистам, которые поначалу заинтересовались новым течением, но быстро убедились, что оно не содержит ничего для них привлекательного, кроме все тех же русских великодержавия и национализма. Так, С. Николау явно у евразийцев заимствовал идею о том, что Россия потерпела крах, пойдя на поводу у чужеземной идеологии [45]. Ф. Кубка, бывший пражским корреспондентом Н.В. Устрялова [46. С. 79], вначале с сочувствием и пониманием писал о новом русском мессианизме и указывал на тяготение чехов скорее к Евразии, нежели к Германии [47]. Но вскоре он резко изменил свое мнение и заявил о рождении нового агрессивного русского национализма, угрожавшего европейской демократии и, в частности, западным славянам [48. С. 191]. Еще определеннее рассуждала О. Фастр (Фастрова), у которой фатализм

и мистика новых русских течений никакого сочувствия не вызывали. По ее мнению, они являлись симптомами немощности, свойственной Востоку, с которым чехам, ориентированным на Запад, было не по пути [49]. Я. Славик также явно неодобрительно относился к росту русского национализма и откровенным призывам к восстановлению православной монархии, которыми грешило раннее евразийство. Ему не было симпатично и их нарочитое антизападничество [50]. Напротив, он весьма сочувствовал борьбе Милюкова со славянофильскими предрассудками, свойственными в том числе и евразийцам [51]. Славик отстаивал права наций на самоопределение и, в противовес евразийцам, называл территориальные притязания СССР к соседним государствам империалистическими посягательствами [52]. Чехи одними из первых поняли опасность фашизма [53; 54] и уже поэтому не могли испытывать симпатий к евразийству, политически явно тяготевшему к тоталитаризму. Кроме того, они были убеждены, что именно им провидение сулило роль посредника между Востоком и Западом. При этом они все же предпочитали ориентироваться на Запад [45; 55].

Евразийство с самого своего появления привлекло внимание польского специалиста по России М. Здзеховского, который, внимательно проштудировав первый программный сборник евразийцев "Исход к Востоку" (София, 1921), обнаружил там крайний "азиатизм", агрессивное русификаторское православие и ксенофобию. Тем не менее, как и первоначально Кубка, он увидел в евразийцах союзников в борьбе с большевиками [31. С. 276–289]. Однако к 1927–1928 гг., когда взгляды евразийцев были уже оформлены в виде опубликованных программ [56; 57], многое стало на свои места. Тогда и в чешской [58], и в польской [59] печати евразийство было объявлено мистическим антидемократическим течением, развивавшим воинствующий русский национализм и экспансионизм и стремившимся к диктатуре типа коммунистической или фашистской. Евразийская федерация оценивалась как временный тактический маневр, призванный усыпить бдительность националов ради сохранения русской государственности. Статья Трубецкого об украинском вопросе [26] однозначно трактовалась как заявка на последующее поглощение великороссами всех других народов страны. Поляки с особой подозрительностью относились к русским претензиям на пограничные земли тогдашней Польши, заселенные белорусами и галичанами, которые евразийцы считали "естественными" пределами Евразии [60. С. 84]. И даже такой горячий поклонник евразийства как Л. Войцеховский должен был признать, что геополитика является далеко не столь идеальным способом решения национальных проблем, как то представляется евразийцами [61. С. 168, 172–173].

Национальная программа евразийцев, естественно, больше всего заинтересовала деятелей национальных движений, которые встретили ее резко отрицательно, в особенности после публикации обеих евразийских программ и статьи Трубецкого по украинскому вопросу. Из них наиболее детальный анализ евразийства дал профессор Украинского университета в Праге О. Мицок, который стремился показать, что евразийство является не чем иным, как попыткой по-новому обосновать старую теорию "православие, самодержавие, народность". Он однозначно интерпретировал так называемую "общеевразийскую культуру" как господство великорусской народности, а введение государственного православия как всеобщую русификацию. Для него нация ассоциировалась не с государственностью, а с народом, этносом, и он энергично протестовал против объявления всех разнообразных народов России одной евразийской нацией, находя корни такого подхода в охранительных писаниях Каткова 1860-х годов. Мицок отстаивал права народов на сохранение своей культуры и на самостоятельность. С этой точки зрения он видел в Советской федерации уловку, отнюдь не защищавшую от русификации и унификации, которые стали бы неизбежным следствием политической централизации и строительства единого евразийского народа. Для него идеи Трубецкого по украинскому вопросу однозначно означали установку на усиление провинциализма украинской культуры и насильственный отрыв украинской интеллигенции от украинского народа. Подытоживая свой анализ, Мицок объявлял евразийство врагом безгосударственных народов, которым оно

"готовит роль не субъекта своей судьбы, а объекта его агрессивных намерений" и тем самым лишь способствует росту этнического сепаратизма [28. С. 27]³; см. также [64].

Трубецкой не случайно подробно остановился именно на украинском вопросе, взяв его за основу обсуждения проблемы построения общеевразийской культуры в целом. Ведь во второй половине 1920-х годов, в связи с набиравшей в СССР силу украинизацией, в эмиграции наблюдалось оживление среди украинских националистов-самостийников, и евразийцы прекрасно понимали, что ключ к единству Российского государства находится в украинских руках [65. С. 409–411]. Вот почему, чтобы "подсластить пилюлю", евразийцы делали такой большой акцент на историческом вкладе украинцев в культурное и государственное строительство. Однако это не помогло им переубедить украинских националистов, которых не могло удовлетворить подчиненное положение украинской культуры в будущем евразийском государстве.

Еще более двусмысленную роль сыграла в этом общеисторическая концепция евразийцев, делавшая большой упор на восточные ("туранские") культурно-исторические связи и наследие Чингиз-хана, имевшие якобы решающее значение в сложении русской государственности и формировании общероссийской культуры. Не касаясь серьезных возражений этому со стороны профессиональных историков [66; 67; 36], отмечу, что эта концепция создала евразийцам большие сложности во взаимопонимании как с другими русскими националистами, так и с инонациональными элементами российской эмиграции. Этот сюжет заслуживает внимания, ибо он является, пожалуй, классическим примером того, как различные политические и этнополитические течения по-разному интерпретируют одни и те же исторические факты для достижения своих сугубо специфических целей.

Напомню, что стержнем евразийской исторической концепции являлось утверждение о том, что история Евразийского континента развивалась вокруг степного пояса, который служил ядром для крупных континентальных культурных и государственных общностей, создаваемых время от времени усилиями самых разных вовлеченных в этот процесс народов [68; 69]. В соответствии с этим евразийцы считали Монгольскую державу прямой предшественницей Московского царства и придавали "туранским народам" большое значение в складывании евразийской культурно-исторической общности. У евразийцев были различные причины для конструирования такой концепции. Одна из них заключалась в попытке легитимизировать Российскую империю путем апелляции к далекому прошлому и навязать тюрко-монгольским народам идею о неразрывности их исторического пути с русскими. Все это делалось для закрепления прав Российского государства на сравнительно недавно завоеванные восточные окраины (Туркестан и т.д.). Что же касается западных земель, то по отношению к ним евразийцы оперировали общепринятой у русских националистов идеей триединства русского народа, включавшего великороссов, украинцев и белорусов. Им казалось, что этого достаточно, но дело обстояло как раз противоположным образом.

Подобно чехам и полякам, украинцы [70; 71. С. 98, 109; 28. С. 7–9] и белорусы [72. С. 39–40] демонстрировали явно западную ориентацию. Они относили себя, безусловно, к славянскому миру и указывали на свои исторические связи с Западом, причем некоторые из них понимали под этим, в частности, западную демократию. Их даже радовала концепция евразийцев, дававшая дополнительные аргументы для противопоставления себя великороссам, которые как бы сами согласились, что они чужды европейскому миру и более тяготеют к "татарщине". Один из лидеров украинского национального движения, Д. Андриевский, прямо заявлял, что устами евразийцев русские рисуют свое восточное будущее. А путь украинцев лежит на Запад. Он видел в евразийской концепции недвусмысленное обоснование обособленности Украины от России, что давало ей право на борьбу за самостоятельность [70. С. 12].

³ Поразительно, насколько этот дискурс повторяется ныне в споре между модернистами и постмодернистами. См., например, [62. Р. 265]. Ср. также доводы М.К. Асанте [63. Р. 270–271].

Именно такое использование "туранской идеи" украинскими националистами ставила в вину евразийцам как либеральная [73; 39], так и монархическая [74] критика. Отмечалось, в частности, что эта идея не была изобретением евразийцев. В середине XIX в. ее активно пропагандировал поляк Ф. Духинский, призывая Европу помочь восточноевропейским славянам-"арийцам" сбросить с себя иго "русских-туранцев"⁴ [76]. И подобного рода идеи, рисующие Россию варварской "чингизхановской" страной, нашли благодатную почву в Германии и Франции в кругах, враждебных России, где раздавались призывы восстановить Польско-Литовское государство с границей по Днепру. Поэтому, единодушно замечали критики, евразийство являлось подарком для антирусских настроений на Западе. Другие авторы считали евразийство подарком также и мусульманскому Востоку, с которым оно, по мысли Бердяева, готово было заключить союз против христианского Запада [38. С. 137]. Развивая ту же мысль, Мицюк указывал на согласованность евразийства с панисламом, пантюркизмом и панмонголизмом и обвинял его в том, что оно искусственно стимулировало тюрко-монгольское возрождение [28. С. 11].

Действительно, единственным национальным движением, которое поддержало евразийцев, была некоторая часть калмыцкой эмиграции. Ее лидер, Э. Хара-Даван, восторженно принял евразийство, увидев в нем поддержку против крестьянской колонизации кочевых земель, посягательств современной нивелирующей цивилизации на традиционную калмыцкую культуру и русификации [77]⁵. Вполне естественно, что он разделял с евразийцами преклонение перед Чингиз-ханом [79] и с энтузиазмом поддерживал их политическую платформу – вождизм, "идеократический отбор" и однопартийную систему, – находя в ней искреннее стремление вернуться к политическому устройству и нравам монголов XIII в. Такая поддержка со стороны калмыка вполне подтверждала опасения критиков, подчеркивавших сознательную ориентацию евразийцев на "дикое восточное средневековье". Вместе с тем другие представители калмыцкой и бурятской эмиграции встречали евразийские построения с настороженностью или даже враждебно, видя в них "миссионерский империализм" [80. С. 22–23].

В этом споре весьма неоднозначной выглядела позиция казаков-самостийников. С одной стороны, они хорошо сознавали, что могут бороться за независимость только на путях демократии, опираясь на поддержку симпатизирующего меньшинствам Запада. Это и определяло их западную продемократическую ориентацию, заставлявшую отвергать великорусский национализм евразийцев [81]. Однако, с другой стороны, для легитимизации своих самостийных устремлений казачеству надо было доказать свою этническую обособленность от русских. И именно здесь евразийский подход пришелся им как нельзя кстати [82. С. 14]. Во второй половине 1920-х годов отдельные казачьи авторы доказывали, что основу казачества составляли тюркские степные группы, которые со временем смешались со славянами, но сохранили значительные черты своеобразия в культуре [83; 84]. Один из этих авторов, С. Федоров, даже пытался вслед за евразийцами показать благотворное влияние на Русь монгольского завоевания и с гордостью отмечал, что предки казаков, бродники, оказывали монголам посильную военную помощь [85].

Таким образом, националистическая методология евразийцев, впрочем, как и любая националистическая методология, несла в самой себе источник непримиримых противоречий. Она лишь провоцировала самые разные иные национализмы, которые на ее основании делали выводы, прямо противоположные тем, которые были бы желательны для евразийцев. Бицилли отметил один из методологических пороков, свойственных рассматриваемой исторической концепции евразийцев, – их стремление к абсолютизации неизменности русской культуры, которую они связывали исключи-

⁴ Неудивительно, что эта концепция вызвала язвительную критику со стороны русских ученых еще в конце XIX в. См., например, [75].

⁵ Правда, его увлечение евразийством было коротким. В начале 1930-х годов он перешел на позиции социодарвинизма, интегрального национализма и расового подхода [78].

тельно с допетровским временем⁶. Он справедливо указывал на то, что этот подход заставляет отбрасывать все последующие достижения русской культуры, в том числе Пушкина, Тютчева, Л. Толстого, Достоевского и др. ([88. С. 491–493]; см. также [1. С. 126–127]⁷). К этому следует добавить и изрядную долю культурного наследия тюркских народов, большинство из которых вошло в состав России только в послепетровское время. Ведь вряд ли можно всерьез говорить о близком родстве, а тем более о единстве, русской культуры XIV–XV вв., взятой в целом, с тюрко-монгольской культурой Золотой Орды. Следует отметить, что Бицилли правильно уловил одну из типичных черт националистического подхода, акцентирующего статичность культуры, переоценивающего значение этнографической архаики и сопротивляющегося изменениям. Он писал, что невозможно всерьез говорить о культурном творчестве, если творцам вменяется в обязанность постоянно озирааться на список "национальных черт" [88. С. 492]. Эта особенность этнонационализма наносит непоправимый ущерб культуре, искусственно затормаживая ее развитие. Что же касается практической стороны дела, то по его тонкому наблюдению, призывы евразийцев, как и вообще этнонационалистов, к "культурному возрождению" оборачивались конструированием новой культуры из субъективно отобранных из истории самых разнородных начал [88. С. 493].

Другой методологической основой евразийства, которая сослужила ему далеко не лучшую службу, был геополитический подход, устанавливающий жесткую однонаправленную связь между гомогенным природным ландшафтом, культурой и государственным образованием. Вся субъективность такого подхода, диктуемого национальными амбициями, была показана Милюковым на примере решения вопроса о восточных границах Европы, т.е. "цивилизованного мира", предлагавшегося разными национальными школами [1. С. 62; 36. С. 230]⁸. В частности, как заметил один из деятелей казачьего эмигрантского движения В. Бейсуг, геополитический подход мог быть использован в своих интересах каждым из народов России, причем украинцы могли бы применить его даже еще успешнее, чем великороссы [82. С. 13].

Наиболее подробно этот вопрос был рассмотрен другим казачьим публицистом, О. Долинским, позиция которого возвращает нас к вопросу о соотношении интегрирующих и дифференцирующих тенденций в современном мире. Отметив, что геополитический миф о единстве, а тем самым, о неизбежной ассимиляции малых народов Восточной Европы и России был впервые сформулирован западными учеными еще на рубеже XIX–XX вв., этот автор указал, что события, происшедшие в мире после 1905 г., полностью его опровергли ([90; 91], см. также [1. С. 174–182]). Теория, утверждающая, что будущее принадлежит только большим нациям, оказалась ошибочной. Вслед за Масариком, автор утверждал, что в наше время господствующим является закон дифференциации, открывающий малым народам перспективы самостоятельного политического развития. В ответ на предупреждение Трубецкого о сопутствующей этому якобы неизбежной провинциализации культуры, он возражал, что лучше иметь средний уровень грамотности населения, нежели тот ужасающий разрыв между "верхним" и "нижним" эшелонами культуры, который наблюдался в России. На его взгляд, теория "двух культур" Трубецкого страдала ярко выраженным элитизмом и на практике вела к мракобесию. В противовес Трубецкому автор высказывал идею о том, что наилучшие перспективы для развития культуры имеют народы именно средних и малых размеров, которым и принадлежит будущее.

Любопытно, что, защищая малые культуры, автор во многом прибегал к тем же аргументам о равноценности культур, которые использовал сам Трубецкой в своей первой книге "Европа и человечество" (София, 1920). Но на этот раз эти аргументы были направлены не против "романо-германского мира", как у Трубецкого, а против

⁶ Кстати, еще в начале XX в., черносотенные идеологи рассматривали Московскую Русь как идеальный политический тип, см.: [86. С. 77]. Эта идея до сих пор приводит в восторг русских неонационалистов, см. [87].

⁷ Позднее Э. Геллнер дал национализму ту же самую характеристику. См.: [2. Р. 48–49].

⁸ Этот вопрос, похоже, и ныне находится в том же состоянии. Об этом см., например, [89].

новорусского имперского национализма. Именно такую зловещую тенденцию почувствовал автор в эволюции евразийских взглядов по национальному вопросу в конце 1920-х годов [81. С. 8]. Подобно ряду других национальных деятелей (и фактически вторя упомянутому выше "Украинцу"), он настаивал на том, что отсталость и провинциализм малых народов являлись следствием грабительской политики имперского центра [90. С. 17]. Впрочем, Долинский не был склонен абсолютизировать сепаратизм. Он соглашался считать его временным явлением и связывал будущее развитие с крупными союзами типа США или пан-Европы. Однако прежде чем такие союзы могут быть заключены, империя должна распасться, ибо союз – дело добровольное. В этом отношении его не устраивал ни евразийский союз в принципе, ни тем более его антиевропейская антидемократическая направленность [92].

С этим были согласны и другие сторонники национального самоопределения. Они оспаривали мнение Трубецкого [93] о том, какой национализм можно считать истинным, а какой ложным. На их взгляд, как раз стремление евразийцев строить единую национальную культуру на костях других культур было проявлением ложного национализма, а истинный национализм требовал строительства своего национального государства, вместо того, чтобы создавать винегрет из самых разных национальных идеологий [28. С. 9–10; 94]. Таким образом, спор о культуре, затеянный евразийцами, неизбежно обретал политические очертания, ибо в условиях современной государственности направление культурного развития напрямую зависит от тех или иных политических решений.

Иными словами, в центре рассмотренной выше дискуссии был вопрос о будущем развитии человечества – пойдет ли оно по пути государственной интеграции или дезинтеграции. Этот вопрос не потерял свою актуальность и ныне в свете интегративных тенденций в современной Европе и оживленных споров о мультикультурализме в США, с одной стороны, и распада СССР, СФРЮ и Чехословакии, – с другой. Проведенный выше анализ демонстрирует, что, отстаивая имеющиеся уже права или борясь за повышение своего статуса, доминирующие группы и подчиненные этнические меньшинства в лице своих интеллектуальных лидеров прибегают к разной риторике, хотя и основанной на сходных националистических подходах к реальности. Первые склонны настаивать на "естественном единстве" и иногда прибегают к универсалистским концепциям; для большей убедительности они черпают аргументы главным образом из области географии, истории и культуры, что как бы должно научно утвердить естественность сложившейся ситуации. Вторые же отчаянно протестуют против этого, заявляя, что, если и есть что-либо естественное, то это – их собственные самобытные история и культура, подтверждающие их право на свободное культурное развитие и политический суверенитет. Любопытно, что если среди первых решительно преобладают сторонники примордиалистского подхода, утверждающего, что люди обречены идентифицировать себя с будто бы имманентно присутствующими им определенными культурами и культурными стереотипами, то среди вторых встречаются как убежденные примордиалисты, так и те, кто осознает большую роль политических факторов в формировании отдельных народов. Первые обычно настаивают на том, что лишь те народы были способны воздвигнуть здание своей государственности, которые этого уже добились. Они делают упор на политической стабильности, утверждают о "конце истории" и не оставляют подчиненным малым этническим группам каких-либо надежд на автономию или суверенитет. Напротив, призывая к ничем не ограниченному политическому и культурному творчеству, вторые вдохновляют этнические меньшинства на борьбу за свои особые права вплоть до образования собственного государства.

Евразийцы пытались избежать односторонности, свойственной обоим подходам. Вместо них они предлагали странную смесь из примордиализма (апелляция к разнобразным научным аргументам в пользу единства евразийского пространства) и конструктивизма (установка на создание единой евразийской культуры и культивацию евразийского национализма). Это и порождало непоследовательность и противорес-

чивость их платформы, которая в конечном счете преследовала политические цели. Поэтому они не нашли понимания ни справа, ни слева, ни у ортодоксальных русских националистов, ни у лидеров национальных движений, что вызывало недоумение у П.Н. Савицкого [95]. Печальный опыт евразийства отчетливо продемонстрировал, что политика и наука развиваются разными путями, что у них разные задачи и интересы и что попытки их скрещивания, предпринимаемые даже талантливыми учеными, создают в лучшем случае иллюзии, которые при столкновении с действительностью быстро рассеиваются.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Милоков П.Н. Национальный вопрос. Прага, 1925.
2. Gellner E. Nations and nationalism. Ithaca, 1983.
3. Alter P. Nationalism. London, 1989.
4. Hobsbawm E. Nations and nationalism since 1780. Cambridge, 1990.
5. Струве П.Б. В чем же истинный национализм? // П.Б. Струве. Избранные сочинения. М., 1999.
6. Струве П.Б. Два национализма // П.Б. Струве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. М., 1997.
7. Меньшиков М.О. Письма к русской нации. М., 1999.
8. Соловьев Вл. Национальный вопрос в России // Вл. Соловьев. Собрание сочинений. Т. 5. СПб., 1903.
9. Шнирельман В.А. Евразийство и национальный вопрос // Этнографическое обозрение. 1997. № 2.
10. Szporluk R. Dilemmas of Russian nationalism // Problems of Communism. July-August 1989.
11. Шнирельман В.А. The Eurasian concept of culture: N.S. Trubetskoi and L.P. Karsavin // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов. Прага, 1995. Ч. 1.
12. Шнирельман В.А. Евразийская идея и теория культуры // Этнографическое обозрение. 1996. № 4.
13. Восточные славяне в XVII–XVIII веках: этническое развитие и культурное взаимодействие. Материалы "круглого стола" // Славяноведение. 2002. № 2.
14. Чхеидзе К.А. Национальная проблема // Евразийская хроника. 1926. № 4.
15. Трубецкой Н.С. Общевразийский национализм // Евразийская хроника. 1927. № 9.
16. Ravitch D. Multiculturalism // The American Scholar, 1990 (Summer).
17. Алексеев Н.Н. Советский федерализм // Евразийский временник. 1927. Кн. 5.
18. Савицкий П.Н. Подданство идеи // Евразийский временник. 1923. Кн. 3.
19. Masaryk T.G. Idealy humanitni. Praha, 1968.
20. Карсавин Л.П. О педагогике // Евразийская хроника. 1926. № 4.
21. Струве П.Б. Общерусская культура и украинский партикуляризм. Ответ Украинцу // Русская мысль. 1912. Кн. 1.
22. Струве П.Б. На разные темы // Русская мысль. 1911. Кн. 1.
23. Украинец. К вопросу о самостоятельной украинской культуре // Русская мысль. 1911. Кн. 5.
24. Корш Ф.Е. К спору об украинской культуре // Украинская жизнь. 1912. № 2.
25. Pipes R. Struve. Liberal on the Right, 1905–1944. Cambridge, 1980.
26. Трубецкой Н.С. К украинской проблеме // Евразийский временник. 1927. Кн. 5.
27. Трубецкой Н.С. Ответ Д.И. Дорошенку // Евразийская хроника. 1927. № 9.
28. Мицок О. Евразийство. Прага, 1930.
29. Омельченко Н.А. Споры о евразийстве: опыт исторической реконструкции // Полис. 1992. № 3.
30. Омельченко Н.А. В поисках России. Общественно-политическая мысль русского зарубежья о революции 1917 г., большевизме и будущих судьбах российской государственности. СПб., 1996.

31. *Zdziechowski M.* Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie. Wilno, 1923.
32. *Гтенун Ф.А.* Рец. на: Евразийский временник. Книга 3. 1923 // Современные записки. 1924. Т. 21.
33. *Изгоев А.С. (А.С. Ланда)* Рожденное в революционной смуте (1917–1932). Париж, 1933.
34. *Кулишер А.* Шуйца и десница евразийцев // Последние новости. 1927. 4 III.
35. *В.П.* Евразийство (доклад П.Н. Милюкова) // Последние новости. 1927. 8 II.
36. *Miliukov P.N.* Eurasianism and Europeanism in Russian History // Festschrift Th.G. Masaryk zum 80 Geburtstag. Erster Teil. Bonn, 1930.
37. *Слоним М.* "Евразия" // Воля России. 1921. 29 IX.
38. *Бердяев Н.А.* Евразийцы // Путь (Париж). 1925. № 1.
39. *Московские евразийцы* // Последние новости. 1927. 1 V.
40. *Бицилли П.* Два лика евразийства // Современные записки. 1927. Т. 31.
41. *Мочульский К.* Будущая культура России // Общее дело. 1921. 26 IX.
42. *Флоровский Г.В.* Евразийский соблазн // Современные записки. 1928. Т. 34.
43. *Бердяев Н.А.* Утопический этатизм евразийцев // Путь (Париж), 1927. № 8.
44. *Гиппиус З.Н.* Второй кошмар // Последние новости. 1927. 2 III.
45. *Nikolau S.* Mezi Západem a Východem // Narodní Politika. 1922. R. 40. № 241.
46. *Колеров М.* Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Новгородцев, Розанов // Логос. 2000. № 4 (30).
47. *Kubka F.* "Eurasijism" // Venkov. 17 I 1922 (roč. 17. № 14).
48. *Kubka F.* Obrat k Východu // Slovanský přehled. 1925. Roč. 17. № 3.
49. *Fastrova O.* Rusko a Evropa // Narodní politika. 1923. Roč. 41. № 230.
50. *Slavik J.* Рец. на: Евразийский временник. Кн. 4. Берлин 1925 // Slovanský přehled, 1925. Roč. 17. № 5–6.
51. *Slavik J.* Zapadnictví Pavla Nik. Miljukova // Slovanský přehled. 1929. Roč. 21. № 1.
52. *Slavik J.* 1929. Bolševický nacionalism // Narodní Osvobození. 21 zaří 1929.
53. *Borský L.* Nebezpečí fascismu // Národní politika. 1922. Roč. 40. № 298.
54. *Hrozby maďarských fascistů* // Národní politika. 1922. Roč. 40. № 348.
55. *Fastrová O.* Svatovaclavský // Národní politika. 1922. Roč. 40. № 266.
56. Евразийство (опыт систематического изложения). Париж, 1926.
57. Евразийство (формулировка 1927 г.) // Евразийская хроника. 1927. № 9.
58. *Radčenko G.* Politické směry v ruské emigraci // Slovanský přehled. 1928. Roč. 20. № 8.
59. *Uzdowski M.* Eurazjanizm, nowa idea w rosyjskim ruchu przeciwkomunistycznym. Warszawa, 1928.
60. *Никитин В.П.* Поляк об евразийстве // Евразийская хроника. 1928. № 10.
61. *Woyciechowski L.S.* Polska a Eurasja // Droga. 1928. № 2.
62. *Zagorin P.* Historiography and postmodernism: reconsideration // History and Theory. 1990. Vol. 29. № 3.
63. *Asante M.K., Ravitch D.* Multiculturalism: an exchange // The American Scholar. 1991 (Spring).
64. *Салтыков А.А.* Евразийцы и украинцы: к проблеме единства русской национальной культуры // Карпатский свет. Приложение (Ужгород). 1930.
65. *Чхеидзе К.А.* События, встречи, мысли (рукопись). Pámatník Národního Pismenictví, Praha. Literární Archív. Fond Čcheidze. Pámetí.
66. *Кизеветтер А.А.* Евразийство // Русский экономический сборник. 1925. Вып. 3.
67. *Кизеветтер А.А.* Евразийство и наука // Slavia. 1928. Roč. 7, sešit 2.
68. *Вандалковская М.Г.* Историческая наука российской эмиграции: евразийский соблазн. М., 1997.
69. *Вилента И.В.* Идея самобытности России в исторической концепции евразийцев // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1998. № 1.
70. *Андрієвський Д.* Евразийство // Тризуб. 15. VIII 1926.
71. *Левицький В.* Українська державна путь. Львів, 1933.
72. *Скарыніч Б.* Маскальщчына і Эуропа // Крывіч. 1923. № 4.
73. *Дионео (И.В. Шкловский).* Евразийская антропология // Последние новости. 1927. 18 II.
74. *Спекторский Е.* Западно-европейские источники евразийства // Возрождение (Париж). 1927. 26 V.

75. *Пытин А.Н.* Тенденциозная этнография // Вестник Европы. 1887. Т. 22. № 1.
76. *Duchinski E.-H.* Nécessité des reformes dans d'exposition de l'histoire des peuples aryas-européens et tourans particulièrement des Slaves et des Moscovites. Paris, 1864.
77. *Хара-Даван Е.* Евразийство с точки зрения монгола // Евразийская хроника. 1928. Вып. 10.
78. *Хара-Даван Е.* Создание нации // Вольное казачество. 1933. № 130–131.
79. *Хара-Даван Е.* Чингиз-хан как полководец и его наследие. Белград, 1929.
80. *Урханова Р.* Евразийцы и Восток: прагматика любви? // Вестник Евразии. 1995. № 1.
81. *Долинский О.* Евразийство // Вольное казачество. 1929. № 32.
82. *Бейсуз В.* Об отношении к евразийству // Вольное казачество. 1929. № 43–44.
83. *Быкадоров И.Ф.* Происхождение казачества и возникновение Вольных Казачьих Войск // Вольное казачество. 1927. № 1–4.
84. *Федоров С.* Записки самостийника // Вольное казачество. 1928. № 3–4.
85. *Федоров С.* Донцы в наследии Чингиз-хановом // Вольное казачество. 1928. № 11.
86. *Ганелиш Р.Ш.* Черносотенные организации, политическая полиция и государственная власть в царской России // Национальная правая прежде и теперь. СПб., 1992. Часть 2.
87. *Широпаев А.* Сверх-национальный социализм // Наследие предков. 1995. № 1.
88. *Биццлли П.* Народное и человеческое // Современные записки. 1925. Т. 25.
89. *Valibar É.* Es Gibt Keinen Staat in Europe: racism and politics in Europe today // New Left Review. 1991. № 186.
90. *Долинский О.* Культура и самоопределение народов // Вольное казачество. 1928. № 5.
91. *Долинский О.* Восток Европы и самоопределение народов // Вольное казачество. 1928. № 9.
92. *Долинский О.* Сепаратизм, федерализм и самоопределение народов // Вольное казачество. 1928. № 12.
93. *Трубецкой Н.* Об истинном и ложном национализме // Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. София, 1921.
94. *Бончковский В.* Современные истины // Горцы Кавказа. 1933. № 35–36.
95. *Савицкий П.Н.* В борьбе за евразийство: полемика вокруг евразийства в 1920-х годах // Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Париж, 1931. Кн. 7.



"МОЛОДАЯ РОССИЯ"

(К вопросу о русском фашизме)

Право на свободу слова, собраний, организацию партий, объединений, движений эмиграция "увезла" с собой. К числу наиболее крупных, но наименее известных эмигрантских организаций относится "Молодая Россия".

Возможное объяснение этого парадокса следует искать в "странной" идеологии младороссов: приверженность к идеям фашизма образца 1920-х годов сочеталась у них с гордостью достижениями Советской России. Объединение "несоединимого", декларируемые младороссами идеи и установки позволяли им быть одновременно монархистами с лозунгом "Царь и Советы", националистами, фашистами и даже "большевизанами". Все это рождает желание разобраться в этом запутанном сюжете, который интересен уже тем, что позволяет войти в мир вечных поисков России, постоянно присутствующих и в нашей современности, ищущей "закона и благодати".

Мертвечина, бездарность, самодовольная ограниченность стариков-монархистов с их арифметическими выкладками о времени падения большевизма вынуждали молодежь идти на разрыв с таким монархизмом при сохранении его идеалов. Ставка делалась на молодое поколение – в эмиграции и на родине, – способное к строительству нового типа государства.

В 1931 г. глава "Молодой России" А.Л. Казем-Бек в программной речи "К Советской Европе или к Молодой России", говоря о коммунизме, утверждал: "Для нас, зарубежных националистов, вопрос идет не о борьбе с национальными общерусскими силами, а о борьбе со сталинской верхушкой ради возглавления той России, которую Ленин и Сталин против своей воли вывели из многолетнего сна. Мы заодно с теми, кто в России, хотя бы пока под коммунистическим флагом, делает национальное дело. Общий фронт всех русских против Сталина – вот основной лозунг" [1. С. 7–9]. Поверхностное чтение этих слов может привести к выводу о демагогии автора. Впрочем, она и должна присутствовать в любых программных материалах. Дело здесь не в дозе, а в двух чрезвычайно важных положениях, продекларированных А.Л. Казем-Бекем. Первое: "национальные общерусские силы" – это сам народ. Второе: "национальное дело" можно строить и под "коммунистическим флагом". Такая трактовка, разумеется не могла быть воспринята теми, кто отрицал всякую возможность сосуществования, некоего симбиоза советского строительства и национальных идеалов.

Борьба с коммунизмом для младороссов шла под флагом "возвращения русских к власти в Русской стране". Звучит весьма броско, но позволю себе поставить риторические вопросы: в ушедшей Российской империи ключевые посты занимали только

ли русские? Неужели в большевистской России ответственными работниками были лишь "инородцы"? В сущности, процитированный выше лозунг нуждается в небольшой корректировке: "Борьба с коммунизмом есть борьба за приход младороссов к власти в Русской стране". И тем не менее при всей любви к фразе, жонглированию словами, у них было чувство причастности к происходящему в России, даже в ее коммунистическом обличье – "судьба родины важнее судьбы власти".

При этом необходимо помнить, что одним из главных постулатов в младоросской теории формирования нового государства являлся эволюционный процесс, присутствовавший якобы всюду в Советской России. По их мнению, менялась сама коммунистическая мораль. В газете "Бодрость" (№ 39 за 1935 г.) они писали: «Речь идет сейчас о "новой" морали, которая по существу от старой ничем не отличается, если под старой моралью понимать мораль христианскую, а не предрассудки и язвы, рожденные человеческим несовершенством или экономическими условиями» [1. С. 33]. Так думали не одни младороссы. В 1945 г. один из пастырей заявил: «На Родине нашей практически осуществляется христианство... Между понятиями СССР и Святая Русь можно поставить знак равенства. 1. Церковь отделена от государства, и этим исполняется завет Христов: воздадите Кесарево Кесарю, а Божие – Богови. Деятельность Церкви и Государства в России можно уподобить двум рельсам, параллельно идущим в одном направлении – вперед. 2. Уничтожена возможность обогащения одних за счет других, опять согласно Евангелию: "Трудно войти богатому в Царство Небесное". 3. Принцип обязательного и притом коллективного труда, когда один работает для всех, а все для одного, – дышат заветом Апостола: "Кто не трудится, тот не ест". Таким образом, Советский Союз и есть Святая Русь, осуществляющая Евангелие в жизни. Кому же мы обязаны созданием Советского Союза – Святой Руси? Кто осуществляет эту дивную гармонию жизни Государства и Церкви? Это сделал великий, гениальный Сталин» [2. С. 150–151]. Конечно, это – политика, вернее эволюция тех, кто очень хотел, желал, стремился верить в добрые перемены. Но известно, что если хочешь, то и уверуешь в желаемое, в тот мброк, который сам создаешь.

Эмигрантской молодежи младороссами, да и другими партиями и организациями, усиленно внушалось, что только она может и должна завершить "святое дело" строительства новой России. Молодым людям, вероятно, было по сердцу читать строки Г. Уэллса из его выступления в Лондонской школе политической экономии, как будто обращенные к ним и заставляющие сладко замирать от восторга: "Мы живем в цивилизации, которая очень быстро распадается. Судьба, ожидающая многих из вас, молодые люди, быть может ужасна. Вы, может быть, будете убиты, изувечены, избиваемы, обречены на голод, но одно несомненно: вам некогда будет скучать. Мир, такой, каким мы его знаем, разваливается на глазах. Каждую неделю что-нибудь низвергается или сокрушается и нет возможности сказать, до какого предела дойдет это крушение"; "Как во времена Ноя вам надо строить ковчег" [3. 12 VI 1932]. Для младороссов, видимо, было ясно, что этим ковчегом может быть только пересозданная на новых принципах Советская Россия, монархия трудящихся. При этом новое государство должно было быть органичным, простым, надпартийным, надклассовым, и т.д. Сам источник верховной власти должен был характеризоваться независимостью происхождения и преемственностью, т.е. находиться вне вождельний, суждений и предпочтений, – все это могло быть найдено только в монархии. Именно она может противостоять субъективному выбору и бонапартизму, эра которых в России начата Сталиным. При этом младороссы неоднократно подчеркивали, что они поддерживают любого правителя, который возглавит государственное возрождение, связанное с монархией, роль которого характеризуется несколькими словами: "Множественность, преломляясь в личности, создает единство" [3. 1 XI 1932].

К сказанному необходимо добавить, что наряду с *иерархическим принципом* младоросская идеология включала в себя *персонализм* (ценность личности, ее ответственность за свои действия) и *органичность* (существование особых природных законов, определяющих жизнь "организмов физических и духовных"). В свою

очередь, из этих принципов вытекали начала *служения*, находящего свое воплощение в жертвенности и примате долга над правами, что коренным образом отличается от гуманистическо-либеральной трактовки человека как самодовлеющей ценности; сотрудничества, в котором общее служение ведет к соединению личностей в "духовные организмы", "такое органическое сотрудничество коренным образом отличается от механического (атомистического коллективизма) социализма, в котором личность насильственно приносится в жертву отвлеченному коллективу"; *единоначалия*, определяющего "общее служение", согласующего права и обязанности каждого с "благом целого", "духовный организм, объединенный единоначальствующей личностью, есть *соборность*", *природности*, "исторической жизненной укорененности в духовном организме личности, и культурных ценностей" [3. 1 I 1934]. Все это было подчинено одной цели – воспитанию готовности к возрождению России, как пролетарской монархии, или монархии трудящихся, или советской монархии.

В коренном вопросе о собственности младороссы сходились с итальянскими фашистами. Младороссы утверждали, что собственность есть «**управление имуществом, при том управительством "по доверенности" от государства**» и тот же фашизм "не отрицая права собственности, утверждает своим законодательством преобладание национальных, т.е. коллективных, интересов над частными» [3. 5 X 1932]. Опыт строительства тогдашней Италии представлял чрезвычайный интерес для сторонников А.Л. Казем-Бека уже по той причине, что идеи Муссолини, идеалы фашизма, воплощаемые в практику, были весьма им близки. И думается, что будущую жизнь в новой России они во многом "списывали" с итальянского образца: "Корпоративное государство покоится в Италии на своих двадцати двух корпорациях ... на основе сотрудничества и представительства предпринимателей, рабочих, техников, умственного труда, администрации, партии. Их задача – дисциплинировать коллективно-трудовые взаимоотношения и осуществить управление хозяйственными отношениями, проводя единую унитарную дисциплину народного производства ... Чтобы осуществилась корпоративная дисциплина и наладилась корпоративная жизнь ... нужно тоталитарное, целостное государство .., нужна единая партия, представляющая солидарность и политическую силу, нужно высокое идейное напряжение, представляющее дух нации и нравственную силу... Тоталитарное государство должно быть сильным и человечным" [3. 25 V 1934]. При этом следует учитывать, что любой тоталитарный строй или, если угодно, режим должен встать на путь политической эволюции. В частности, тоталитарный строй, "созданный вокруг коммунистической партии в России, вынужден постоянно приспосабливаться к изменяющейся обстановке, эволюция которой независима от него и которая определяет его собственную эволюцию... одно из поучений, вытекающих из опыта тоталитарных режимов [таких] как коммунистический, фашистский или национал-социалистический, заключается в том, что эти режимы сами в себе несут зерно будущих дифференциаций ... задача политики в том, чтобы эти будущие неизбежные дифференциации не обернулись распадами, чтобы неизбежные изменения не разрушили политического единства, а лишь видоизменили бы его формы и характер, чтобы сами эти изменения совершились под контролем ответственных представителей государства, а не совершались против них, одним словом, чтобы спуск произошел на тормозах, а не превратился в прыжок в бездну" [3. 25 VIII 1935].

Для большей ясности представлений о доктрине фашизма процитируем Б. Муссолини: "Фашизм ... утверждает, что неравенство неизбежно, благотворно и благотворно для людей, которые не могут быть уравнены механическим и внешним фактом, каковым является всеобщее голосование. Можно определить демократические режимы тем, что при них время от времени народу дается иллюзия собственного суверенитета, между тем как действительный, настоящий суверенитет покоится на других силах, часто безответственных и тайных. Демократия это режим без короля, но с весьма многочисленными, часто более абсолютными, тираническими и разорительными королями, чем единственный король, даже если он и тиран".

Но если демократию можно понимать иначе, т.е. если демократия обозначает: не загонять народ на задворки государства, то, согласно Муссолини, фашизм можно определять как "организованную, централизованную и авторитарную демократию". «Государство является гарантией внешней и внутренней безопасности, но также есть хранитель и блюститель народного духа, веками выработанного в языке, обычаях, вере ... Государство воспитывает граждан в гражданских добродетелях, оно дает им сознание своей миссии и побуждает их к единению, гармонизирует интересы по принципу справедливости; обеспечивает преемственность завоеваний мысли в области знания, искусства, права, солидарности; возносит людей от элементарной, примитивной жизни к высотам человеческой мощи, т.е. к империи... Кто говорит... "фашизм", тот говорит "государство". ... Для фашизма стремление к империи, т.е. к национальному распространению, является жизненным проявлением; обратное, "сидение дома" есть признаки упадка. Народы, возвышающиеся и возрождающиеся, являются империалистами; умирающие народы отказываются от всяких претензий» [4].

Схожесть мыслей младороссов с государственным строительством в СССР, Германии, Италии, т.е. определенный интернационализм мышления у сторонников "нового порядка" подтверждает привлекательность и мощь идей, возникших на почве "спасения" нации и мира, установления "нового порядка". Даже внешний фон у них во многом схож: «разве все, что "правому" эмигранту нравится в фашизме превыше всего, не находится также и в сталинизме? – писал К. Элита-Вильчковский. – Разве власть не сильна? Разве строгий административный аппарат не централизует управление? Разве московские парады уступают римским? Разве либерализм не был немилосердно вытравлен и не касторкой, а маузерами? Если только судить о внешности, то фашистский режим просто один из современных режимов. Сильная власть, централизация, грандиозные манифестации, массовая пропаганда, внешняя подтянутость, строгая дисциплина – характерные черты вообще современных государств. В той или иной дозе те же черты мы находим и в Италии, и в СССР, и в Германии Хитлера, и в Польше Пилсудского, и в Турции Кемалю. Это – дух времени» [3. 5 I 1933]. Но, подчеркнем, не внешние формы, а идея, сплотившая народы и страны, определяла силу фашизма.

На страницах газеты "Младоросская искра" в 1933 г. печатались следующие строки, из которых ясно следовало, что новый, советский революционно-консервативный строй, управляющий историей нации, "восстанавливающий высшее государственное единство и преодолевающий классовую и партийную рознь", является третьей империей национал-социализма. Под "новыми небесами" экономика подчинена "политическому бытию нации", идея солидарности противопоставлена "либеральной автономизации жизни", что логически приводит к отрицанию классово-капиталистической структуры общества. Отсюда – требование контроля государства над всей экономической жизнью страны [3. 1 I 1934].

Сами младороссы признавали, что в этих программных установках не все в достаточной степени проработано и некоторые из них вполне могут оказаться неосуществимыми. Но главное здесь – это то, что "в национал-социалистическом движении проявилась огромная воля к новому творческому оформлению государственной и социальной жизни Германии". Причем творцом доктрины "третьего рейха" младороссы совершенно справедливо называли А. Меллера ван ден Брука, личность легендарную, почти незнакомую современному читателю. Но именно он был создателем государственнической идеологии НСДАП, хотя, как ни парадоксально, никогда не имел никакого отношения к основателям партии. Ван ден Брук рассматривал государство как сложный феномен, бытие которого определяется не только логикой становления и развития, но и иррационализмом событийности. Либерализму с его упрощенным видением мира он противопоставлял консервативное восприятие государства. Настоящий консерватизм, по его мысли, может и должен быть охарактеризован и представлен как "новое творчество, укорененное в истории". При этом он

утверждал внутреннее родство консерватизма с революционностью, которая «разбивает самодовольную рациональность либерализма и, творя историю, двигает вперед, хотя бы даже вопреки собственному намерению, все тот же единый поток жизни, который в конечном итоге неизбежно историчен, "консервативен"» [3. 5 I 1933]. В сущности, здесь "консервативный революционер" говорил, как представляется, об органической демократии, в которой народ рассматривается как качественная и органическая общность, укорененная в истории и обладающая своими духовными, культурными, национальными и политическими характеристиками-константами и участвующая в строительстве своей судьбы, своего будущего. Причем ни одна из форм демократической традиционной атрибутики, например, выборы или система представительства, не в состоянии отобразить во всей глубине суть органической демократии. В чем здесь дело?

Современный философ А.Г. Дугин, исследуя эту проблему, нашел ответ у немецкого юриста К. Шмитта. В его понимании "истинная демократия" или "демократия органическая" возможна только в однородном, гомогенном обществе. "Это совершенно логично, – писал он, – так как народ ... в органическом понимании, как некая единая качественная общность, как единый живой организм, чтобы адекватно править и изъяслять свою волю, должен быть однородным, а не составным. Нарушение этой однородности немедленно вносит раскол в народную волю, создает помехи для ее проявления. Карл Шмитт утверждал также, что чем более составным и разнородным является общество, тем более оно должно отходить от демократии и стремиться к авторитарной власти = монархической и даже императорской. Это обусловлено тем, что при переходе к обществу, состоящему из нескольких органических единиц, необходимо прибегать к некоей высшей инстанции для определения судьбы всех этих народов, к сакральному авторитету, к геополитическим и религиозным принципам" [5]. При этом, по Дугину, органическая демократия есть естественный русский строй, который может быть сопряжен с авторитарным правлением или с системой народного представительства. При любом исходе победа останется не за "кратковременной и жесткой антинациональной диктатурой", а будет принадлежать "русской демократии, органической демократии, которая уже по самой логике нашей священной национальной истории не может не наступить рано или поздно". Здесь нужно упомянуть о главной компоненте органической демократии – довольно потрепанной многими философами и публицистами категории "коллективного подсознательного", этой своеобразной народной душе, обладающей тайной, исторической и психологической памятью. Можно сказать и по-другому – идеальная или метафизическая компонента генома, его инвариант. И, безусловно, не нуждается в каких-либо толкованиях утверждение Дугина, что "коллективное бессознательное" сохраняется только при условиях непрерывности и постоянства этнокультурной среды или, по меньшей мере, при гармоничном и постепенном развитии и расширении этой среды без потери связей". Оно "может изменяться при перемене народами внешней религии, идеологии, культуры и т.д., но оно всегда находит в новых условиях аналоги своему изначальному содержанию, перетолковывая внешние, новые образы и знаки в соответствии со своими древними архетипами" [5].

Если задуматься над теорией "революционного консерватизма", то она, в сущности, представляет собой настолько обширное поле для мысли и истории, что может быть использована для доказательства своей правоты людьми самых различных взглядов и положения в обществе. Здесь можно спорить, но сторонники "революционного консерватизма" всегда будут настаивать на примате ценностей прошлого, испорченных или забытых настоящим. Для понимания темы здесь можно привести слова К.Н. Леонтьева, для которого идея государственности связывалась с феноменами развития и охранительства. Размышляя на эту тему, он писал, что развитие любого государства "сопровождается постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы; падение выражается расстройством этой формы, большей общностью с окружающим... Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей

материи разбегаться" [6. С. 197]. Смена форм, начавшаяся в XVIII–XX вв. вследствие эгалитарно-либерального процесса, по Леонтьеву, возможно, и полезна для вселенной, но не для длительного сохранения самих отдельно взятых государств. Исходя из своей теории трехэтапного исторического процесса – эпической простоты и патриархальности, сложного цветения, вторичного смешивания и упрощения с последующим разложением и гибелью, – Леонтьев подчеркивал, что в начале третьего этапа *"в смысле государственного блага все прогрессисты становятся неправы в теории, хотя и торжествуют на практике ... Все охранители и друзья реакции правы, напротив, в теории ... ибо они хотят лечить и укреплять организм...* Они все-таки делают свой долг и, сколько могут, замедляют разложение, возвращая нацию, иногда насильственно, к культуре создавшей ее государственности. До дня цветения лучше быть парусом или паровым котлом; после этого *невозвратного* дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными знаменами надежд" [6. С. 208].

Эта диалектическая формула придает совершенно иное звучание и оттенок трагизма трафаретным характеристикам сложнейших понятий бытия. Приведенные же рассуждения по проблеме органической демократии представляются несколько надуманными, в чем-то утопичными, может быть, даже банальными в своей простоте и известности. Столь широкий спектр не согласующихся определений вызван у меня прежде всего ощущением "игры в понятия". Причем доказать спорность их положения достаточно трудно: все остается будущему. Если же обращаться к опыту прошедшего времени, замечу, что история человечества дает мало шансов говорить о некоей органической демократии. И чтобы поставить точку, следует вспомнить известное гегелевское определение действительного. И все же русская молодежь, младороссы прежде всего думали о будущем. Сама величественная история России утверждала их в вере в ее великую будущность, в ее предназначение сыграть спасительную роль для всего человечества. Будучи русскими до мозга костей, они считали, что любовь к Родине, или русский национализм, проявляется в характере, чувстве долга, в пренебрежении личным, в подчинении личности государству, обществу, его интересам. Русский национализм органически смыкался с глобальными идеями фашизма.

К. Елита-Вильчковский, отвечавший за политическую подготовку младороссов, в лекции, опубликованной в 1935 г., отмечал: "Когда младороссы ... называют себя фашистами, говорят о своем фашистском стиле или о фашизации России, они имеют в виду фашизм в самом широком смысле этого понятия; фашизм как идею общечеловеческую ... Идея фашизма в самой широкой формулировке – это **идея установления социальной справедливости в национальных рамках, через посредство национального отбора, выражающего в национальном преломлении общечеловеческие идеалы**". При этом от ленинского коммунизма фашизм отличается, по словам Елиты-Вильчковского, **"реализмом** – выражающимся в сознании национальной качественности, и **спиритуализмом**, выражающимся в служении духовным идеалам". Чрезвычайно важно и утверждение им тезиса, что фашизм, включающий в себя национальную идею, может быть реализован только в специфических формах, свойственных данной нации. Более того, не следует «смешивать фашизм как идею или как воплощение этой идеи с теми или иными выявлениями фашизма. К этим последним относятся бесчисленные проявления "лже-фашизмов"» [7. Д. 6. Л. 51]. Так, младоросский идеолог и "политрук" подчеркивал, что тот же национал-социализм универсальную идею фашизма подменяет разделяющей мир расовой идеей, возведением феномена крови в высшую ценность, «расовые свойства – в мерило этики, морали, даже религиозной жизни. Христианскому идеализму и всем исканиям социальной справедливости фашизма и коммунизма он противопоставляет расовый эгоизм. Итальянские фашисты не даром называют его "сатанинским фашизмом", "фашизмом наизнанку"» [7. Д. 6. Л. 51 об.].

Пытаясь задним числом обелить себя, младоросское руководство заявляло, что хотя им "указывали (сами они не видели!! – В.К.) на антирелигиозность, антимонархичность фашизма, склонного к обезличке, и на прочие его разрушительные идеи", они усматривали во всем этом только "грехи молодости", "крайности раннего фашизма", обусловленные революционной борьбой [7. Д. 6. Л. 52]. Для них чистая идея фашизма воспринималась в тех формулах, которые были даны Муссолини. Расхождения между теорией и практикой фашизма, отличительной чертой которого является склонность к перерождению и мимикрии, заставляли младороссов распротеститься с реальным фашизмом, но не с самой идеей. "Мы осуждаем, – писал Елита-Вильчковский, – нынешнее направление фашизма и осуждаем целый ряд его черт, расходящихся с нашей идеологией и нашими представлениями о морали. Мы оспариваем некоторые точки зрения фашизма и вступаем с фашизмом в конфликт в тех случаях, когда он затрагивает духовные ценности, которые мы защищаем, или интересы нашей Родины". Но в то же время младороссы признавали целый ряд фашистских идей, например, догмат о подчинении частного общему, если "он не вырождается в бездушный коллективизм и ущербление человеческой личности"; идею служения нации; идею тоталитарного государства, "поскольку она не вырождается в этатизм и централизм и совмещается с духовной свободой личности, самодеятельностью и самоуправлением" [7. Д. 6. Л. 53]. В конечном итоге, Елита-Вильчковский заявлял, что в своей внешнеполитической позиции младороссы не знают «никаких предвзятых "фильств" или "фобий" и руководствуются лишь интересами России ...в плане идеологическом: ни фашизм, ни антифашизм, а младоросскость, а в плане внешнеполитическом: одно мерило – интересы России» [7. Д. 6. Л. 54].

Однако, повторяю, это все не означало отречения от идеи фашизма. Можно задать еще раз вопросом: что означал бы русский фашизм? Судя по программным целям младороссов, это – «установление социальной справедливости в национальном иерархически организованном государстве ...действительное включение рабоче-крестьянских масс в "творчество и историю нации" ...отбор через самовоспитание и национальное воспитание через отбор ...торжество жизненного начала над началом отвлеченности» [3. I. I. 1934].

Современные исследователи феномена фашизма рассматривают его в мировоззренческом плане как идеологию консервативной революции, включающей в себя: национализм, окрашенный в мистические тона, веру в государства или мистический этатизм, идею социального государства, структурирование общества по профессионально-корпоративному признаку, т.е. корпоративизм, ориентацию на традиционные ценности, ксенофобию вплоть до расизма, веру в конструктивные возможности политического насилия, идею расширения "жизненного пространства нации", антипарламентаризм, вождизм, милитаризм [8]. И еще одно определение: "Фашизм это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей иных народов, отрицание демократии, установление культа вождя; применение насилия и террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия; оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем". И далее: "Тоталитарный строй, существовавший в СССР 70 лет, с полным основанием мог бы быть назван социальным фашизмом ...не со свастикой, а с серпом и молотом" [8].

Можно долго дискутировать по проблемам фашизма. Со своей стороны хотел бы подчеркнуть следующее: во-первых, идея, теория и практика почти никогда не представляют собой органическую триаду, во-вторых, наличие множества универсальных учений, идущих к одной цели разными путями, т.е. проблема состоит не в идее, а в средствах ее осуществления. Разнообразие восприятия фашизма отчетливо прослеживается у младороссов, усматривавших его даже в таких явлениях как рост народонаселения, стремление к культуре, знаниям, науке. Само просвещение должно было привести к "самоубийству коммунизма". Фашистский процесс оздоров-

ления русской нации они усматривали в стремлении молодежи к "индивидуальному развитию в рамках сотрудничества, к социальной справедливости, к здоровому национализму, к укреплению семьи, к духовной жизни, не упраздненной материализмом". Власть, по их мнению, должна была считаться с подобными настроениями и идти на определенные уступки в таких "мелочах", как восстановление ученых степеней, введение преподавания истории, популяризация отечественной классической литературы. Одновременно шли пропаганда против аборт, усложнение процедуры брака и развода, принимались драконовские меры против гомосексуалистов и пр. [3. 25 V 1934].

В младоросской среде фашистские установки соседствовали с идеей эволюции. Отступление правителей СССР от идеи "мирового пожара", от лозунга "Даешь мировой Октябрь" младороссы видели в многочисленных их переговорах с "империалистами" – от дипломатических до финансовых. Смена коммунистических лозунгов с "мировой революции" на "строительство социализма в одной стране" воспринималась младороссами как эволюция в сторону национализма. Те, кто недавно мыслил в категориях "чистого коммунизма" и интернационализма, теперь утверждали: "Мы строим социализм в своей стране. Мы одни в мире. Только у нас верная идея и воля к построению нового мира. Мы построим. Мы покажем. Мы догоним и перегоним. А тогда уже держись Европа!" «В таких настроениях, – утверждала "Младоросская искра" в 1934 г., – налицо все признаки национализма, утверждение своей культурной и качественной обособленности с явной тенденцией к империализму» [3, I I 1934]. Именно поэтому младороссы так настойчиво говорили о начавшейся в 1917 г. эволюции, в результате которой на смену политкаторжанам ленинской гвардии приходит молодежь с иными установками. Именно на ее энтузиазм, на «национальную гордость каждого русского, на "землю и волю" крестьянина, на энергию "нового человека", на революционный опыт, на реакцию против материализма, на потребность в творчестве» делали ставку младороссы [3. I XII 1931]. По их мнению, те «эмигранты, которые смешивают национальные и антинациональные элементы пятилетки и величают ударников "советскими овцами", бьют не только по коммунизму, но одновременно и по национальному чувству и приносят вред не только коммунистам, но и России» [3. I X 1931].

В 1931 г. "невозвращенец" С. Дмитриевский в своей книге "Сталин", отрывки из которой публиковались в "Младоросской искре", писал: "Путь, казавшийся в России в начале путем абстрактной международной революции, оказался, в конце концов, путем революции Русской, имеющей, правда, как и всякая великая революция, мировые задачи и мировое влияние, но в основе своей являющейся национальной. И люди, которые в начале искренне считали себя коммунистами, стали сейчас национал-коммунистами, а многие из них стоят на пороге чистого Русского национализма". "Пусть много уродливого в том национализме, что там сейчас проявляется", продолжал Дмитриевский. Однако "он не может быть иным. Люди полностью еще себя там не осознали, и многие и не в состоянии пойти до конца на путь чистого великодержавного русского национализма. Но то, что мы сейчас имеем там, есть не только полная материальная подготовка здания будущей национальной империи. Там идет и подготовка ее идеологии. Там идет и подготовка ее людей" [3. 15 I 1931]. Эти суждения, принадлежавшие бывшему крупному аппаратчику, не могли не вызывать доверия у младороссов с их верой в эволюцию.

Спустя год тот же автор, привлекая тему сменовеховства, писал: «Сменовеховцы – теоретически говоря – имели все данные для того, чтобы стать значительной силой. Недаром их так боялось, так обрабатывало, так старательно потом уничтожило ГПУ. Ведь немалая часть того, что сегодня говорим и повторяем мы, националисты-революционеры разных толков, было выдвинуто впервые сменовеховцами. Они первые ощутили, что наша революция, по сути своей, – русская. Они первые поставили проблему притяжения революции как национального дела. И если бы они сумели пойти дальше – от притяжения к утверждению, но утверждению не чужого,

а своего, если бы они объявили борьбу советской власти во имя национальной революции, во имя полного и беспощадного уничтожения марксизма – тогда из сменевеховства стала бы мощная русская национальная партия, которая со временем могла бы сплотить в своих рядах все наиболее активные элементы национального лагеря, перетянуть на свою сторону значительные слои неудовлетворенной марксизмом партийной массы в России, перетянуть и инстинктивно тяготеющую к национализму массу – и в конце концов взять в свои руки судьбы страны и революции. Сменевеховцы не умели ...Строя схемы будущего, они проектировали трехчленное государство: рабочих, крестьян, интеллигентов и себе в нем отводили роль руководящей интеллигенции – рабочих же и крестьян, т.е. то, что решает, оставляли большевикам. Тем самым они оставляли и теоретически им власть, а на практике стали их поддерживать и провозгласили лозунг возвращенчества. "Все существующее разумно" повторяли они, понимая под этим: разумна всякая власть, раз она власть. И они полностью отождествили сущую власть с народом, марксизм с национализмом. Всякую борьбу против власти ...объявили поражением, ущербом интересам народа и страны. "Россия неотделима от большевиков"... Что такое большевизм? Коммунизм – одна из разновидностей марксизма ...То, что под давлением жизни, под давлением народных масс и марксизм у нас начинают окрашиваться в национальные цвета, то, что под тем же давлением и нынешним властителям приходится осуществлять национальную программу, – все это верно ...Но что из этого следует? Совсем не то, что Россия неотделима от большевизма, а как раз противоположное: что России большевизм не нужен, что России марксизм враждебен, ее потребностей не удовлетворяет и потому она даже в нынешнем своем поработанном состоянии рвет и ломает пути большевизма ...Надо все силы напрячь, чтобы их разорвать ...освободить страну, дать ей полную возможность развиваться в национально-революционных путях ...В этой борьбе надо, конечно, использовать все те отдельные слои большевицкого лагеря, которые начали проникаться национальными идеями. Их надо окончательно оторвать от марксизма и влить в ряды солдат национальной революции ...борьбу за национальную революцию надо не ослаблять, но, наоборот, усиливать» [3. 1 II 1932].

Троцкого и троцкизм мы, конечно, отмечаем как строителей национальной России. Кто же оставался? Очередные "декабристы" типа Рютина? Но их время еще не наступило. Если нет людей, остаются идеи. Именно на них делалась во многом ставка теми младороссами, видевшими, например, в той же индустриализации воплощение национальной идеи. Подобная трактовка находит подтверждение в младоросской прессе. Так, в ноябре 1939 г. о подъеме "национальных настроений" писал князь С. Оболенский: «Русская нация переживает сейчас бурный подъем национальных настроений. Именно этим настроениям дает удовлетворение нынешняя внешняя политика Советского Союза, ощутительно для всех выдвинувшая сейчас *нашу* (курсив мой. – В.К.) страну в разряд самых первых мировых держав. Параллельно протекающая внутри национализация режима выражает то же самое явление. После десятилетий национального унижения русские люди, выросшие за годы так называемой "интернациональной" революции, больше всего горды сейчас прошлой славой России, горды традиционным русским искусством, горды выносливостью и дарованиями русского народа, горды тем, что русские войска стоят на Карпатах и на литовско-германской границе, а русский флот опять господствует на Балтийском море». При этом национализм и великодержавность представляли как "исконно русские", так и "новые, советские" черты. Одновременно проводилась та мысль, что "русский национализм не провинциален. И он по существу своему человечен". Люди могут отказаться от "всякого коммунизма", но это никоим образом не переменит их русского и советского представления о том, что "всем людям надо дать жить и что сами они как русские должны быть ради этого готовы на жертвы". Отсюда – в условиях уже начавшейся Второй мировой войны – выводилась важная мысль о том, что "ни при каких условиях русское сознание не может мириться с тем, что в глазах немцев поляки и чехи – низшая раса" [9. 5 XI 1939].

1 февраля 1940 г. А.Л. Казем-Бек писал в статье "Россия, Германия и славянство": "Немцам славяне обязаны великими бедствиями. Но они им обязаны и новой возможностью осуществить славянское единство. Единство в борьбе облегчит найти единство идеи. Общие мировые процессы ставят на очередь вопросы организации сожителства народов. Это облегчает подготовку славянской федерации, во всяком случае культурной, вероятно экономической, может быть государственно-политической.

Русский национализм протянет руку национализму славянских народов, и это будет лишь возрождением исторической традиции. Но русский национализм призван поддерживать и польский национализм. И в этом – положительная новизна, которую несет новая эпоха. Примирение России и Польши будет настоящим праздником славянства.

Из будущего единения славян возникнет великая мировая сила. Она нужна всему человечеству. Она позволит утвердить мир всего мира" [9. 1 П 1940]. Правда, вставал вопрос, что делать с "вождем всех народов", как быть со Сталиным? Ответ на него младороссы предпочитали возложить на "национальные силы" в самой России. Сами же они заявляли в своей газете "Бодрость" в 1935 г., что "с государственным сознанием, а вовсе не с коммунистическим идеалом Сталина мы и должны считаться". Причем Сталина, соответственно, поддерживают "лучшие силы", для которых падение вождя "означало бы прорыв того хаотического, кипящего начала, которое уже в первые годы режима так трудно было ввести в берега" [1. С. 37].

Нельзя не отдать должное рассуждениям младороссов о путях возвращения в Россию. «Для пересадки с эмигрантского поезда на поезд русский, – писал в начале 1950-х годов младоросский идеолог Н. Философов, – нам нужна на какой-то момент синхронизация скоростей, иначе мы из эмиграции в Россию никогда не перепрыгнем. Перед самой войной, причем без всякой цели и смысла, у нас была сделана такая попытка синхронизации нашего зарубежного движения с текущей советской действительностью: видя в Молотове, Жданове и Андрееве преемников Сталина, лично с которыми уже нам ...придется сотрудничать (а как же царь? – В.К.), мы боялись в "Бодрости" сказать хотя бы одно слово критики в отношении их. Война оборвала эту, немного бесцельную, лишней раз только шатнувшую кадры, попытку синхронизации ...После этого мы шарахнулись в другую сторону и переборщили в нашей французской линии, отдавая, хотя бы и символически, в распоряжение Даладье все кадры Младоросской Партии... (Философов лукавит: много эмигрантской молодежи пошло под знамена французской армии защищать общецивилизационные ценности. – В.К.). Пока не было начала завирухи можно было и сомневаться в том, что что-то произойдет, что наступит перелом (например, смерть Сталина. – В.К.). Можно было считать, что это вопрос десятков лет. Но завируха (мировая война. – В.К.) началась. Есть начало – неизбежен и конец. А при конце, без той же синхронизации мы в русскую действительность не включимся. Поэтому нам сейчас надо быть особенно осторожными, чтобы нас не посчитали в России за "прихвостней буржуазии" и чтобы слово "младорос" не стало таким же, как слово "белогвардеец"» [7. Д. 1. Л. 80]. Здесь Философов явно кокетничает своей советскостью – в младоросской печати было немало критических материалов, правда, в основном посвященных проблемам, связанным с деятельностью большевистского руководства. В конечном итоге корреспондент Казем-Бека приходил к мысли о том, что "мы победим только с Россией или вообще не победим. Рассчитывать на то, что за время войны мы приобретем здесь самостоятельно среди союзников достаточный вес для того, чтобы играть роль на мирной конференции и выручать Россию, если она засыпется, рассчитывать на это не приходится. Засыпется Россия, засыпемся с ней и мы. Важнее для нас не скомпрометировать себя в глазах русских националистов по ту сторону рубежа" [7. Д. 1. Л. 80]. Кого Философов считал русскими националистами? С достаточной долей уверенности можно утверждать, что речь шла о русском народе и его "ударниках", устраивавших свою жизнь под "новыми небесами" и продолжавших революцию (понимаемую как долговременный процесс), начатую в 1917 г. Можно

сказать еще проще: национализм в их понимании был тождествен патриотизму. Поэтому к "русским националистам" следует отнести все население Советской России, за исключением тех, кто в патриотизме видел "убежище глупца или негодяя". Соответственно, "русский национализм" не следует трактовать в узконациональных рамках: в рядах младороссов было немало представителей самых различных "племен" – от ассирийцев (айсоров) до якутов. Что же служило критерием для младоросского определения "русского национализма"? Патриотизм – да. Тезис о ведущей роли русского народа? Верно, но не совсем. Думается, что здесь надо говорить несколько шире, а именно – о естественном и органическом мировосприятии жизни в России всеми населяющими ее людьми. Причем государствообразующим в силу историко-культурного бытия является русское "племя", свободное от расовых предубеждений. Причем сами младороссы были хорошо осведомлены об ущемлении в СССР русской нации, о том, что "во многих местах русское большинство подчинялось меньшинствам и нигде не пользовалось особыми правами, которыми пользовались у себя другие народности Советского Союза" [3. 25 VIII 1935].

Укажу еще раз, что для младороссов "национализм есть сознательная приверженность к нации, обязывающее к служению ей. Нация есть объединение личностей, связанных общностью исторической судьбы. Это есть духовный организм, образующийся в силу общности как духовной направленности, так и внешних условий жизни (органичность и природность). С младоросской точки зрения нация отличается от народа тем, что в ней признак происхождения (крови) играет второстепенную роль. Нация может быть сплавом многих народов, но обладает единой синтезирующей культурой. Нация зарождается в момент осознания ее членами этой культуры и умирает, когда оказывается неспособной служить своему идеалу" [3. 1 I 1934]. Не нужно быть большим мудрецом, чтобы увидеть в младоросской "нации" прототип российской нации и прообраз новой исторической общности – "советский народ".

Младоросская программа, представлявшая собой некую "органическую смесь" разнообразных установок, тезисов, положений, взятых из наследия русской мысли, из современной им практики государственного строительства "новых небес", обогащенной собственными представлениями о будущем России и ее строителях, выстраиваемая в категориях желательного, необходимого и будущего, была привлекательна уже по той причине, что позволяла ощутить себя причастным к великому делу, практически в нем не участвуя. Но в этом же была и ее слабость.

Младороссы проводили жизнь в своеобразном зале ожидания "поезда" в Россию, но в Россию уже без Сталина. В этом же скрывалась и их инерционная сила, позволявшая сохранять себя длительное время. Однако Вторая мировая война напрямую поставила перед младороссами проблему выбора пути. Она решалась в пользу "русскости": «Мы против всех, если интересы их нам угрожают ...Мы молчим и живем одним сознанием: какое счастье быть русским, сыном великой страны! у которой все есть, ибо это мир, которому ничего не нужно! и особенно "великих европейских событий" ... Мы верим в наш народ, он выгребет, устроит свою жизнь, усилит мощь – и этот факт сам по себе будет благоденственным для мира всего мира. А прибавив к этому русское чувство всемирности и человечности, Россия в полной мере выполнит тогда свое великое историческое назначение среди других народов» [7. Д. 1. Л. 87 и об.].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Петрович Р.* Младороссы. London, Ontario, Canada. 1873.
2. *Косик В.И.* Русская Церковь в Югославии (20–40 гг. XX века). М., 2000.
3. Младоросская искра.
4. *Муссолини Б.* Доктрина фашизма // <http://resist.gothic.ru/varhiv/benito4.html>.
5. *Дугин А.* Консервативная революция. М., 1994 // <http://www.dugin.ru:8100/public/demo.htm>
6. *Леонтьев К.Н.* Собр. соч., Т. 5. М., 1912–1913.
7. Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 64. Оп. 1.
8. *Волков В.Р.* Фашизм в России. Что завтра? // <http://www.rne.org/news/realfastr.htm>.
9. Бодрость.



© 2002 г. В. С. ЕФИМОВА

МЕСТОИМЕНИЕ ПЕРВОГО ЛИЦА В ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ ТЕКСТАХ*

Изучение правил и условий употребления в высказывании (и, далее, в тексте) личных местоимений относится к области той самой "синтагматической лингвистики", которая в настоящее время только еще "пробивает себе дорогу", но, несомненно, займет вскоре господствующее положение. И хотя нельзя сказать, что в XX в. лингвистика не занималась местоимениями – их происхождением, "природой", морфологией, особенностями референции и т. д., некоторые вопросы, связанные с их функционированием, до недавнего времени еще не были поставлены. Между тем выясняется, что каждый носитель конкретного языка чувствует *интуитивно* необходимость употребления или неупотребления личного местоимения в каждом конкретном высказывании. Однако сформулировать правила или дать исчерпывающее объяснение необходимости употребления или неупотребления местоимения изучающему чужой – например, русский – язык, до сих пор, видимо, не представляется возможным, хотя именно в отношении русского языка уже очень многое "вскрыто" в этом направлении в последних исследованиях Т. М. Николаевой, И. Фужерон и Ж. Брейяра. В их работах начато исследование наличия/отсутствия в высказывании (тексте) личного местоимения в качестве функциональной категории русского языка [1; 2; 3].

Очевидно, что существуют общие закономерности в употреблении личных местоимений в языке вообще, и в то же время каждый конкретный язык (в том числе и славянские языки) вырабатывает свои собственные нормы их функционирования, причем нормы, изменяющиеся по мере исторического развития языка. Так, в отношении интересующего нас в данной статье местоимения первого лица единственного числа еще лингвистами прошлого было отмечено в качестве общего для индоевропейских языков его эмфатическое употребление [4. Р. 343]. Наблюдения над нормами употребления личных местоимений в языке новгородских берестяных грамот в исторической динамике были изложены в известном исследовании А. А. Зализняка [5. С. 152–154]. Представляется, что на проблему функционирования личных местоимений в славянских языках в условиях современного дискурса может пролить свет исследование ее в диахроническом аспекте и, в частности, анализ употребления личных местоимений в древнейших славянских текстах.

* Ефимова Валерия Сергеевна – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Данная статья написана в рамках работ по проекту № 8877 "Дискурсивная стратегия и интонация: механизмы декодирования внутри- и межфразовых связей" сотрудничества Российской академии наук с C.N.R.S. (Франция).

Для изучения особенностей развертывания фраз, содержащих в глубинной структуре значение 1 л. ед.ч. (выражаемое или не выражаемое личным местоимением), мы выбрали материал евангельских текстов – как содержащих довольно большое количество примеров (сравнительно с древними славянскими текстами других жанров) "прямой речи", в том числе и в условиях диалогического дискурса. Немаловажно также в данном случае, что евангельский материал дает возможность сравнения текстов синоптических чтений, отражающих в языке (в том числе в пределах одной рукописи) одну и ту же (или очень схожую) ситуацию реальной действительности. В этих целях мы прибегли к методике сплошного расписывания евангельского текста, начиная с "классических" старославянских евангельских кодексов (евангелий Маринского, Зографского, Ассеманиева и Саввиной книги), а также ранних церковнославянских списков XI–XIII вв. разных изводов (евангелий Остромирова, Мстиславова, Галицкого, Добромирова, Добрейшева, Врачанского, Баницкого, Карпинского, Вуканова)¹. Таким же образом был расписан и текст греческого оригинала², так как факт общего влияния греческого языка на поверхностную структуру старославянского бесспорен и должен учитываться в исследованиях старославянского материала (см., например, [9. С. 62]). Старославянский и греческий тексты были сопоставлены с современным русским синодальным переводом, привлекался также для сравнения и латинский перевод [7].

Как известно, местоимения 1-го и 2-го лица относятся к тем особым "неповторимым" языковым единицам, каждая манифестация которых имеет свою собственную референцию с уникальным речевым актом. Для целей данного исследования функции интересующего нас местоимения 1 л. ед.ч., видимо, целесообразно разделять на "основные" (собственно местоименные) и "дополнительные" (т. е. не связанные с грамматической нагрузкой, но не менее важные для высказывания и текста). Собственно местоименные функции местоимения 1 л. ед.ч. были в свое время определены Э. Бенвенистом как обозначение индивида, "который производит данный речевой акт, содержащий акт производства языковой формы я" [10. С. 287]. Давая симметричное определение местоимению *ты*, Бенвенист характеризует *я* и *ты* как категории языка и подчеркивает, что "при этом не рассматриваются проявления этой категории в отдельных языках и представляется также несущественным, находят ли они эксплицитное выражение в речи или остаются там имплицитными" [10. С. 287]. Из последних работ Т. М. Николаевой, И. Фужерон и Ж. Брейяра, содержащих анализ разнообразного русского материала, все более отчетливо вырисовываются контуры "дополнительных" функций этого местоимения³.

"Раскрывая" и приводя в соответствие с современной лингвистической парадигмой приведенное выше высказывание Э. Бенвениста, можно сказать, что значение 1 л. ед.ч., содержащееся в глубинной структуре высказывания и отражаемое в поверхностной языковой структуре, в индоевропейских языках (в том числе и в славянских) может выражаться как личным местоимением ("собственно местоименная" функция местоимения), так и глагольной флексией, и "распределение ролей" при этом зависит от особенностей поверхностной структуры каждого конкретного языка. Так, в русском языке, как отмечают И. Фужерон и Ж. Брейяр, "местоимения не являются обязательными маркерами лица, так как в ряде случаев эту функцию выполняет глагольная флексия: *ид-у; ид-ешь*. Таким образом, местоимение высвобождается для выполнения других функций" (разрядка моя. – В. Е.) [1. С. 53].

¹ Поскольку язык древнейших евангельских кодексов обычно принято называть "старославянским", для удобства изложения далее будем называть перевод с греческого языка на славянский, зафиксированный древнейшими славянскими рукописями, "старославянским переводом".

² При поиске различий использовались известные критические издания Нестле и Мерка [6; 7], издания архимандритом Амфилохием греческая рукопись 835 г., а также указанные им различия [8].

³ Способность местоимения 1 л. ед.ч. к передаче информации о высшем уровне характеристики, отмеченную А. Г. Елисейевой и О. Н. Селиверстовой [11. С. 79], относим к "собственно местоименной" функции как представляющую собой часть местоименного значения.

И далее: "В прошедшем времени, в результате исчезновения вспомогательного глагола *быть* в древнем перфекте, глагольная форма, бывшее причастие, не имеет указателя лица. Здесь, естественно, правила употребления местоимения иные" [1. С. 53]. В отличие от русского языка, в поверхностной структуре старославянского, также как и греческого (интересующей нас эпохи раннехристианских текстов и византийского) и латинского, обладающих спрягаемыми глагольными формами во всех временах, "собственно местоименное" значение 1 л. ед.ч. способно полностью выражаться глагольной флексией. Отметим попутно, что именно этим обстоятельством во многих случаях объясняется расхождение в употреблении или неупотреблении местоимения 1 л. ед.ч. в старославянском евангельском тексте, греческом оригинале, латинском переводе с одной стороны, и русском переводе, с другой. Ср., например, в чтении И 9,15: *ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς: πλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω.* – онъ же рече имъ . брънье положи мнѣ на очю . и оумъхъ са и виждѣ .⁴ – *Ille autem dixit eis: Lutum mihi posuit super oculos, et lavi et video.* – "Он же сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу". Таким образом, каждое употребление местоимения 1 л. ед.ч. в старославянском евангельском тексте (также как и в греческом, и в латинском) может быть "заподозрено" в выполнении каких-либо "других функций", и картина здесь должна получаться менее "размытой", чем, например, в русском языке.

Тем не менее местоимение 1 л. ед.ч. *азъ* в евангельском тексте является довольно частотным словом. Судя по индексу В. И. Ягича, в Маринском евангелии *азъ* (именно как личное местоимение, в форме 1 л. ед.ч.) употреблено 246 раз [12. С. 477–478]. Видимо, это обусловлено спецификой евангельского текста – простого по стилю, но живо рисующего "картинки из жизни", с обилием монологических поучений и диалогов, очень тонко передающих не только "обязательное" содержание прямой речи, но и его нюансы, и сопутствующие ей эмоции⁵. Прямая речь в евангельском тексте часто принадлежит самому Иисусу Христу, что обуславливает ее экспрессивность, заданность на необходимость для говорящего *внушить свою точку зрения* слушающему (слушающим). Рассмотрим, какие "другие функции" фиксируют у местоимения *азъ* древнейшие славянские рукописи.

Так же как и местоимение 1 л. ед.ч. в русском языке (см., например, [1. С. 54–55]), местоимение *азъ* часто употребляется в высказываниях, содержащих различного рода сопоставления, в том числе и противопоставления говорящим себя 'другому'⁶. Противопоставление может быть эксплицированным, как, например, в чтении Мт 26,39: *...и глѣ . Уче мои аште възможно естъ да мимо идетъ отъ мене чаша си . обаче не ёко азъ хошѣ . нъ ёкоже ты .* – "...и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты". (Сходно и в синоптическом чтении Мк 14,36.) В греческом оригинале тоже употреблено личное местоимение и союз *ἀλλά*: *...πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς σὺ.* (В латинском переводе также личное

⁴ Если в обследованных нами древнейших славянских рукописях не отмечено разночтений, относящихся к употреблению личного местоимения, в целях экономии места старославянский текст дается только по Маринскому евангелию. При отсутствии текста в Маринском цитируем другие старославянские кодексы. Разночтения в греческом оригинале указываем в квадратных скобках.

⁵ Представляется, что изучение выражения в высказывании различных эмоций – т. е. того, на что еще в первой половине XX в. необычно много для того времени обращал внимание С. И. Карцевский (см., например, [13. С. 112–116; 14. Р. 198–200] и др.) – должно составить одно из важнейших направлений "синтагматической лингвистики" XXI века.

⁶ Связь наличия личных местоимений (в том числе и местоимения *азъ*) в старославянском языке с противопоставлением отмечается в работе М. И. Лекомцевой, которая выделяет два типа конструкций: "1) конструкция с личным местоимением построена как антитеза конструкции, субъект которой выражен номинативно" и "2) конструкция с одним личным местоимением построена как антитеза конструкции с другим личным местоимением" [15. С. 213]. В этой же работе описаны условия употребления выражения "*азъ есмь*" [15. С. 214–215].

местоимение *ego* и союз *sed*.) В высказываниях с имплицитным противопоставлением тоже может быть употреблено местоимение *азъ* – как, например, в чтении Мк 10,38: *нѣ же рече има . не вѣста сѧ чесо просашта . можета ли пити чашѧ ѡже азъ пниѧ . ли крѣщенемъ нмѣже азъ крѣштаѧ сѧ крѣстити сѧ .* – "Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую *Я* пью, и креститься крещением, которым *Я* крещусь?" В греческом оригинале и латинском переводе тоже личное местоимение: *...δύνασθε πίνειν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι* – *...potestis bibere calicem, quem ego bibo, aut baptismo, quo ego baptizor, baptizari?*

Как и в русском языке в высказываниях, содержащих значение сопоставления, наряду с местоимением 1 л. ед.ч. может использоваться союз *а*, как, например, в Мк 1,8, где союз *а* переводит греческую частицу *δέ*. Однако здесь могут наблюдаться колебания по древнейшим славянским спискам в употреблении *а* или же: *ἐγὼ [μὲν] ἐβάπτισα ὑμᾶς [ἐν] ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ*. – *азъ оубо крѣстнхъ въ водоѧ . а тѣ крѣститъ въ дѣомъ сѣмъ* . в Мар, Зогр, Ас, Сав, Остр, Карп, Гал, Дбрш, Бан – *азъ оубо крѣстнхъ въ водою . тѣ же крѣтитъ въ дѣмъ свѣтнмъ* . в Мст. – "я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым". Таких примеров в старославянском евангельском тексте не много – в отличие от русского и, видимо, древнерусского языка, где употребление местоимения *я* (*а*) тесно связано с союзом *а*, что дало основание О. Н. Трубачеву даже высказать (в устной беседе с Т. М. Николаевой) предположение, приведенное в совместной статье Ж. Брейяра, Т. М. Николаевой и И. Фужерон, что "именно частотностью сочетаний с *А* может объясняться появление *ј* в русском [*ја*], так как в этом случае язык избегает зияния: *А+Ј+А*" [2; 1. С. 54; 5. С. 152].

Следует отметить, что, в отличие от русского языка, где местоимение *я* в условиях противопоставления, похоже, обязательно [1; 2], в древнейших славянских евангельских текстах в условиях сопоставления употребление местоимения *азъ* не было обязательным. Показательными в этом отношении представляются случаи колебания в древнейших славянских евангельских списках в наличии/отсутствии личного местоимения. Например, в чтении И 14,12: *ὀψὴν ὀψὴν λέγω ὑμῖν· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ καὶ κεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει*. – в Мар, Ас, Сав, Остр, Мст, Карп, Гал, Дбрш, Дбрм, Бан, Вук: *амин . амин глѣж вамъ . вѣроуѧи въ ма дѣла ѣже азъ творѧ . и тѣ сѣтворитъ . и вольша сѣтворитъ сиѧ* . – в Зогр и Врач: *амин . амин глѣж вамъ . вѣроуѧи въ ма . дѣла ѣже творѧ . и тѣ творитъ . и вольша творитъ сиѧ* . – "Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю *Я*, и он сотворит, и больше сих сотворит". Видимо, наличие/отсутствие местоимения 1 л. ед.ч. в таких случаях в старославянском, как и в изводах раннего периода, зависило от понимания переводчиком (или даже писцом) смысла высказывания, и в старославянском языке наличие местоимения *азъ* следует отнести к той сфере смыслового компонента высказывания, который можно было бы назвать "субъективной интерпретацией"⁷. Наличие местоимения 1 л. ед.ч. подчеркивало противопоставление, усиливало его эмоциональное воздействие на слушающего (реципиента), хотя язык позволял его выразить – в качестве обязательной информации – и без введения личного местоимения. Интересно, что таким же образом (т. е. в качестве "субъективной интерпретации") противопоставление могло быть "усилено" в некоторых древнейших евангельских списках введением "противопоставленного" место-

⁷ Отметим, что в чтении И 14,12 высказывание, содержащее разночтение по наличию/отсутствию личного местоимения, принадлежит Иисусу Христу (как и в большинстве наших евангельских примеров), чьи слова сохраняют большую стабильность в движении по спискам, чем остальной текст Евангелий. Возможно, на появление этого разночтения повлиял "авторитет" какого-то греческого списка, содержащего неизвестное нам разночтение греческого оригинала. Однако это обстоятельство, важное для текстологии славянского евангелия, несущественно для нашего исследования, так как в данном случае нас интересуют возможности языка.

имения 2 л. – при отсутствии его в греческом оригинале и в других древнейших славянских списках. Ср., например, в чтении И 13,36: ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· ὁλοῦ [ἐγὼ] ὑπάγω οὐ δύνασθαί μοι νῦν ἀκολουθήσαι. – в Мар, Зогр, Ас, Сав, Остр, Мст, Карп, Гал, Дбрм, Врач, Вук: отъвѣшта нѣ ѣможе азъ идѣ не можешн нгнѣ по мьнѣ нти . – в Бан: Ѡвѣща нѣ ѣможе азъ идѣ ты не можешн прити . в Дбрш – Ѡвѣща нѣ ѣможе азъ идѣ вы не можете принти . Местоимение 2 л. отсутствует в этом чтении в латинском переводе, но присутствует в русском синодальном: Respondit Iesus: Quo ego vado, non potes me modo sequi. – "Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти".

В отличие от современного русского языка, в языке древнейших славянских рукописей не было обязательным наличие местоимения азъ и в высказываниях, содержащих дополнение при глаголе, в том числе и выраженное местоимением 2-го лица. Иными словами, поверхностная структура языка древнейших славянских рукописей не требовала создания бинарной опоры фразы типа я тебя и т. п., которая, видимо, необходима для современного русского языка [1. С. 54; 16. Р. 71–72]. Ср., например, в чтении И 13,34 – при наличии разночтения в греческом оригинале в наличии/отсутствии местоимения ἐγὼ, в обследованных нами древнейших славянских списках местоимение азъ отсутствует: Ἐντολήν καινήν διδώμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς [ἐγὼ] ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. – заповѣдь повѣдаѣмъ вамъ . да любите другѣ другѣ ѣкоже възлюбихъ вы . да и вы любите другѣ другѣ . (В апракосе ближе к известному греческому оригиналу, но тоже без местоимения азъ: Заповѣдъ новъ даѣмъ вамъ . да любите другѣ другѣ . ѣкоже възлюбихъ вы . да и вы любите другѣ другѣ . в Ас.) Латинский перевод тоже без местоимения 1 л. ед.ч., а в синодальном русском – с местоимением я: Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem. – "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга".

Наибольшее количество примеров использования местоимения 1 л. ед.ч. в древнейших славянских евангельских текстах нужно, видимо, квалифицировать как эмфатическое его употребление. Также как и в рассмотренных выше случаях наличие/отсутствие личного местоимения в таких высказываниях в старославянском языке следует отнести к той части смыслового компонента высказывания, который мы назвали "субъективной интерпретацией": оно зависит от эмоций говорящего по отношению к обязательному содержанию высказывания. При введении в высказывание местоимения азъ на него делается логическое ударение, при этом наличие местоимения азъ вносит эмоционально выделенное значение 'именно я', но это значение факультативно. Ср., например, в чтении Мк 9,25: видѣвъ же нѣ ѣко сръштитъ сѧ народъ . запрѣти дх̄оу нечистоуоумоу гл̄а емоу . нѣмты і гл̄оухты дше . азъ ти велѣ изити из него . і к томоу не вьниди въ нь . – "Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него". Характерно, например, явно факультативное употребление местоимения азъ во всех синоптических чтениях Мт 11,10, Мк 1,2 и Л 7,27 в славянском переводе при наличии разночтений в наличии/отсутствии местоимения ἐγὼ в греческом оригинале: Се азъ посылаю ангѣл̄ мон прѣдъ лицемъ твоимъ . і оуготовитъ пять твои прѣдъ тобою . – ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἐμπροσθέν σου. в Мт 11,10; ἰδοὺ [ἐγὼ] ἀποστέλλω... в Мк 1,2; ἰδοὺ ἀποστέλλω... в Л 7,27. В русском синодальном переводе: "се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою" с местоимением я во всех синоптических чтениях.

На наличие эмфазы при употреблении местоимения азъ в древнейших славянских текстах могут указывать выделительные частицы же, бо, а также союз и в значении частицы, переводящие греческие частицы δέ, γάρ и союз καί в значении частицы. Например, в Мт 5,28: ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν... – азъ же гл̄ѣмъ вамъ... – в русском синодальном переводе "А Я говорю вам..." (так же и в чтениях Мт 5,32; Мт 5,34;

Мт 5,39); в И 13,18: οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω ἐγὼ [γάρ] οἶδα τίνας ἐξελεξάμην. – не о вѣсѣхъ васъ гл҃ѣхъ . азъ бо вѣмъ ѡже избѣрахъ . – в русском синодальном переводе "Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал"; в Мт 21,24: ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἓνα – отъвѣштатъ же нѣ рече имъ . въпрошѣ въи азъ единого словесе – в русском синодальном переводе "Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном" (сходно и в синоптических чтениях Мк 11,29 и Л 20,3); в И 8,11: εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς· Οὐ δὲ ἐγὼ σε κατακρίνω [κρίνω]. – рече ен нѣ ни азъ тебѣ осуждаѣхъ . – "Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя".

Отметим употребление местоимения азъ и в тех случаях, когда с помощью частиц вводятся предложения со значением причины или уступки. Ср., например, высказывание со значением уступки в чтении Мт 8,9: καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπος εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ πορεύθητι, καὶ πορεύεται... – ѡ бо азъ чл҃вкъ есмь подѣ вл҃коуж . имъ подѣ совоуж воинъ . ѡ гл҃ѣхъ семоу нди и идетъ... – "ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: поиди, и идет..."; пример со значением причины в чтении Л 8,46: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν ἡψατό μου τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνω δύναμιν ἐξηληλυθῆσαν ἀπ' ἐμοῦ. – ѡъ же рече прикоснѣ сѧ мьнѣ нѣкъто . азъ бо чюхъ силѣ ишедъшу из мене . – "Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, ишедшую из Меня".

Следует, однако, особо подчеркнуть, что одна и та же "обязательная информация" в евангельском тексте в древнейших славянских рукописях может быть передана как с использованием личного местоимения, так и без него – хотя, как мы уже отмечали выше, это небезразлично для выражения "эмоциональной составляющей" высказывания (и текста). При этом значение 'именно я', которое в таких случаях вносит местоимение азъ, факультативно. Показательны в этом отношении разночтения в наличии/отсутствии местоимения азъ в древнейших славянских рукописях. Например, в чтении И 5,36 при наличии разночтения в греческом: Ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μεῖζω τοῦ Ἰωάννου· τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατήρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ [ἐγὼ] ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ... В Мар, Зогр, Остр, Мст, Гал, Дбрм, Бан, Врач, Вук без азъ: азъ же имамъ свѣдѣтельство боле иоанова . дѣла бо ѣже дасть мьнѣ отѣцъ да съврѣшѣ ѣ . та дѣла ѣже творѣхъ . свѣдѣтельствуюжтъ о мьнѣ... В Ас и Карп с местоимением азъ: азъ же имамъ свѣдѣтельство боле иоанова . дѣла съврѣшаѣхъ . та дѣла азъ творѣхъ . ѣже свѣдѣтельствуюжтъ о мьнѣ... в Ас; азъ же имамъ свѣдѣтельство боле иванова . дѣла бо ѣже ми дасть ѡцѣ . творѣхъ та да дѣла ѣже азъ творѣхъ свѣдѣтельствуюжтъ ѡ мнѣ... в Карп. (В латинском переводе с местоимением ego: ...ipsa opera, quae ego facio, testimonium perhibent de me...; в русском синодальном переводе другое строение фразы, с местоимением в косвенном падеже: "Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне...".)

Или в чтении И 14,14 при наличии разночтения в греческом: εἰάν τι αἰτήσῃτέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου, [τοῦτο] [ἐγὼ] ποιήσω. В Зогр, Ас, Остр, Мст, Гал, Дбрм, Дбрш, Бан, Врач без азъ: ѡ (а)ште чесо просите въ имѧ мое . то сътворѣхъ . В Мар, Сав, Мст, Карп, Вук с местоимением азъ: ѡ аште чесо просите въ имѧ мое азъ сътворѣхъ . (В латинском переводе без личного местоимения: Si quid petieritis me in nomine meo, hoc faciam; в русском синодальном переводе с местоимением я: "Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю".)

Или в чтении И 14,28 при наличии местоимения ἐγὼ в греческом оригинале: ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. В Мар, Зогр, Ас, Остр, Мст, Гал, Карп, Дбрм, Врач, Вук местоимение азъ: слышасте ѣко азъ рѣхъ вамъ . идѣхъ и придѣхъ къ вамъ . В Дбрш и Бан – местоимение отсутствует: слышасте ѣко рекохъ вамъ . идѣхъ и придѣхъ къ вамъ . (В латинском и русском синодальном переводах – с личными местоимениями ego и я: Audistis quia ego dixi vobis: Vado et venio ad vos – "Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам".)

Для языка Евангелий характерны высказывания "самоидентификации". Как правило, они строятся с использованием местоимения азъ. Приведем типичный пример из

чтения И 6,35: рече же имъ иѣъ азъ есмъ хлѣвъ животънчын . В греческом оригинале, латинском переводе и современном русском переводе также используется местоимение 1 л. ед.ч.: εἶπεν [δὲ] αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς: *ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς*. – Dixit autem eis Iesus: *Ego sum panis vitae*. – "Иисус же сказал им: *Я* есмь хлеб жизни". Эти высказывания эмоциональны, экспрессивны, на местоимение 1 л. ед.ч. падает логическое ударение. Однако когда высказывания "самоидентификации" не требуют логического подчеркивания значения 1 л. ед.ч., местоимение *азъ* не вводится. Например, в чтении И 10,36: *его же отъць стн . и посъла въ миръ . въ глѣте ꙗко власфимѣши . зане рѣхъ ꙗко сѣъ бжнн есмь* . В греческом оригинале и латинском переводе местоимение 1 л. ед.ч. также не употребляется, но в современном русском переводе находим местоимение *я*: *ὄν ὁ πατήρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον· υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι*; – quem Pater sanctificavit et misit in mundum, vos dicitis: Quia blasphemae, quia dixi: *Filius Dei sum?* – "Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что *Я* сказал: *Я* Сын Божий?". Или ср., например, в чтении И 9,5: *егда въ мирѣ есмъ свѣтъ есмь мироу . – ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾶ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου*. – Quamdiu sum in mundo, *lux sum mundi*. – "Доколе *Я* в мире, *Я* свет миру".

Сравнительный анализ высказываний, содержащих в глубинной структуре значение 1 л. ед.ч., в евангельском тексте приводит к мысли, что для наличия/отсутствия местоимения 1 л. ед.ч. небезразличным является характер (если не сказать "тип") дискурса. Для дискурса "непосредственного обращения", часто *эмоционально окрашенного*, характерно отсутствие местоимения 1 л. ед.ч. как в древних текстах – старославянском тексте, в греческом оригинале и в латинском переводе, – так и в современном русском переводе. По содержанию это различные мольбы, просьбы, предостережения, угрозы и т. п., а также *короткие* реплики, вопросы и ответы. Другой тип прямой речи в евангельском тексте, хотя тоже обращенной к собеседнику, ближе к монологической речи. Если речь эмоционально нейтральна, нет сопоставлений, противопоставлений или какого-либо вида эмфазы, а по содержанию она представляет собой *спокойное сообщение информации о себе*, как правило, в виде *объяснений* – своих действий, своего состояния, своих намерений и т. п., в древних текстах – старославянском, греческом, латинском – местоимение 1 л. ед.ч. отсутствует. Но в современном русском переводе используется местоимение *я* – и это несмотря на то, что современный синодальный перевод, как известно, несет на себе следы чересчур сильного влияния церковнославянского (восходящего к старославянскому) текста.

Приведем ряд примеров высказываний из текста Евангелий, представляющих собой спокойное сообщение информации о себе собеседнику (собеседникам), избегая, по указанным в начале статьи причинам, примеров в прошедшем времени как непоказательных для русского перевода. Намеренно выбираем примеры с *разными* условиями, сопутствующими наличию/отсутствию местоимения 1 л. ед.ч. – т. е. наличие в высказывании другого местоимения, смена топика, наличие дополнения у глагола (в том числе и в виде целого придаточного предложения).

Мт 4,(18)–19. В древних текстах местоимение отсутствует: *ходъ же при моря галилѣисцѣмъ . видѣ дѣва брата симона нарицающаго сѧ петра . и андрѣя брата его . въмѣтающа мръжа въ море . еѣшете бо рыбарѣ . и гла има . градѣта въ слѣдъ мене . и сътвориъ въ чкъмъ ловьца . Зоґр (в Маринском текст, находившийся в начале рукописи, утрачен) – ...καὶ λέγει αὐτοῖς: δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλείεις ἀνθρώπων. – ...Et ait illis: Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum. В русском синодальном переводе наличие местоимения *я*: "Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и *Я* сделаю вас ловцами человеков". Такое же употребление местоимения 1 л. ед.ч. и в синоптическом чтении Мк 1,17.*

meum ad te habentem spiritum mutum. В древних текстах местоимение 1 л. ед.ч. отсутствует, но в современном русском синодальном переводе отмечаем наличие местоимения я: "Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе сына моего, одержимого духом немым". Еще пример. Эмоционально окрашена, например, угроза, содержащаяся в пророчестве, и "напомненная" в чтении Мт 26,31: γέγραπται γάρ πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται [διασκορπισθήσεται] τὰ πρόβατα τῆς ποιμνῆς. – писано бо естъ . поража пастырь и разидятъ сѧ овьца стада . – Scriptum est enim: Percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis. Как в древних текстах, так и в современном русском переводе местоимение 1 л. ед.ч. отсутствует: "ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада". Так же и в синоптическом чтении Мк 14,27.

Вместе с тем правило отсутствия местоимения азъ в коротких эмоциональных репликах, видимо, не было строгим. Интересно в этом отношении рассмотреть колебания в наличии/отсутствии местоимения азъ в древнейших славянских рукописях в отрывке Мт 21,28–30. Для лучшего понимания содержания приведем сначала русский перевод: "У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди, сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаившись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь; и не пошел". Греческий оригинал имеет разночтение: ἄνθρωπος [τις] εἶχεν τέκνα δύο· προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐ θέλω, ὕστερον [δὲ] μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. προσελθὼν δὲ τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· [ὕπάγω, κύριε] [ἐγὼ κύριε], καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. Т. е. ответ второго сына в греческом оригинале имеет два варианта: 1) "Иду, государь" и 2) буквально "Я, государь". Видимо, в зависимости от того, с какой греческой рукописью сверялся древний книжник, в некоторых древнейших славянских рукописях наблюдается либо один, либо другой вариант. В Добромировом и Добрейшевом евангелиях – первый вариант (в целях экономии места приводим только ответ второго сына): ...онъ же отъвѣщавъ рече . ндѧ гѣ . и не иде . в Дбрм; ...онъ же ре^а . ндѧ гѣ . и не иде . в Дбрш; в Баницком – второй вариант: ...онъ же отъвѣщавъ ре^а . и азъ гѣ . и не иде . А в ряде списков, в том числе и в древнейшем Мариином евангелии (в Зографском, Ассеманиевом и Саввиной книге этого чтения нет), получилась "контаминация" двух вариантов. В результате наблюдается наличие и глагола, и местоимения азъ: ...онъ же отъвѣщавъ рече азъ ндѧ гѣ и не иде . в Мар; ...онъ же отъвѣщавъ . рече азъ ндоу господи и не иде . в Мст; ...онъ же отъвѣщавъ рече азъ ндоу гѣ и не иде . в Гал; ...онъ же отъвѣщавъ рече азъ ндоу и не иде . в Вук; ...онъ же отъвѣщавъ ре^а . азъ гѣ ндѧ . и не иде . в Карп. Следовательно, язык допускал и такое употребление.

Попробуем интерпретировать извлеченный из евангельского текста фактический языковой материал.

Нельзя не обратить внимание на изоморфность конструкций анализировавшихся нами высказываний в отношении наличия/отсутствия местоимения 1 л. ед.ч. в древних языках – в языке древнейших славянских рукописей, греческого оригинала и в латинском. Конечно, в значительной степени это явление можно объяснить влиянием греческого оригинала, но, с другой стороны, эта легкость восприятия славянским языком при переводе рассматриваемых нами греческих структур заставляет предполагать, что они были свойственны и славянскому. В тех редких случаях, когда структура не была свойственна славянскому языку, она им отвергалась. Например, в чтении И 14,26 в греческом оригинале представлен редкий случай постпозиции местоимения ἐγὼ по отношению к глаголу: ...ἐκεῖνος (т. е. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον) ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν ἐγὼ. ("Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое,) научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам".) Во всех обследованных нами древнейших славянских рукописях местоимение 1 л. ед.ч. опущено, так как для старославянского перевода было характер-

по употребление местоимения азъ в препозиции к глаголу: *тъ в наоу⁸тъ въเสมอу . 1* *въспомънетъ вамъ въсѣ еликоже рѣхъ вамъ .*

В употреблении местоимения 1 л. ед.ч. в древних языках, с одной стороны, и в языке современного русского перевода, с другой стороны, есть много сходного. Если исключить примеры с глаголами в прошедшем времени (как непоказательными для современного русского языка, о чем было сказано в начале статьи), то структура высказываний, содержащих значение 1 л. ед., в древних языках и в современном русском переводе чаще совпадает по наличию/отсутствию местоимения 1 л. ед.ч., чем не совпадает. Как для языка современного русского перевода, так и для языка древнейших славянских рукописей характерно, с одной стороны, наличие местоимения 1 л. ед.ч. в условиях эмфазы и различных эксплицитных и имплицитных сопоставлений (в том числе и противопоставлений), и, с другой стороны, отсутствие местоимения 1 л. ед.ч. в эмоционально окрашенных высказываниях, содержащих мольбу, угрозу и т. п., а также в коротких репликах в дискурсе "непосредственного обращения".

Вместе с тем гораздо большую частотность местоимения я сравнительно с местоимением азъ в евангельском тексте нельзя объяснить только необходимостью употребления местоимения 1 л. ед.ч. в современном русском языке в прошедшем времени в качестве указателя лица из-за отсутствия этого указателя в глагольной форме. Как современный русский язык, так и вовлеченные в сравнительный анализ в данной статье древние языки (старославянский и изводы раннего периода, греческий, латинский) в отношении употребления/неупотребления в высказывании местоимения 1 л. ед.ч. являются "языками выбора". Однако в современном русском языке "выбор", видимо, в значительной степени более формализован, чем в указанных древних языках.

Как мы пытались показать в ходе изложения фактического языкового материала, в языке древнейших славянских рукописей употребление местоимения азъ, *несмотря на высокую частотность, не было обязательным* в любых формально определяемых условиях⁸, но относилось к той сфере смыслового компонента высказывания, который мы назвали "субъективной интерпретацией". Даже в условиях сопоставлений, где азъ употребляется почти всегда, было возможным и его отсутствие. (Данное обстоятельство трудно заметить "на первый взгляд", но оно выявляется при необходимости анализировать достаточно большое количество примеров *подряд*, как это было сделано в нашем исследовании.) Учитывая сказанное в данной статье по поводу функционирования личных местоимений в условиях различных сопоставлений, употребление местоимения азъ в случаях сопоставлений можно считать гораздо более приближающимся по своему существу к эмфатическому употреблению, чем в современном дискурсе. Иначе говоря, функционирование местоимения 1 л. ед.ч. в условиях сопоставлений (в том числе противопоставлений) для этой эпохи можно, видимо, еще рассматривать как частный случай эмфатического употребления.

Пользуясь идеей выдвигания наличия/отсутствия личного местоимения в качестве функциональной категории языка, которое было сделано в работе Т. М. Николаевой, И. Фужерон и Ж. Брейяра [2], можно сказать, что в языке древнейших славянских рукописей *исходной позицией* для этой категории (во всяком случае по отношению к рассмотренному нами местоимению 1 л. ед.ч.) было *отсутствие* местоимения, поскольку именно наличие его требует объяснений и введения фактора "субъективной интерпретации" высказывания. Таким образом, именно с этой стороны может быть сформулировано правило выбора наличия/отсутствия местоимения азъ в языке древнейших славянских рукописей. С другой стороны, наличие местоимения я в современном русском переводе в различных условиях, отмеченных в высказывании, там, где в языке древнейших славянских рукописей наблюдается отсутствие местоимения азъ, наводит на мысль, что, возможно, в современном русском языке исходной

⁸ За исключением употребления при местоимении выделительных частиц, но этот фактор является уже не выбором при порождении высказывания, а следствием выбора.

позицией для этой категории является наличие местоимения *я*, и правило выбора наличия/отсутствия местоимения *я* может быть сформулировано не со стороны объяснения его наличия (условия противопоставления, наличие в высказывании другого местоимения, смена топики, наличие дополнения у глагола и т. д., и т. п.), а со стороны объяснения *причин его отсутствия*. Но это требует дальнейших исследований и не входит в рамки данной статьи.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Ас – Ассеманиево евангелие, рукопись X–XI в.
Бан – Баницкое евангелие, рукопись XIII в.
Врач – Врачанское евангелие, рукопись XIII в.
Вук – Вуканово евангелие, рукопись рубежа XII/XIII в.
Гал – Галицкое евангелие, рукопись 1144 г.
Дбрм – Добромирово евангелие, рукопись XII в.
Дбрш – Добрейшево евангелие, рукопись XIII в.
Зогр – Зографское евангелие, рукопись X–XI в.
Карп – Карпинское евангелие, рукопись XIII в.
Мар – Маринское евангелие, рукопись X–XI в.
Мст – Мстиславово евангелие, рукопись конца XI в.
Остр – Остромирово евангелие, рукопись 1056–57 г.
Сав – Саввина книга, рукопись X–XI в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фужерон И., Брейяр Ж. Когда Я нужно? // Известия АН. Серия литературы и языка. 2001. Т. 60. № 4.
2. Брейяр Ж., Николаева Т., Фужерон И. Наличие/отсутствие личного местоимения – функциональная категория русского языка (в печати).
3. Брейяр Ж., Фужерон И. С Я и без (в печати).
4. Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, 1951. Т. I.
5. Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 1995.
6. Nestle E. Novum Testamentum graece. Stuttgart, 1950.
7. Merk S. J. Novum Testamentum graece et latine. Romae, 1984.
8. Архим. Амфилохий. Четвероевангелие Галицкое 1144 г., слитное с древнеславянскими рукописными евангелиями XI–XVII вв. и печатными: Острожским 1571 г. и Киевским 1788 г., с греческим евангельским текстом 835 г. М., 1882–1883. Т. I–III.
9. Ефимова В. С. нъ и другие союзы в старославянском // Славянские сочинительные союзы. М., 1997.
10. Бенвенист Э. Природа местоимений // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
11. Елисеева А. Г., Селиверстова О. Н. Семантическая структура местоименного значения // Вопросы языкознания. 1987. № 1.
12. Ягич И. В. Словоуказатель (index verborum) // Ягич И. В. Маринское четвероевангелие с примечаниями и приложениями. Graz, 1960.
13. Карцевский С. И. Повторительный курс русского языка // Карцевский С. И. Из лингвистического наследия / Составление, вступительная статья и комментарии И. И. Фужерон. М., 2000.
14. Karcevski S. Deux propositions dans une seule phrase // Inédits et introuvables / Textes rassemblés et établis par I. et G. Fougeron. Paris, 2000.
15. Лecomцева М. И. Семантика личных и указательных местоимений в старославянском языке // Категория определенности–неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
16. Chevalier J.-C. Chrono-syntaxe et collocation des pronoms compléments en espagnol // Mélanges de linguistique, sémiotique et narratologie dédiés à la mémoire de Krasimir Manchev. Sofia, 1998.



© 2002 г. С. БОНАЦЦА

ЮЖНОСЛАВЯНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ЖУРНАЛЕ ВАТРОСЛАВА ЯГИЧА "ARCHIV FÜR SLAVISCHE PHILOLOGIE"

Журнал "Archiv für slavische Philologie" (далее – "Архив") принадлежит к тем периодическим научным изданиям, которые в значительной степени способствовали развитию славистики в Европе. Появившись на свет в Берлине, он уже с самого начала рассматривался как центральный печатный орган европейской славистики, в том числе и издателем, и сотрудниками, и коллегами-учеными, и читателями. "Архив" издавался с 1876 до 1929 гг., всего вышло 42 номера. Благодаря своему долголетию, высокому уровню и престижу, который он снискал себе в научных кругах Германии и всей Европы, журнал в течение полстолетия являлся одним из центров славистических исследований в Европе. Монографию об "Архиве" и об его значении для развития славистики предстоит еще написать. Существует несколько кратких исследований о предыстории и первых шагах этого журнала (ср. на эту тему: [1]). Имеется также библиографическое исследование об "Архиве" [2].

То обстоятельство, что основателем и многолетним издателем журнала был южный славянин, хорват В. Ягич, объясняет, почему в "Архиве" южнославянским темам было уделено относительно много внимания. Массивное их присутствие обусловлено и тем, что Ягич учился, а потом работал в качестве профессора славянской филологии в Вене, городе, который до Первой мировой войны представлял собой культурный и научный центр для южных славян. Здесь училось большое число словенцев, хорватов, сербов, здесь работали многие южнославянские ученые; так, например, хорват Б. Богишич и словенцы И. Приятель и Ф. Кидрич были сотрудниками Венской императорской библиотеки. Серб А. Ивич после окончания обучения в Вене (1905), где он был учеником Ягича, жил в этом городе еще пять лет. Из этого венского круга южнославянской интеллигенции, которому принадлежал и Ягич, вышли многие авторы "Архива". Так, сотрудниками "Архива" были учитель Ягича Ф. Миклошич (F. Miklošič), а также и любимый ученик Ягича В. Облак (V. Oblak), оба – словенцы. Многие сотрудники "Архива" являлись учениками Ягича и докторантами "Славянского семинара" Венского университета. "Славянский семинар" в большинстве своем составляли южные славяне. При всем этом была необычайно важна принципиальность Ягича – его абсолютная научная объективность и политическая корректность.

Бонацца Серджио – профессор Веронского университета.

В действительности с "Архивом" сотрудничала вся научная словенская, хорватская и сербская элита. При анализе состава южнославянских сотрудников "Архива" оказывается, что словенцы удивительным образом представлены более других, а именно 30 сотрудниками, в то время как хорваты – 27, сербы – 21, а болгары – 6 сотрудниками. Что касается количества опубликованных работ, то здесь первенство принадлежит хорватам из-за большого числа статей издателя "Архива" Ягича.

Среди словенцев самым прилежным сотрудником был способнейший и многократно хвалимый Ягичем В. Облак, который уже в первый год своего обучения в Венском университете стал сотрудником "Архива". Он умер очень молодым, в возрасте тридцати одного года, незадолго до назначения профессором в университет в Граце. Он написал для "Архива" 27 статей [3]¹ и 44 рецензии. Ф. Миклошич [4] и М. Мурко (M. Murko) [5] представили каждый по 8 работ (Мурко к тому же еще 20 рецензий). Много своих работ представляли также Л. Пинтар (L. Pintar), тогдашний директор Национальной библиотеки в Любляне (25 статей) [6], и К. Штрекель (K. Štrekelj), в то время профессор славистики в Университете в Граце (18 статей) [7].

Другими словенскими учеными, сотрудничавшими с "Архивом", были: лингвисты А. Брезник (A. Breznik) [8], Ф. Ребол (F. Rebol) [9], историк литературы И. Графенауер (I. Grafenauer) [10], литературовед Ф. Илешич (F. Ilešič) [11], историк литературы и культуры Ф. Кидрич (F. Kidrič) [12], И. Коштъял (I. Koštiál) [13], К. Ковач (K. Košč), который благодаря своему положению заведующего государственным архивом в Дубровнике, где он имел доступ к источникам, написал статью о Друди Гондоле [14], профессор славистики в Университете в Граце Г. Крек (G. Krek) [15], университетский профессор П. Лессиак (P. Lessiak) [16], Я. Локар (J. Lokar) [17], Й. Менцей (J. Mencej) [18], М. Маловрх (M. Malovrh) [19], профессор гимназии А. Мусич (A. Musič) [20], известный филолог Р. Нахтигал (R. Nahčigal) [21], лингвист К. Оштир (K. Oštir) [22], географ и историк М. Пайк (M. Pajk) [23], языковед Р. Перушек (R. Perušek) [24], литературовед И. Приятель (I. Prijatelj), который последовательно публиковал рецензии словенской и сербохорватской поэзии, Б. Раич (B. Rajič) [25], выдающийся лингвист Ф. Рамовш (F. Ramovš) [26], профессор гимназии Я. Шейнигг (J. Scheinig) [27], языковед С. Шкрабец (S. Škrabec) [28], исследователь языка и директор школы Й. Шуман (J. Šuman) [29], писатель и славист М. Валявец (M. Valjavec) [30] и историк литературы Ф. Видиц (F. Vidic) [31].

Словенистические темы в "Архиве" затрагивались не только словенскими исследователями. Так, например, Бодуэн де Куртенэ из пяти опубликованных им в "Архиве" статей три посвятил словенистике [32]. Даже Э. Бернекер (E. Berneker), не столь известный в области изучения южнославянских языков, но несомненно большой ученый, опубликовал одну словенистическую работу на протестантскую тематику [33], что уже само по себе достойно внимания, если вспомнить, что он напечатал в "Архиве" всего лишь три славистические работы, а большая часть других его статей касается балтистики. Статьи по словенистике вышли из-под пера чешского слависта В. Вондрака (V. Vondrák) [34] (две работы о Фрейзингских отрывках), затем Ягича [35], русского филолога и историка В.А. Францева [36], немецких славистов К.-Г. Мейера (K.-G. Meyer) [37], Р. Келера (R. Köhler) [38] и Ф. Лоренца (F. Lorentz) [39], серба Т. Остоича [40], чешского филолога А. Патеры (A. Patera) [41], венгерского слависта О. Ажбота (O. Ásbóth) [42], русского слависта А.А. Кочубинского [43], Й. Шнеца (J. Schnetz) [44] и русского филолога Ф.Е. Корша, который написал две обширные рецензии: на "Poezije" Ф. Прешерна (Любляна, 1902), издана А. Ашкерцем (25, 1903, 637–652), и на словенский перевод "Евгения Онегина" А.С. Пушкина (Любляна, 1909), сделанный И. Приятелем (32, 1911, 587–593). Наряду с этим в трех выпусках "Архива" он опубликовал рецензию на книгу Ф. Миклошича "Die türkischen

¹ Полный перечень статей этого и других авторов (за исключением рецензий, ссылки на которые приведены в тексте), опубликованных в журнале "Архив", помещен в списке литературы под соответствующим номером.

Elemente in den südost-und osteuropäischen Sprachen" (Вена, 1884–1885. Т. I–II) (8, 1885, 637–651; 9, 1886, 487–520; 653–682). Корш был прекрасным знатоком словенской литературы и словенской культурной действительности. Он перевел на русский язык Прешерна и много написал о нем; поддерживал связи с некоторыми видными представителями словенской литературы своего времени. По этим причинам в "Словенском биографическом лексиконе" имеется словарная статья о нем [45].

На страницах "Архива" велась также оживленная научная дискуссия, касавшаяся словенистики и длившаяся добрых восемь лет. И участвовали многие словенские ученые. Речь шла об этимологическом объяснении имени *Klagenfurt-Celovec*. Дискуссию начал Бодуэн де Куртенэ со своим объяснением топонима (26, 1904, 160). Он утверждал, что имя *Celovec* происходит из **Cvilovъсь*, восходящего, в свою очередь, к глаголу *zviliti*, и что это свободный перевод немецкого *Klagenfurt*, который опять под влиянием так называемой народной этимологизации должен представлять немецкий субститут латинского *Claudii forum*.

По поводу этого заявления свои мысли выразил Л. Пинтар (26, 1904, 635–640). Замечания Пинтара, однако, пришлось не по душе ученым из Каринции Я. Шейниггу и П. Лессиаку (27, 1905, 146–154 и 412–425). В свою очередь, их аргументация не убедила Пинтара, поэтому он через несколько лет вновь обратился в "Архив" с соответствующей заметкой [46]. Эту литературную полемику прекратил Ягич как издатель журнала, опубликовав ответ Лессиака [47] без реплики Пинтара с примечанием: "Наш журнал считает дискуссию на этот предмет законченной". Несколько годами позже Лука Пинтар описал для круга словенских читателей полемику, возникшую по данному вопросу в журнале "Ljubljanski zvon" и таким образом еще раз обосновал свое мнение с помощью обильных критических замечаний (см.: [48]).

Среди хорватов доминирующей фигурой является, несомненно, В. Ягич как основатель и издатель "Архива". Сам он напечатал в "Архиве" 137 статей и 244 рецензии. Большинство его статей касается, разумеется, староцерковнославянского языка и общего славянского языкознания. В отношении сербохорватистики интересно констатировать, что Ягич посвящал сербистике не меньшее внимание, чем хорватистике: 17 [49] и 20 [50] статей соответственно. Подобное равновесие устанавливается и для рецензий: 21 хорватская и 20 сербских. Благодаря этому Ягич стал одной из ведущих научных фигур в области не только хорватистики, но и сербистики в европейском контексте.

Кроме того, Ягич опубликовал большое количество некрологов, наибольшее число которых касается словенцев: Г. Крека, (27, 1905, 633–634), Ф. Миклошича (13, 1891). В. Облака (18, 1896, 631–635), Л. Пинтара (36, 1916, 622–624), К. Штрекеля (34, 1913, 317–320), М. Валявца (21, 1899, 311). Хорваты и сербы представлены четырьмя некрологами: на Ф. Рачки (F. Rački, 16, 1894, 320), И. Ткалчица (I. Tkalčić, 27, 1905, 633), М. Шрепела (M. Šrepel, 27, 1905, 632–633); Д. Даничица (6, 1882, 651), М. Миличевича (30, 1909, 319–320), Ст. Новаковича (36, 1916, 604–609), И. Рувараца (27, 1905, 634–635). Один некролог посвящен болгарину Димитрию Матову (19, 1897, 319–320).

Заслуженным образом проявил себя земляк и наследник Ягича на кафедре славянской филологии Венского университета М. Решетар (M. Rešetar). Он написал для "Архива" 29 работ [51] и 38 рецензий. Из хорватов необходимо еще упомянуть учеников Ягича Т. Матица (T. Matić) с шестнадцатью [52], И. Милчетича (I. Milčetić) с семью [53], Т. Маретича (T. Maretić) с шестью [54] и Ф. Фанцева (F. Fancev) с пятью статьями [55].

В "Архиве" сотрудничали, кроме того, следующие хорватские ученые: филолог Й. Аранза (J. Aranza) [56], юрист Б. Богишич (B. Bogišić) [57], историк И. Бойничич (I. Bojnić) [58], известный романист М. Деянович (M. Dejanović) [59], изучавший в Вене славистику у Ягича, ученик Ягича и позднее школьный директор К. Драганич (K. Draganić), который опубликовал в "Архиве" большую работу о жизни и творчестве

поэта Й. Крмпотича (J. Krmpotič) (24, 1902, 409–478). Далее – П. Крекович (P. Kregović) [60], историк искусства И. Кршняви (I. Kršjavi) [61], историк литературы М. Медини (M. Medini) [62], философ и историк Й. Нагы (J. Nagy) [63], М. Перкович (M. Perković) [64], известный литератор граф М. Пуцич (M. Pucić) [65], историк Ф. Рачки [66], нумизмат и гимназический профессор И. Ренгџео (I. Rengjeo) [67], лингвист П. Скок (P. Skok) [68], историк Ф. Шишич (F. Šišić) [69], историк С. Сркуль (S. Srkulj) [70], историк литературы Д. Шурмин (D. Šurmin) [71], студент славистики в Вене, впоследствии директор Университетской библиотеки в Загребе М. Тентор (M. Tentor) [72], историк И. Ткалчич (I. Tkalčić) [73] и германист С. Тропш (S. Tropsch) [74].

Среди сербов заслуженнейшим сотрудником "Архива" Ягича являлся его многолетний идеологический единомышленник С. Новакович, который, хотя и был филологом и историком литературы, сделал карьеру в политике и дипломатии. Он представлен в "Архиве" 30 докладами [75], что составляет почти половину всех работ сербских славистов в журнале. Другие сербские сотрудники "Архива", которых нужно упомянуть, исходя из количества опубликованных ими здесь работ, – это, несомненно, ученик Ягича и позднее профессор славистики Университета в Сараево Т. Остоич [76] с семью докладами, историк А. Ивич также с семью [77], еще один ученик Ягича, впоследствии профессор Белградского университета В. Чорович [78] с семью и историк и архимандрит монастыря Фрушка гора И. Руварац с шестью статьями [79].

Другими сербскими сотрудниками "Архива" были: Х. Барич [80], известный лингвист А. Белич [81], германист М. Чурчин [82], заслуженный исследователь языка Д. Даничич [83], рано умерший славист Д. Джорджевич [84], филолог П. Джорджевич [85], В. Йованович [86], В. Караджич [87], М. Костич [88], И. Павлович [89], П. Попович [90], Й. Радонич [91], М. Симонович [92], С. Станоевич [93], А. Стойичевич [94], Л. Стоянович [95].

Как и в случае словенистики, слависты неславянского происхождения обогатили своими работами сербо-хорватистику. Речь идет большей частью о немецких славистах и ученых, таких как А. Лескин (A. Leskien) [96], В. Вольнер (W. Wollner) [97], А. Серенсен (A. Soerensen) [98], А. Маргулиес (A. Margulíes) [99] и Г. Геземанн (G. Gesemann) [100], Т. Феттер (T. Vetter) [101], К.-Г. Мейер (K.-H. Meyer) [102], В. Мейер-Любке (W. Meyer-Lübke) [103] и Е. фон Добшиц (E. von Dobschütz) [104].

Многочисленны были также словенские ученые, которые занимались темами из области сербохорватистики: Ф. Кидрич [105], Я. Локар [106], Ф. Миклошич [107], В. Облак [108], М. Пайк [109], Л. Пинтар [110], К. Штрекель [111] и М. Валявец [112].

На темы сербского и хорватского языка и литературы писали также: русские ученые Г.А. Ильинский [113], А.А. Кочубинский [114], В.Н. Мочульский [115], И.М. Петровский [116], М.Н. Сперанский [117], Е.Ф. Шмурло [118]; чешские слависты К. Иречек (K. Jireček) [119], Й. Вайс (J. Vajs) [120], Ф. Менчик (F. Menčík) [121], Л. Нидерле (L. Niederle) [122], Ф. Пастрнек (F. Pastřnek) [123], Ф. Снопек (S. Šnopenek) [124], Й. Пата (J. Páta) [125]; украинские слависты Е. Калужняцкий [126], О.С. Маковей [127] и К.Ф. Радченко [128]; поляки Я. Хануш (J. Hanusz) [129], В. Неринг (W. Nehring) [130] и А. Грабиански (A. Grabiński) [131]; венгр О. Ажбот [132]; румын Й. Богдан (J. Bogdan) [133]; швед А. Йенсен (A. Jensen) [134]; австрийский ученый Ф. фон Крелиц (F. von Kraelitz) [135], потом М. Хайнал (M. Hajnal) [136], Г. Кребс (H. Krebs) [137], Й. Миккола (J. Mikkola) [138], С. Пециновски (S. Pecínovský) [139], П. Салис-Сольо (P. Salis-Soglió) [140], К. Салвиони (C. Salvioni) [141], Н. Веес (N. Vees) [142] и В. Феттерлейн (W. Wetterlein) [143].

Положение болгаристики к началу выхода "Архива" существенно отличалось от состояния словенистики, хорватистики и сербистики. Болгарский язык был тогда еще мало известен за пределами Болгарии и плохо изучен. Болгарская наука лишь возникала. Вместе с тем в науке стал проявляться определенный интерес к болгаристике, поскольку существовало мнение, что изучение болгарского и македонского

языков поможет ответить на тогда еще открытый вопрос о происхождении старославянского языка. Кроме того, в Германии интерес к болгарскому языку имел и политическую подоплеку. Молодое болгарское государство в 1887 г. предлужило немецкому принцу Фердинанду фон Саксен-Кобургу болгарский престол. Поэтому в 1905 г. при финансовой поддержке болгарского государства при Лейпцигском университете, тогдашнем центре немецких славистических исследований, был основан Институт болгарского языка.

Интерес к болгаристике отражается и в "Архиве". Однако болгарские темы исследовали неболгарские ученые: А. Лескин [144], В. Ягич [145], К. Иречек [146], В. Облак [147], К.-Г. Мейер [148], Н. ван Вейк (N. van Wijk) [149], А.Н. Веселовский [150], Е. Калужняцкий [151], П.А. Лавров [152], К.Ф. Радченко [153], П. Сырку (P. Syrku) [154], И.И. Срезневский [155], В.Г. Василевский [156], А. Абихт (R. Abicht) [157] и В. Барон фон дер Остен-Сакен (W.V. von der Osten-Sacken) [158].

С болгарской тематикой в "Архиве" выступили только два болгарина: М. Дринов, который опубликовал два коротких сообщения о новоболгарском языке [159], и И. Шишманов с обширной литературной темой [160]. Последнему принадлежит также некролог своему земляку Д. Матову (19, 1897, 319–320). Самым продуктивным болгарским сотрудником "Архива" являлся языковед С. Младенов, опубликовавший три статьи об общем славянском языкознании [161] и с пятью рецензиями. Рецензии писали и четыре других болгарина: уже упоминавшиеся М. Дринов (3) и Д. Матов (1), а также Л. Милетич (3) и М. Иванов (1). Следовательно, вклад болгарских славистов в "Архив" был весьма скромным.

Ягич часто публиковал в "Архиве" дипломные работы и диссертации своих наиболее способных учеников, открывая им тем самым путь к научной карьере. В этом смысле журнал Ягича действовал в качестве своего рода научного фильтра для молодых славистов. Так, Ягич опубликовал диссертации словенцев В. Облака [162], Ф. Рамовша [163] и Р. Нахтигала [164]. Он напечатал как диссертацию [165], так и докторскую работу [166] своего земляка и преемника М. Решетара, что было решающим событием для карьеры последнего. Помимо этого, Ягич опубликовал в "Архиве" диссертации своих сербских учеников Т. Остоича [167], Й. Радонича [168] и С. Станоевича [169]. Ягич напечатал в "Архиве" также диссертацию молодого серба А. Белича [170], который защищался в Лейпциге у Лескина. Для 25-летнего честолюбивого серба эта публикация, несомненно, стала наилучшей "визитной карточкой", которую он мог взять с собой на родину.

Все эти молодые ученые достигли намеченной ими карьеры и стали профессорами славистики в университетах своих стран. Как уже упоминалось, Милан Решетар стал профессором славистики с особым вниманием к сербохорватскому языку и литературе в Венском университете. После Первой мировой войны Решетар переместился в Загребский университет. Т. Остоич стал профессором славистики в Сараевском университете, в то время как А. Белич, В. Чорович, Й. Радонич и С. Станоевич стали профессорами новооснованного университета в Белграде. В основанном после Первой мировой войны в Люблянском университете все славистические кафедры были заняты учениками Ягича, которые были сотрудниками "Архива". Это – Ф. Кидрич (история древних славянских литератур с особым вниманием к словенской литературе), Р. Нахтигал (славянская филология и церковнославянский язык), К. Оштир (сравнительное индоевропейское языкознание), И. Приятель (история славянских литератур) и Ф. Рамовш (словенский язык).

Можно было бы полагать, что они испытывали глубокую благодарность издателю "Архива". Однако это не всегда было так. В 1920 г., когда Ягич уже находился на пенсии, но из-за экономического кризиса в Австрии испытывал финансовые затруднения, встал вопрос об оказании ему финансовой помощи, дав возможность читать лекции в Белградском университете. Однако два профессора университета отклонили это предложение: бывший ученик Ягича С. Станоевич и А. Белич (см.: [171. С. 287]).

"Archiv für slavische Philologie" сыграл важную роль и в том, что касается изучения истории славистики. Рубрика "Materialien zur Geschichte der slavischen Philologie" была введена с целью систематического собирания и публикации корреспонденции разных славистов. В этом решающим было участие южных славян. Большинство опубликованных писем принадлежит словенцу Копитару и сербу В. Караджичу. Сотрудники, поставлявшие эпистолярный материал, были тоже в большинстве своем южные славяне. В рубрике сотрудничали одиннадцать южнославянских славистов (Х. Барич, Д. Джорджевич, А. Ивич, В. Ягич, В.М. Йованович, В.С. Караджич, Ф. Миклошич, С. Новакович, К. Остоич, Л. Пинтар, Д. Шурмин), а также два чешских (Ф. Пастрнек, А. Патера), один русский (В. Францев) и один немецкий (Х. Гримм).

Литературные журналы южных славян с большим интересом и вниманием следили за научной деятельностью "Архива". В них часто сообщалось о статьях, посвященных соответствующим языкам и литературам. Такие сообщения имели объем от половины до десяти страниц. Величина сообщения часто зависела от значения, которое журнал придавал тому или иному предмету. Когда словенский журнал "Ljubljanski zvon" (1884. 4) на с. 184 писал, что Бодуэн де Куртенэ поместил в журнале работу "Der Dialekt von Cirkno (Kirchheim)" и материал при этом частично собран автором, а что-то ему сообщили общинный секретарь Я. Ржен из Циркна, Я. Рейц из Шебреля, Ф. Маврич из Циркна, профессор из Горлицы Ф. Седей, Й. Ереб из Оталеж и другие, то становится ясно, что это сообщение надо было упомянуть из-за известности автора, даже если с содержанием работы трудно было согласиться.

В семнадцатом томе "Архива" (1895) Ягич опубликовал работу "Ein Kapitel aus der Geschichte der südslavischen Sprachen". В ней ученый утверждал, что хорваты и сербы являются двумя племенами одного и того же народа, который был разделен по религиозным и государственным причинам, что хорватский и сербский языки нельзя отделять один от другого, так как между штокавским и чакавским диалектом нет никакой основополагающей разницы, и что прилагательные "хорватский" и "сербский" сначала применялись для обозначения государственной, а не лингвистической принадлежности. "Ljubljanski zvon" посвятил этой работе шесть страниц (S. 578–583), на которых излагалось содержание труда Ягича.

Ватрослав Ягич умер в 1923 г. Издателем "Архива" стал Эрих Бернекер. Он руководил журналом до 1929 г., т.е. до конца его существования. "Архив" под руководством Бернекера значительно изменился. Исчезли работы словенских, хорватских и сербских сотрудников. Из южных славян четырьмя рецензиями были представлены только болгары. Сербохорватскими темами занимались лишь Г. Геземанн и частично А. Маргулиес и К.-Г. Мейер. Словенской тематики почти не осталось (только два сообщения: К.-Г. Мейера и Й. Шнеца). Заметным стало присутствие балтийских ученых и балтистических тем. Родившийся в Кёнигсберге издатель, который к тому же был балтистом, очевидно, мало интересовался южнославянской тематикой.

Обобщая, можно констатировать, что в статьях, сообщениях и рецензиях "Архива" были исследованы практически все аспекты лингвистической и литературоведческой проблематики словенистики, хорватистики, сербистики и частично болгаристики. В результате был создан достаточно точный и прежде всего научный адекватный образ состояния и уровня изучения этих дисциплин вышеназванными южнославянскими исследователями в европейском масштабе в то время, т.е. в последней четверти XIX – первой четверти XX в.

В период выхода в свет "Архива" славистика получила институциональное оформление почти по всей Европе. Основной интерес, разумеется, уделялся русским, полякам, чехам. В учебных заведениях к словенистике и сербохорватистике проявлялось меньше интереса. Однако словенские, хорватские и сербские работы в "Архиве" компенсировали этот недостаток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *H. Pohrt*. Die Anfänge der Zeitschrift "Archiv für slavische Philologie" 1875–1880 // *Práce z dějin slavistiky*, I, Praha, S. 61–68; *C. Grau, V. Jagić, R. Köhler*. Zur Frühgeschichte des Archivs für slavische Philologie // "Wissenschaftliche Zeitschrift für Humboldt-Universität Berlin" Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 17 (1968), S. 229–233; *H.W. Schaller*. Zur Vorgeschichte des "Archivs für slavische Philologie" // "Die Welt der Slaven", 28 (1983), S. 78–87.
2. *K. Günther*. Archiv für slavische Philologie. Gesamtinhaltsverzeichnis (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik. Sonderreihe Bibliographie). Berlin, 1962.
3. Ein Beitrag zum slavischen Imperativ (10, 1887, 143–151); Das altslovenische Imperfekt – "pесаачъ" (10, 1887, 354–355); Zur Geschichte der nominalen Deklination im Slovenischen (11, 1888, 395–423; 523–561; 12, 1890, 1–47, 358–450; 13, 1891, 25–68); Slovenica (12, 1888, 499–525); Ein altes Zeugnis über "Koleda" bei den Slovenen (13, 1888, 153–156); Ein Beitrag zum Folksglauben der Slovenen aus dem XVI. Jahrhundert (13, 1888, 157); Die kirchenslavische Übersetzung der Apokalypse (13, 1888, 321–361); Einige Neubildungen der Conjugation (13, 1888, 471–475); Das älteste datierte slovenische Sprachdenkmal (14, 1892, 192–235); Zwei slovenische Schwurformel aus dem XVII. Jahrhundert (14, 1892, 477); Zur Würdigung des Altslovenischen (15, 1893, 338–370); Bibliographische Seltenheiten und ältere Texte bei den slovenischen Protestanten Kärntens (15, 1893, 459–468); Dativ und Lokativ Singular "njej – nji" (15, 1893, 468–470); Ein verschollenes Gedicht P. Hektorovič's (15, 1893, 475–477); Zwei vlacho-bulgarische Märchen aus Macedonien (15, 1893, 477–478); Die Halbvocale und ihre Schicksale in den südslavischen Sprachen (16, 1894, 153–197); Zum silbenbildenden $\bar{\imath}$ im Slavischen (16, 1894, 198–209); Der Dialekt von Lastovo (16, 1894, 426–450); Der bulgarische Imperativ "vizd" (16, 1894, 610–611); Einige Kapitel aus der bulgarischen Grammatik (17, 1895, 129–185; 430–477); Zur Provenienz der Kijever und Prager Fragmente (18, 1896, 106–112); Eine Bemerkung zur ältesten südslavischen Geschichte (18, 1896, 228–234); Zur Verbreitung des Kirchenslavischen im mittleren Dalmatien am Ausgange des XVII. Jahrhunderts (18, 1896, 315–317); Ein altes kroatisches Vocabularium (18, 1896, 317–318); Kleine grammatische Beiträge (19, 1897, 321–338); Ein Beitrag zur Katharina-Legende in der älteren kroatischen Literatur (20, 1898, 153–160); Eine Notiz zur kroatischen Glagolica (22, 1900, 617–618).
4. Brief von Niebuhr an Kopitar (1, 1876, 152–153); Briefe Dobrovsky's an Kopitar (4, 1880, 516–527; 664–670; 5, 1881, 303–319); Briefwechsel zwischen Dobrovský und Kopitar (6, 1882, 431–471; 633–650; 7, 1884, 683–726); Über die altrussischen Kolbjäger (10, 1887, 1–7); Über Fremdwörter (11, 1888, 105–111); Ein neuer Beleg für den altserbischen Ausdruck сербъ (11, 1888, 633); Eine Sprachprobe des kroatischen Dialektes von Neuprerau bei Nikolsburg (12, 1890, 317–319).
5. Vorbilder der petrinenischen Reform der cyrillischen Schrift (12, 1890, 639–640); Ethnographisches (12, 1890, 640); Eine russische Stimme über die neueste ethnographische Karte der Slaven (13, 1891, 616–622); Zur Erklärung einiger grammatischer Formen im Neuslovenischen (14, 1892, 89–115); Eine "Geschichte" von Böhmen in russischer Sprache (14, 1892, 158–159); Ein Beitrag zur Kenntnis böhmischer Heiliger bei den Russen (14, 1892, 159–160); Die russische Übersetzung des Apollonius von Tyrus und der Gesta Romanorum (14, 1892, 405–421); Die Literatur zum hundertjährigen Jubiläum P.J. Šafarik's (18, 1896, 557–584).
6. Zwei Briefe Dobrovsky's an Kopitar (22, 1900, 623–630); Inedita zum Briefwechsel Kopitars (23, 1901, 315–320; 635–637); Ein Brief Primitz's an Vodnik (23, 1901, 637–638); Kelneraj (26, 1904, 318–320); Celovec = Klagenfurt. Ein neuer Erklärungsversuch (26, 1904, 635–640); Zur Etymologie von "prešustvo" (27, 1905, 314–320); Коупотръ "Compter" (30, 1909, 310–312); Ein Brief Kopitars an Metelko (30, 1909, 468–470); Was bedeutet "kužan" als Partizip? (31, 1910, 315–316); Nochmals "Klagenfurt – Celovec" (31, 1910, 382–393); Das Suffix "-išce" im Neuslovenischen (32, 1911, 131–139); Einige Bemerkungen und Berichtigungen (32, 1911, 307–309); Die Absendung des Codex Suprasliensis aus Laibach nach Wien im Jahre 1850 (32, 1911, 622–625); Einige Korrigena zu Šafarik's "Památky hlalohského písemnictví" (32, 1911, 625–626); Most (ein Orstname) (33, 1912, 608–609); An Kopitar einige Anfragen Vodniks, wahrscheinlich als frieliche Mitteilung gedacht (33, 1912, 618); Zur Etymologie von "kracum" (33, 1912, 618–622); Beiträge zur Geschichte der slavischen Philologie (34, 1913, 304–310); Šeškatica und die Synonyma (34, 1913, 622–623); Ersatz des $\bar{\imath}$ durch $\bar{\imath}$ im Slovenischen (34, 1913, 625–626); Zur Reduplizierung der Präposition "sъ" (35, 1914, 608–610); Zur slovenischen Ortsnamenkunde (35, 1914, 610–611; 36, 1916, 587–588); Glâmoc (35, 1914, 623–624); Žetarka (36, 1916, 586–587); Srijane in Poljica (36, 1916, 591).

7. Zur Alexiuslegende. Zwei slovenische Volkslieder (10, 1887, 347–347); Etymologische Miscellen (11, 1888, 460–467); Weitere Beiträge zur Kunde über das slovenische Alexiuslied (11, 1888, 597–606); Zum Volksglauben, dass die Erde auf einem Fisch fune (12, 1890, 310–312); Beiträge zur slavischen Fremdwörterkunde (12, 1890, 451–474; 14, 1892, 512–555); Ein spätglagolitisches Predigtfragment (13, 1891, 475–478); Koždъ (13, 1891, 480); Zur Kenntnis der slavischen Elemente im friaulischen Wortschatze (12, 1892, 474–486); Zur Literatur über die Koleda bei den Slovenen (17, 1895, 630–633); Die Ursache des Schwundes des Prädikativen Instrumentals im Slovenischen und Sorbischen (25, 1903, 564–569); Helmold's Zcerneboch im angelsächsischen Olymp (26, 1904, 320); Zur Kenntnis der slavischen Elemente im italienischen Wortschatze (26, 1904, 407–436); Der Ursprung des ž-Lautes in einigen Kasusformen des altkirchenslavischen Komparativs und ѣs-Partizips (26, 1904, 569–570); Slavische Wortdeutungen (27, 1905, 41–72); Vermischte Beiträge zum slavischen etymologischen Wörterbuch (28, 1906, 481–539); Slovenisch "kalcmar" (30, 1909, 472–473).
8. Die Betonungstypen des slavischen Verbums (32, 1911, 399–454).
9. Zur slovenischen Dialektforschung (35, 1914, 329–337).
10. Zum Accente im Gailthaler Dialekte (27, 1905, 195–228).
11. Slovenica (21, 1899, 199–212; 22, 1900, 487, 510; 26, 1904, 521–543).
12. Die slavische Liturgie in Polen (28, 1906, 614–623); Dr. Balthasar Bogišić in der k.k. Hofbibliothek zu Wien (31, 1910, 305–312); Slovenische Protestanten aus dem Gailtale in der Lausitz (37, 1920, 541–542).
13. Slovenisch "kalcmar" (30, 1909, 472–473); Polnisch "sakulecki (sakulentski)" (33, 1912, 317); Reduplizierung der Präposition "съ" in slovenischen Mundarten (33, 1912, 318); Slavische Lehnwörter im Friaulischen (34, 1913, 292–298); Kleine Beiträge zur slavischen Wortkunde (37, 1920, 394–404).
14. Beitrag zur Biographie des Giovanni Francesco di Gondola (34, 1913, 239–245).
15. Beiträge zur slavischen Mythologie: 1) Veles, Volos und Blasius (1, 1876, 134–151).
16. Noch einmal "Klagenfurt – Celovec" (27, 1905, 412–424); Zum sechsten Male "Klagenfurt – Celovec" (32, 1911, 183–189).
17. Ein Beitrag zu Andric's Quellen alter kroatischer Dramen (26, 1904, 634–635).
18. Zur Präsensfrage perfektiver Verba im Slovenischen (28, 1906, 40–51).
19. Glagolitica: 1) Das Laibacher Homiliar (7, 1884, 643–644).
20. Zum Gebrauche des Präsens verbi im Slavischen (24, 1902, 379–514); Zur Etymologie von asl. "ašte" (29, 1907, 625).
21. Ein Beitrag zu den Forschungen über die sogenannte "Бесѣда трехъ святителей" (23, 1901, 1–95; 24, 1902, 321–408).
22. Гълнати (35, 1914, 126–130); Slavische Wortdeutungen (36, 1916, 441–445).
23. Ein serbokroatisches Wörterverzeichnis aus dem Ende des XV. Jahrhunderts (21, 1899, 639–640).
24. Beiträge zur Etymologie slovenischer Wörter und zur slovenischen Fremdwörterkunde (34, 1913, 17–60).
25. Loza, cokot, trs (1, 1876, 620–621); Altslovenisch "ješce" (3, 1879, 720–721).
26. Sprachliche Miscellen aus dem Slovenischen (36, 1916, 445–460); Slovenische Studien: Einleitung; 1) Die moderne Vokalreduktion (37, 1920, 123–174; 289–330).
27. Nochmals "Klagenfurt – Celovec" (27, 1905, 146–154).
28. Über einige schwierige Fragen der slovenischen Laut- und Formenlehre (14, 1892, 321–347).
29. Eine glagolitische Inschrift (29, 1907, 623); Etymologische Erklärungsversuche (30, 1909, 293–307).
30. Zur Betonung im Slovenischen. Etymologisches (5, 1881, 157–164); Mitteilungen aus dem kroatischen kaj-Dialekte (8, 1885, 399–409).
31. Valentin Vodnik der erste slovenische Dichter (23, 1901, 386–461).
32. Der Dialekt von Cirkno (Kirchheim, Grafschaft Görz) (7, 1884, 575–590); Sprachproben des Dialektes von Cirkno (Kirchheim) (8, 1885, 103–119; 274–290; 432–462); Celovec = Klagenfurt (26, 1904, 160).
33. "Ein Katechismus Primus Truber's vom Jahre 1567" (24, 1902, 155–172).
34. Althochdeutsche Beichtformeln im Altkirchenslavischen und in den Freisinger Denkmälern (16, 1894, 118–132); Zur Frage nach dem Verhältnisse des Freisinger Denkmals zu einer Homilie von Klemens (28, 1906, 256–260).

35. Miklosich's Briefe an V. Jagic (14, 1892, 300–320; 452–462); Ein dritter Brief Michael Bobrowski's an Barth. Kopitar (11, 1888, 313–315); Erster und zweiter (letzter) Ausweis der Beiträge für die Errichtung eines Denkmals auf dem Grabe Dr. V. Oblak's (19, 320, 643–644); Hat Bischof Klemens für eine seiner Homilien den Text des Freisinger Denkmals vor Augen gehabt? (27, 1905, 384–412).
36. Zwei Briefe Kopitar's an Maciejowski (22, 1900, 631–633); Ein Brief Kopitar's an A.S. Šiškov (23, 1901, 639).
37. Die slovenischen protestantischen Drucke bei den Lausitzer Wenden (39, 1925, 93–103).
38. Komaj "fast" (9, 1886, 150–151).
39. Slovenisch-bim (27, 1905, 465–467).
40. Rang- und Gehaltsbestimmung für Kopitar als Censor (31, 1910, 316–317); Der Zensor Kopitar und die griechische Zeitung (31, 1910, 409–413); Zwei Briefe an Kopitar und vier Briefe an Th. Pavlovic (35, 1914, 617–620).
41. Briefe Kopitar's an Dobrovsky (4, 1880, 670–693; 5, 1881, 275–303).
42. Ung.-slovenisch "vucké" "Wölfe" (33, 1912, 321–338).
43. Miklosich und Šafarik (25, 1903, 621–627).
44. Zur Entwicklung der Gruppe -sk- vor Palatalen im älteren Slovenischen (39, 1925, 153–184).
45. Slovenskij biografski leksikon I, Ljubljana, 1932, c. 520–521.
46. «Nochmals "Klagenfurt – Celovec"» (31, 1910, 382–393).
47. Zum sechsten male "Klagenfurt – Celovec" (32, 1911, 183–189).
48. L. Pintar. O krajnih imenih // "Ljubljanski zvon" (34, 1914, 374–377; 459–465; 563–571; 35, 1915, 24–31; 66–72; 131–135; 211–216; 319–324).
49. Eine serbische Kuhhautsage (1, 1876, 153–154); Condemnatio Uvae, ein serb.-sloven. Text verglichen mit der griechischen Originalerzählung (1, 1876, 611–617); Ein Beitrag zur serbischen Annalistik mit literaturgeschichtlicher Einleitung (2, 1877, 1–109); Zur Chronologie der serbischen Könige (3, 1879, 220–221); Kraljevic Marko, kurz skizziert nach der serbischen Volksdichtung (5, 1881, 439–455); Das altslovenische Evangelistarium Pop Sava's (5, 1881, 580–612); Die Alexius-Legende als serbisches Volkslied (9, 1886, 523–526); Ein geschichtliches Zeugnis über serbische "Koleda" (10, 1887, 352); Ein Rhapsode unserer Tage (10, 1887, 352–354); Zum Klagegesange der Asanaginica (10, 1887, 659–660); Neue Erscheinungen im serbischen Auslaut (13, 1891, 627–631); Aus dem Leben der serbischen Volksepik (13, 1891, 631–636); P.J. Šafarik's Briefe nach Karlowitz an den Metropolitan Stankovic und den Patriarchen Rajacic (15, 1893, 628–635); 16, 1894, 617–632); Kritische Nachlese zum Texte der altserbischen Vita Symeonis (Stefan Nemanja's), geschrieben von seinem Sohne, dem erstgekrönten König Stefan (24, 1902, 556–567); Ein Nachtrag zum "ersten Cetinjer Kirchendruck von Jahre 1494" (25, 1903, 628–637); Ist ὄΥάά bei Dioskorides mit serb. "zóva" zu vergleichen? (31, 1910, 627).
50. Zwei bibliographische Seltenheiten (2, 1877, 720–726); Das Datum des Statutes von Vinodol (4, 1880, 78–86); Zur Biographie G. Križanic's (6, 1882, 119–120); Weiterer Beitrag zur Feststellung der Grenzen des dalmatinisch-kroatischen Glagolismus im XV–XVII. Jahrhundert (6, 1882, 615–617); Drei Berichtigungen (11, 1888, 304–305); Der grüne Georg (12, 1890, 306–307); Ein bibliographischer Fund und eine Bitte (18, 1896, 318–320); Bruchstück eines glagolitischen Messbuches (22, 1900, 525–542); Rumänisch-kroatisches Vaterunser und Avemaria aus Poljica auf der Insel Veglia vor dem Jahre 1825 (22, 1900, 621–622); Ein Prediger aus dem Ende des XVII. Jahrhunderts in Agram (26, 1904, 578–597); Briefwechsel zwischen P. Preradovic und V. Jagic (26, 1904, 608–626); Der kluge Knabe. Ein kroatisches Märchen aus dem Kreis "Die kluge Dime" (27, 1905, 611–629); Eine kroatische Privaturkunde (Pfandbrief) vom Jahre 1663 (29, 1908, 625–626); Erinnerungsblätter an Ivan Bercic und Dragutin Paric (31, 1910, 288–300); Nochmals Juraj Habelic und seine literarische Tätigkeit im XVII. Jahrhundert (31, 1910, 529–553); Kroatische Reimversuche aus dem Jahre 1386 (32, 1911, 628); Die Vorrede zum Statut von Trsat (Tersatto) (32, 1911, 615–620); Tomko Marnavic als Fälscher des angeblich im Jahre 1222 geschriebenen glagolitischen Psalters (33, 1912, 111–134); Eine kroatische Marienlegende (33, 1912, 623); Zum Visio Tundali (altkroatisches) Übersetzungsfragment (35, 1914, 501–513).
51. Zur Erklärung des Gorski Vijenac (11, 1888, 289–297); Die cakavština und deren einstige und jetzige Grenzen (13, 1891, 93–109; 161–198; 361–388); Zur Aussprache und Schreibung des ѣ im Serbo-kroatischen (13, 1819, 591–597); Zur Text von Palmotic's Dramen (15, 1893, 381–388); Die ragusani-schen Urkunden des XIII–XV. Jahrhunderts (16, 1894, 321–336; 17, 1895, 1–47); Alter steigender

- Accent im Serbischen (17, 1895, 192–198); Vuk's Übersetzung des Neuen Testaments (17, 1895, 626–629); Neuere Ansichten über das Wesen und die Entwicklung der serbokroatischen Accentuation (19, 1897, 564–581); Das ragusanische Liederbuch aus dem Jahre 1507 (22, 1900, 215–230); Eine unbekannte Ausgabe von Marulic's "De institutione benevivendi" (22, 1900, 233–236); Der Hochzeitsschwank im ragusanischen Liederbuch von Jahre 1507 (22, 1900, 613–617); Ein Sendschreiben Vetranic's an Hektorovic (23, 1901, 206–215); Ein verloren gegangenes Gedicht und der Beiname des Ivan Gundulic (23, 1901, 634–635); Ein serbokroatisches Wörterverzeichnis aus der Mitte des XV. Jahrhunderts (26, 1904, 358–366); Zum Umlaut $\underline{e} : \underline{h}$ (26, 1904, 571–574); Eine albosnische slavisch-griechische Inschrift (27, 1905, 258–264); Serbokroat. *kaloš* "(rothe) Tulpe" (27, 1905, 608–609); Serbokr. *zâr, num, forsan* (27, 1905, 609); Zur serbokroatisch-protestantischen Literatur des XVI. Jahrhunderts (28, 1906, 468–472); Wer war Gundulic's Mutter? (31, 1910, 478); Was bedeutet "hasasi" bei M. Držić? (31, 1910, 478–479); Die dalmatinischen Glagoliten im XVII. Jahrhundert (32, 1911, 468–474); Eine Spur von A. Cubranovic (33, 1912, 318–319); Micaglia und sein Wörterbuch (33, 1912, 318–319); Zur Übersetzungstätigkeit Methods (34, 1913, 234–239); Zur Bezeichnung der serbokroatischen Betonung (35, 1914, 60–62); Zum ältesten slavischen Alphabet (35, 1914, 62–67).
52. Zoranic's Planine und Sannazaro's Arcadia (19, 1897, 466–498); Ein kroatisches Gedicht zu Ehren Napoleons I. (23, 1901, 302–304); Die Widmung eines Gedichtes Vetranic' (26, 1904, 262–266); Ein Gedicht Kacic' als Volkslied in Slavonien (26, 1904, 267–274); Prosper Mérimée's Mystification kroatischer Volkslieder (28, 1906, 321–350; 29, 1907, 49–96); Ein Bruchstück von Molières George Dandin in der Übersetzung F.K. Frankopans (29, 1907, 529–549); Reduplizierung der Präposition "съ" in Osijek (Slavonien) (31, 1910, 477); Neue Beiträge über M.A. Relkovic (32, 1911, 159–170); Der kroatische Schriftsteller M.A. Kuhacevic und der Aufstand von Brine (35, 1914, 73–130); Relkovic's Satir in Ragusa (35, 1914, 437–443); Urkundliches über einige kroatische Schriftsteller (35, 1914, 443–452); Josip S. Relkovic' Bemühungen um die Hebung des Schulunterrichtes in seiner Heimat. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Slavoniens (36, 1916, 165–177); Zoranic's Vorfahren (36, 1914, 177–181); Zur Entstehungsgeschichte von Relkovic's Satir (36, 1916, 476–482); Ein Gundulic im Dienste des preussischen Königs Friedrich Wilhelm I. (36, 1916, 588–589); V. Došen, insbesondere seine Jeka und der Streit um Relkovic' Satir (37, 1920, 55–81).
53. Ein Beitrag zur kroatisch-glagolitischen Bibliographie (8, 1885, 247–256); Ein glagolitisch-kroatisches Gedicht (10, 1887, 484–495); Das silbenbildende und silbenschiessende \lrcorner im kroatischen ca-Dialekte (11, 1888, 363–367); Über den kroatischen und böhmischen Lucidarius (19, 1897, 556–563); Bemerkungen zu Oblak's "Mazedonischen Studien" (20, 1898, 578–604); Über die Sprache und die Herkunft der sogenannten Krašovaner in Süd-Ungarn (25, 1903, 161–181); Zur Entdeckung des "Glagolita Clozianus" (35, 1914, 603–606).
54. Zum Märchen "Die Schildkröte und der undankbare Sohn" (6, 1882, 427); Der kroatische Text eines Mirakels, als Quelle der Volkserzählungen (6, 1882, 428–431); Zur Autoschaft einiger Dichtungen der älteren kroatischen Literatur (7, 1884, 405–418); Zu den Götternamen der baltischen Slaven (10, 1887, 133–142); Die typischen Zahlen in der russischen Volksepik (25, 1903, 452–462); Die Bedeutungen des slavischen Adjektivums "инъ" (26, 1904, 471–472).
55. Beiträge zur serbokroatischen Dialektologie (29, 1907, 305–389); Beiträge zur historischen serbokroatischen Dialektologie (31, 1910, 367–381; 32, 1911, 49–92; 344–362; 33, 1912, 20–51); Ein Beitrag zur Geschichte des Schrifttums in Kroatien (35, 1914, 379–413).
56. Was bedeutet "jarula" bei Barakovic? (14, 1892, 77–78); Woher die südslavischen Kolonien in Süditalien? (14, 1892, 78–82); Was bedeutet $\kappa\alpha\iota\kappa\omicron\delta\iota\alpha\kappa\omicron\nu\sigma$? (22, 1900, 617).
57. Stanak-Stanicum-nach dem Rechtsstatute der Republik Ragusa vom Jahre 1272 (2, 1877, 570–593).
58. Weiteres über das alte Wappen Bosniens (4, 1880, 497–498).
59. Die Übersetzungen des Anton Gledevic (36, 1916, 378–413).
60. Zur Autorschaft einiger, im II. Bande der "Stari pisci hrvatski" gedruckten Gedichte (15, 1893, 388–394).
61. Gegenbemerkungen zur kritischen Anzeige der kroatischen Dante-Übersetzungen (34, 1913, 618–620).
62. Vetranic's Pelegrin. Ein allegorisches Epos der ragusäischen Literatur des XVI. Jahrhunderts (17, 1895, 505–544); Cubranovic und seine Beziehungen zu der einheimischen und der italienischen Literatur (22, 1900, 69–106).
63. Marko Bruère Desrivaux als ragusanischer Dichter (28, 1906, 52–76); Eine Reminiszenz an den Dichter Kazali (37, 1920, 287–288).

64. Dantes "La divina commedia" in der kroatischen Übersetzung von Bischof Uccellini (33, 1912, 540–546).
65. Zur südslavischen Heraldik (4, 1880, 339–342).
67. Über das alte Wappen Bosniens (4, 1880, 342–349; 500–512).
67. Reduplizierung der Präposition "съ" im slawonischen Donautale (32, 1911, 620–621); Anwendung des Instrumentals der Adjektiva, Pronomina und Numeralia für Dativ und Locativ Singular in Syrmien (32, 1911, 622).
68. Einige serbokroatische Lehnwörter (28, 1906, 467–468; 29, 1907, 477–480; 30, 1909, 307–310; 31, 1910, 318–320; 473–476); Mundartliches aus Žumberak (32, 1911, 363–383; 33, 1912, 338–375); Einige Worterklärungen (35, 1914, 337–348; 37, 1920, 81–82).
69. Вместе с Ягичем он написал некролог Стояна Новаковича (36, 1916, 604–609).
70. Drei Fragen aus der Taufe des heiligen Vladimir (29, 1907, 246–281).
71. Drei Briefe zur Geschichte der slavischen Philologie (26, 1904, 156–159); Beiträge zur Geschichte der slavischen Philologie: Briefe Vuk S. Karadžić' an Ign. Al. Brlic und Andr. T. Brlic (27, 1905, 304–313); Zur Bibliographie der kroatisch-kajkavischen Literatur (36, 1914, 606–608).
72. Der cakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso) (30, 1909, 146–204).
73. Die nördlichen Grenzen des dalmatinisch-kroatischen Glagolismus im XV. bis XVII. Jahrhundert (4, 1880, 433–441).
74. Wer ist der Übersetzer der "Neunzehn serbischen Lieder" in Försters Sängerehre? (28, 1906, 584–593); Eine Anastasius Grün irrthümlich zugeschriebene Übersetzung zweier kroatisch-serbischer Volkslieder (34, 1913, 540–544).
75. Über Legjan-grad (Ledjan-Stadt) der serbischen Volkspoese (3, 1879, 124–130); Die serbischen Volkslieder über die Kosovo-Schlacht (1398) (3, 1879, 413–462); Грамско сребро – glamsko srebro (3, 1879, 523); Ein Beitrag zur Literatur der serbischen Volkspoese (3, 1879, 640–653); Ein serbisches Volkslied über den Abgang des heiligen Sabbas zu den Mönchen (4, 1880, 317–323); Zwei veraltete Sprachformen im Serbischen (4, 1880, 515); Die Ausdrücke себръ, поч'тень und мѣроп'шина in der altserbischen Übersetzung des Syntagma von M. Blastares (9, 1886, 521–523); Über die Entstehung mancher Volkslieder (9, 1886, 593–604); Лонда (Лон а) (9, 1886, 691–693); Was bedeutet "станьникъ" in dem Gesetzbuche Dušans? (10, 1887, 570–580); Die Oedipus-Sage in der südslavischen Volksdichtung (11, 1888, 321–326); Ein Beitrag zur Kunde der mazedonischen Dialecte (12, 1890, 78–94; 14, 1892, 360–375); Zu den Gebräuchen um das Georgi-Fest (12, 1890, 303–306); Beiträge zur Erforschung der macedonischen Dialecte (15, 1893, 37–46); Гица-Гига (20, 1898, 61–63); Villes et cités du moyen âge dans l'Europe Occidentale et dans la Péninsule Balcanique (25, 1903, 321–340); Le prix normal du blé à Constantinople pendant la moyen âge et le Code de Stéphan Dušan empereur des Serbes (27, 1905, 173–174); Гоок и сокальник de la Serbie du moyen âge (27, 1905, 175–181); Ein Brief V. Oblak's an St. Novakovic (27, 1905, 477–480); цувендија (27, 1905, 480); Poša janicarska (28, 1906, 158–159); Параспор-Параспора (28, 1906, 463–464); Dèbrc et Kocèleva en Serbie, au sud de la Save (28, 1906, 464–467); Сулундър-σουλυνδάρου (29, 1907, 622); Еўра-сирма-срма (31, 1910, 476–477); La Serbie régnante et ses historiens (32, 1911, 189–227); Цегарь-цънгарь-тѣахѣарь; тѣагаа-mestve (32, 1911, 383–388); Рыпиния-арепennis-argent (33, 1912, 134–136); Les problèmes serbes (33, 1912, 438–466; 34, 1913, 203–233); Eine wissenschaftliche Frage V. Oblaks, brieflich gestellt an Stojan Novakovic (35, 1914, 622); Моговари и Каталани (35, 1914, 624–625).
76. Eine serbische Geheimschrift (14, 1892, 478–479); Ein mittelalterliches moralisches Rezept (22, 1900, 618); Dositheus Obradovic's Klosterjahre (39, 1909, 89–133; 365–391); Zaharija Orfelin als Philolog (30, 1909, 448–452); Rang- und Gehaltsbestimmung für Kopitar als Censor (31, 1910, 316–317); Der Zensor Kopitar und die griechische Zeitung (31, 1910, 409–413).
77. Wann wurden die Reliquien des serbischen heiligen Sava verbrannt? (28, 1906, 90–93); Urkundliche Beiträge zur Biographie des Dichters Relkovic (28, 1906, 305–314); Ein Brief Palacky's (28, 1906, 628–629); Beiträge zur Kulturgeschichte des serbischen Volkes. I. Serbische Schulen 1768–1778 (29, 1907, 390–410; 511–516); Neue cyrillische Urkunden aus den Wiener Archiven (30, 1909, 205–214); Ansiedlung der Bulgaren in Ungarn (31, 1910, 414–430); Aus den Agramer Archiven (37, 1920, 421–460).
78. Serbische Volkslieder über den Abgang des heiligen Sava zu den Mönchen (28, 1906, 629–633); Der Dialekt von Mostar (29, 1907, 497–510); Ein Beitrag zur Biographie Arsenius'IV. Jovanovic (29, 1907, 624–625); Eine Prophezeiung über den Untergang des türkischen Reiches aus dem XVIII. Jahrhundert (30, 1909, 312–313); Ein kirchenslavisches Rituale moldavisch-südrussischer Provenienz in der Münchener Hofbibliothek (30, 1909, 464–467); Ein Aufruf O. Franjo Jukics zur Gründung einer bosnischen literarischen Vereinigung (32, 1911, 314–316); Bibliographische Notizen zu Petar Petretic, Ivan Ivaniševic und Jeronim Kavanin (35, 1914, 614–615).

79. Nochmals Mehmed Sokolovic und die serbischen Patriarchen (10, 1887, 43–53); Pop Nikodim, der erste Klöstergründer in der Walachei, † 1406 (11, 1888, 354–363); Kleinigkeiten zur Geschichte der Balkanhalbinsel (17, 1895, 564–571); Ein Dokument des bulgarischen Historikers Paysius aus dem Jahre 1761 (22, 1900, 620–621); Zur altserbischen Bibliographie (23, 1901, 303–315); Jovan Maleševac als Bücherschreiber und Bücherkorrektor (25, 1903, 465–467).
80. Ein Brief Šafaríks an Appendini (31, 1910, 312–313).
81. Zur Entwicklungsgeschichte der slavischen Deminutiv- und Amplificativsuffixe (23, 1901, 134–206; 26, 1904, 321–357).
82. Kotzebue im Serkroatischen (30, 1909, 533–555).
83. Der undankbare Sohn und Die Kröte (3, 1879, 215–219).
84. Zwei Briefe A. Schleicher's an D. Danicic (22, 1900, 634–636).
85. Einiges über die Kanomundart im Königreich Serbien (16, 1894, 132–139).
86. Deux traductions inédites d'Albert Fortis (30, 1909, 586–596); Ein Brief P.I. Šafaríks an John Bowring (33, 1912, 615–617).
87. Materialien zur Geschichte der slavischen Philologie: Briefe an Jacob Grimm (2, 1877, 726–743).
88. Zacharias Orfelins Kalligraphie (36, 1916, 155–165).
89. Zur serbischen Epigraphik (3, 1879, 524; 719–720); Der Name "Heinrich" in der mittelalterlichen serbischen Sprache (3, 1879, 718–719).
90. Petar II Petrovic Njegoš in Wien in den Jahren 1836–1837 (32, 1911, 170–183); Grigorije Trljajic et Salomon Gessner (36, 1916, 182–185); Études sur Joachim Vujic (36, 1916, 185–198).
91. Der Grossvojvode von Bosnien Sandali Hranic-Kosaca (19, 1897, 380–465).
92. Beiträge zu einer Untersuchung über einige der deutschen und serbischen Heldendichtung gemeinsame Motive (36, 1916, 49–110).
93. Die Biographie Stephan Lazarevic's von Konstantin dem Philosophen als Geschichtsquelle (18, 1896, 409–472); Zur Bibliographie apokrypher Gebete (21, 1899, 638–639).
94. Die slovenischen und serbokroatischen Wörter sánjäm-sámànj-sámänj-somönj-samânj (34, 1913, 113–124).
95. Über einen cyrillischen Apostolus serbischer Redaktion mit glagolitischen Marginalglossen (22, 1900, 510–525); Zur Entstehung der serbischen Annalistik (23, 1901, 630–634); Dialektologische Miscellen aus Serbien, aus der Gegend von Vmci im Kruševacer Kreise (25, 1903, 212–218).
96. Eine altkroatische Legende vom heiligen Domnius (4, 1880, 427–433); Über den Dialekt der "Narodne pripovietke iz hrvatskoga primorja" gesammelt von Fr. Mikukicic (Kraljevica 1876) (5, 1881, 181–188); Volkslieder u.a. von der Insel Curzola (5, 1881, 456–464); Zu Mencetic (21, 1899, 637–638); Die Entwicklung serbischer Sätze mit "te" von Parataxis zu Syntaxis (22, 1900, 1–5).
97. Untersuchungen über den Versbau des südslavischen Volksliedes (9, 1886, 177–281).
98. Beitrag zur Geschichte der Entwicklung der serbischen Heldendichtung (14, 1892, 556–587; 15, 1893, 1–36; 204–245; 16, 1894, 66–118; 17, 1895, 198–253; 19, 1897, 89–131; 20, 1898, 78–114).
99. Historische Grundlagen der südslavischen Sprachgliederung (40, 1926, 197–222).
100. Die Asanaginica im Kreise ihrer Varianten (38, 1923, 1–44); Volkslieder von der Insel Curzola (42, 1929, 8–31).
101. Bibliographisches aus Paris: 1. Eine Handschrift des Osman von J. Gundulic; 2. Das Volkslied über Miloš Kobilic und Vuk Brankovic (6, 1882, 121–126).
102. Beiträge zum Cakavischen (40, 1926, 222–265).
103. Montenegr. kolomboc "Mais" (36, 1916, 591–592).
104. Ein Schreiben des Patriarchen Gennadios Scholarios an den Fürsten Georg von Serbien (27, 1905, 246–257).
105. Dr. Balthasar Bogišic in der k.k. Hofbibliothek zu Wien (31, 1910, 305–312).
106. Ein Beitrag zu Andri's Quellen alter kroatischer Dramen (26, 1904, 634–635).
107. Ein neuer Beleg für den altserbischen Ausdruck себрь (11, 1888, 633); Eine Sprachprobe des kroatischen Dialektes von Neupregau bei Nikosburg (12, 1890, 317–319).
108. Ein verschollenes Gedicht P. Hektorovic's (15, 1893, 475–477); Ein altes kroatisches Vokabularium (18, 1896, 317–318); Ein Beitrag zur Katharina-Legende in der älteren kroatischen Literatur (20, 1898, 153–160); Eine Notiz zur kroatischen Glagolica (22, 1900, 617–618).
109. Ein serbokroatisches Wörterverzeichnis aus dem Ende des XV. Jahrhunderts (21, 1899, 639–640).
110. Kelneraj (26, 1904, 318–320).
111. Cechische und polnische Wörter in Mikaljas Wörterbuch (31, 1910, 194–202).
112. Mitteilungen aus dem kroatischen kaj-Dialecte (8, 1885, 399–409).
113. Zur Geschichte der serbischen Deklination (27, 1905, 77–79).

114. Eine serbische Evangelienhandschrift vom Jahre 1436 aus Zeta (9, 1886, 580–585).
115. Zur mittelalterlichen Erzählliteratur bei den Südslaven (15, 1893, 371–380).
116. Der Philomelamythus in der kroatischen Volksdichtung (22, 1900, 608–612).
117. Ein bosnisches Evangelium in der Handschriftensammlung Sreckovic's (24, 1902, 172–182).
118. Über Caramans Werk Identità oder Considerazioni (33, 1912, 99–110).
119. Eine altserbische Glockeninschrift (8, 1885, 133–134); Der Grossvezir Mehmed Sokolovic und die serbischen Patriarchen Makarij und Antonij (9, 1886, 291–297); Reiterspiele im mittelalterlichen Serbien (14, 1892, 73–75; 15, 1893, 457–459); Stanjanin (14, 1892, 75–77); Der ragusanische Dichter Šiško Mencetic (19, 1897, 22–89); Beiträge zur ragusanischen Literaturgeschichte (21, 1899, 399–542); Die cyrillische Inschrift vom Jahre 993 (21, 1899, 543–557); Das Gesetzbuch des serbischen Caren Stephan Dušan (22, 1900, 144–214); Die mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner (25, 1903, 501–521; 26, 1904, 161–214); Glogolitische Urkunden und Schulen in Fiume im XV. Jahrhundert (30, 1909, 473–474).
120. Die Nomenklatur in den kroatisch-glogolitischen liturgischen Büchern (29, 1907, 550–580); Etwas über den liturgischen Gesang der Glogoliten der vor- und nachtridentinischen Epoche (30, 1909, 227–233; 31, 1910, 430–442); Die kroatisch-glogolitischen Breviere und das Offizium der abendländischen Kirchen vom VI.–X. Jahrhundert (34, 1913, 483–496); Bis zu welchem Masse bestätigen die kroatisch-glogolitischen Breviere die Annahme einer vollständigen Übersetzung der heiligen Schrift durch den heiligen Methodius (35, 1914, 12–44).
121. Zwei dalmatinische Kirchenlieder (5, 1881, 267–274).
122. Ein Beitrag zur Geschichte der südslavischen Wanderungen (25, 1903, 307–316).
123. Ein Brief Vuk Karadžić's an Fessl (22, 1900, 633–634).
124. Paul Ritter Vitezovic, Beiträge zu seiner Biographie (28, 1906, 593–600); Drei Gedichte des Paul Ritter Vitezovic (31, 1910, 629–631).
125. Neue Beiträge zur cechischen Korrespondenz des Stanko Vraz (36, 1916, 483–495).
126. Über die Bedeutung des altserbischen "трапъ" (12, 1890, 319–320); Zur Textkritik der altserbischen Urkunden (13, 1891, 68–93); Über zwei noch unbekannte Abschriften der serbischen Annalen (16, 1894, 54–65).
127. Beiträge zu den Quellen des Gundulicschen "Osman" (26, 1904, 71–100).
128. Einige Bemerkungen über das Leben und die literarische Tätigkeit Dositej Obradovic's (22, 1900, 594–608).
129. Südslavische Sprachproben aus Süd-Italien (10, 1887, 362–364).
130. Ein slaveno-serbisches Festgedicht von Zacharias Orfelin (8, 1885, 537–547).
131. Verbannung serbischer Heiligen- und Festtagsnamen aus dem Kalender (30, 1909, 215–227).
132. Das zu Zeng im Jahre 1494 gedruckte glogolitische Missale (19, 1897, 214–229).
133. Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtsschreibung (13, 1891, 481–543).
134. Einige literarische Bemerkungen zum "Ribanje" von Petar Hektorovic (25, 1903, 429–439).
135. Ein koatisches Lied in türkischer Transkription aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts (32, 1911, 613–615).
136. Nicolaus Krajacevic – Peter Petretic (28, 1906, 315–321).
137. Micaglia und sein Wörterbuch (34, 1913, 629).
138. Avarica: I. Zur Wanderung der Kroaten (41, 1927, 158–160).
139. Preradovic's "Lina-Lieder" (30, 1909, 134–146).
140. Die Kirche des heiligen Georg in Nagoric bei Kumanovo in Altserbien mit einer slavischen Inschrift (31, 1910, 300–303).
141. Übersetzungsprobe einer Evangelienlektion ins Kroatische von einem istranischen Priester aus der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts (34, 1913, 624–625).
142. Über einen Kodex der serbischen Königin Milica oder Helena, als Nonne Eugenia genannt, in den "Meteoren" (34, 1913, 298–304).
143. Zu Fr. Miklosich's "Monumenta Serbica" (12, 1890, 300–303).
144. Bemerkungen über den Vocalismus der mittelbulgarischen Denkmäler (2, 1877, 269–288; 4, 1880, 565–574); Abagar – ein neubulgarischer Druck aus dem XVII. Jahrhundert (3, 1879, 518–521); Der bulgarischer Artikel mit v oder n (3, 1879, 522–523); Die Unterschrift des Evangeliums zu Trnovo (4, 1880, 512–513); Siebenbürgisch-bulgarisches spolava(ti) "danken" (4, 1880, 513); Die Betonungstypen des Verbums im Bulgarischen (21, 1899, 1–10).
145. Zur Frage über den Rhinesmus im Neubulgarischen (2, 1877, 399–400); Wie lautete ж bei alten Bulgaren? (3, 1879, 312–357); Ein bibliographischer Beitrag zur bulgarischen Märchenliteratur (6, 1882, 130–133); Ein mittelbulgarisches Bruchstück des ersten Wunders des Grossmartyrers Menas (30, 1909, 392–399).

146. Zur Würdigung der neuentdeckten bulgarischen Chronik (14, 1892, 255–277); Zum Namen Plovdiv oder Plovdiv (16, 1894, 596–600).
147. Zwei vlacho-bulgarische Märchen aus Macedonien (15, 1893, 477–478); Der bulgarische Imperativ "vizd" (16, 1894, 610–611); Einige Kapitel aus der bulgarischen Grammatik (17, 1895, 129–185; 430–477).
148. Nachträgliche Bemerkungen zum Untergang der Deklination im Bulgarischen (38, 1923, 139–143).
149. Zu den altbulgarischen Halbvokalen (37, 1920, 330–377; 39, 1925, 15–43; 40, 1926, 22–43); Zur Grenze zwischen dem Ost- und Westbulgarischen (39, 1925, 212–216).
150. Zur bulgarischen Alexandersage (1, 1876, 608–611).
151. Einige Berichtigungen zum Texte der Urkunde Asens II. vom Jahre 1230–1241 (11, 1888, 623–624); Hat die Stadt Adrianopel bei den Bulgaren ehemals Drinъ oder Odrinъ geheissen? (13, 1891, 636); λέξεις λατινικαί in einer älteren bulgarisch-slovenischen Übersetzung (14, 1892, 84–88); Zur Geschichte der bulgarischen Benennung der Stadt Philippopel (16, 1894, 594–596).
152. Die neuesten Forschungen über den slavischen Klemens (27, 1905, 350–372); Zwei Lobreden, vielleicht von Klemens geschrieben (27, 1905, 373–384).
153. Einige Bemerkungen zur neugefundenen Abschrift des Lebens des heiligen Barbar in bulgarischer Übersetzung (22, 1900, 575–594); Zur Literatur der "Fragen und Antworten: (25, 1903, 611–621).
154. Zur mittelalterlichen Erzählliteratur aus dem Bulgarischen (7, 1884, 78–98); Euthimius von Trnovo (9, 1886, 148–149).
155. Zur Bevölkerungsstatistik Bulgariens und angrenzender Länder (3, 1879, 515–518).
156. Wer hat das zweite bulgarische Reich gegründet? (4, 1880, 627–637).
157. Der Angriff der Bulgaren auf Constantinopel im Jahre 896 n. Chr. (17, 1895, 477–482); Das Alphabet Chrabrs (31, 1910, 210–217).
158. Ergänzungen zu A. Doritsch: "Gebrauch der altbulgarischen Adverbia" (32, 1911, 117–130).
159. Mitteilungen über die Neubulgarische (4, 1880, 694–695); Beiträge zur Kunde der neubulgarischen Sprache: I. Die Wiedergabe des altslovenischen ж und ъ im Neubulgarischen (5, 1881, 370–376).
160. Glück und Ende einer berühmten literarischen Mystifikation: Веда Словена (25, 1903, 580–611).
161. Zur slavischen Wortforschung (33, 1912, 7–19; 34, 1913, 385–401); Die Labiale Tenuis als wortbildendes Element im Slavischen (36, 1916, 166–135); Ein persisches Lehnwort durch türkische Vermittlung im Slavischen (37, 1920, 286–287).
162. Die kirchenslavische Übersetzung der Apokalypse: (13, 1888, 321–361).
163. Slovenische Studien: (37, 1918–1920, 123–174; 289–330).
164. Ein Beitrag zu den Forschungen über die sogenannte "Бесѣда трехъ святителей": (23, 1901, 1–95; 24, 1902, 321–408).
165. Die Čakavština und deren einstige und jetzige Grenzen: (13, 1891, 93–109; 161–198; 361–388).
166. Die ragusanischen Urkunden des XIII.–XV. Jahrhunderts: (16, 1894, 321–367; 17, 1895, 1–47).
167. Dositheus Obradović's Klosterjahre: (30, 1909, 89–133; 365–391).
168. Der Grossvojvode von Bosnien Sandalj Hrančić-Kosača: (19, 1897, 380–465).
169. Die Biographie Stephan Lazarevič's von Konstantin dem Philosophem als Geschichtsquelle: (18, 1896, 409–472).
170. Zur Entwicklungsgeschichte der slavischen Deminutiv- und Amplificativsuffixe: (23, 1901, 134–206; 26, 1904, 321–357).
171. Письмо Ягича Станке Решетар от 22-го октября 1922 г. // Korespondencija Vatroslava Jagića. Knjiga I (Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti), uredio Petar Skok. Zagreb, 1953.



© 2002 г. МАРИЯ-ЛУИЗА БОТТ

"ФИЛОЛОГИЯ" ИЛИ "ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВНИКА"? СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ М. ФАСМЕРА В РАЗВИТИИ СЛАВИСТИКИ В ГЕРМАНИИ (1925–1932)

Макс Фасмер известен прежде всего как автор "Этимологического словаря русского языка" (Гейдельберг, 1953–1958; М., 1964–1973. Т. I–IV), большого научного достижения его жизни. Менее известно то, что Фасмер оказывал содействие организационному развитию славистики в Германии и в каких конфликтах он противился идеологической эксплуатации этой специальности в Берлинском университете в межвоенный период. Именно об этом и пойдет речь далее.

После учебы в Петербурге и за границей (прежде всего в Кракове, Граце и Вене) русский немец, славист и языковед М. Фасмер (он родился в Петербурге в 1886 г., умер в Берлине в 1962 г.) в 1917 г. стал профессором в Саратове, в 1918 г. направился в Дерптский университет, а в 1921 г. – в Лейпцигский университет. Здесь он получил кафедру славянской филологии в Индоевропейском институте. Уже через год Фасмеру удалось образовать в рамках университета особый Институт славистики. Однако в то же время "русский" Фасмер, имевший хорошие контакты с польскими учеными, оказался среди лейпцигской профессуры в антипольской атмосфере, которая отталкивала демократа и ученика Бодуэна де Куртенэ. В частности, дело дошло до научных и личных конфликтов с двумя сотрудниками журнала "Archiv für slavische Philologie" Эриха Бернекера, балтистом Георгом Геруллсом и славистом Карлом Генрихом Мейером [1]. Чтобы иметь неограниченную возможность публикации в своих научных интересах и освободить славистику из индоевропеистической зауженности и концентрации на "древнем", в 1924 г. Фасмер основал журнал "Zeitschrift für slavische Philologie". Вскоре он стал ведущим органом славянского языкознания и литературоведения на немецком языке с широким кругом сотрудников из славянских стран. Национально ориентированный "Archiv für slavische Philologie", напротив, прекратил существование в 1929 г. Оба эти факта, основание Славянского института и журнала, декан философского факультета представил Министерству культуры Саксонии как первостепенное достижение Фасмера с тем, чтобы сохранить его в Лейпцигском университете. В настоящее время, писал он, Фасмер является "самым выдающимся славистом Германии" и "исключительными организаторскими способностями"; ему удалось "воссоздание Института Восточной Европы" в Лейпцигском университете, который, "казалось, уже безвозвратно погиб", создание библиотеки и основание журнала, что в состоянии был сделать "лишь профессор Фасмер со своими обширными связями с учеными всех славянских стран". Единственное в своем роде положение Лейпцига в области языкознания со времен Августа Лескина будет утрачено, если Фасмер примет приглашение Берлинского университета [2. 16 I 1925].

Тем не менее Фасмер предпочел предоставлявшиеся в Берлине бóльший масштаб преподавательской деятельности и "бóльшую возможность преобразования существовавшей там Славянской кафедры" [2. 4 IV 1925]. Он был рад возможности распрощаться с неблагоприятной идеологической атмосферой Лейпцига. Только благодаря прусскому Министерству культуры Веймарской республики, руководимому демократами-филологами Карлом Генрихом Беккером и Вернером Рихтером, Фасмер, согласно заключенному в 1925 г. договору, гарантированно получил исключительно благоприятные условия для основания Славянского института Берлинского университета: должность ординарного профессора и место ассистента, которое до 1945 г. занимала его ученица Маргарете Вольтнер, пять мест преподавателей славянских языков и 50 тыс. марок для создания при институте библиотеки. Приобретение и расстановку книг взяла на себя М. Вольтнер. До 1939 г. она смогла внести в указатель свыше 30 тыс. наименований книг и таким образом содействовала тому, чтобы сделать берлинский институт лучшим исследовательским центром славистики в Германии [3].

В своем прошении об учреждении Славянского института, обращенном к прусскому Министерству финансов, министр культуры Беккер в 1925 г. подчеркнул, что в Берлине стоило бы создать "центр изучения культуры славянских стран" и тем самым наконец восполнить этот пробел, тяжело ощущаемый как наукой, так и политикой. В отличие от институтов в Кенигсберге (экономика) или Бреслау (право) основной задачей берлинского института, который надлежит основать, должно стать "изучение России". То, что до сих пор в Пруссии не было подобного исследовательского учреждения, "почти равносильно скандалу" и непременно должно быть изменено "как по научным, так и по политическим причинам" [4. Вл. 12–14. 27 VIII 1925]. И все же Министерство финансов отказалось выдать одновременно 50 тыс. марок для институтской библиотеки. Два месяца спустя Беккер повторно писал в это министерство, что содействие изучению России в Берлинском университете имеет огромное внешнеполитическое значение. Он указал на "развитие наших политических отношений с Россией в самое последнее время" и "восстановление научных связей с русскими учеными кругами" по случаю празднования 200-летия Российской Академии наук [4. Вл. 21–23. 15 X 1925]. В ответ на это министерство финансов ассигновало одновременно лишь 12 тыс. марок для оборудования библиотеки. В августе 1926 г. Министерство культуры в последний раз обратилось с прошением о выделении средств для Славянского института: "После радикального изменения политической обстановки в России, после воссоздания целого ряда самостоятельных славянских государств в непосредственной близости от германских границ и ввиду вновь созданной научной жизни в славянских государствах славистика приобрела бóльшее значение в политическом, экономическом и научном отношениях". Далее следовала ссылка на основание славистических институтов в Париже (1920), Страсбурге (1919), Лондоне (1915) и Риме (1921)¹, т.е. в державах-победительницах в Первой мировой войне [4. Вл. 80–81. 23 VIII 1926]². Документально не известно, имело ли это обращение соответствующий

¹ В 1915 г. в Лондоне была основана Школа славянских исследований Королевского колледжа и открыта в ноябре 1918 г. лекцией Томаша Масарика, который в 1915–1917 гг. являлся доцентом славянской литературы и истории в Королевском колледже, см. [5. S. 391]; в 1919 г. Страсбургский университет учредил кафедру славянских языков и литератур, которую возглавил Андре Мазон, см.: [6. S. 259]. Институт славянских исследований в Париже был основан в ноябре 1919 г. прежде всего по инициативе историка Эрнеста Дени, занимающегося Восточной Европой, который уже в 1920 г. создал свой журнал "Monde slave"; в 1920 г. институт получил свой устав, в 1921 г. Совет министров Чехословацкой республики подарил ему миллион франков на покупку дома на улице Мишле и на учреждение кафедры истории и "цивилизаций" славянских народов; институт был открыт в 1923 г. в присутствии французского президента А. Мильерана президентом Чехословацкой республики Т. Масариком, (ср. [6. S. 256–258]); в Римском университете Этторе Ло Гатто совместно с другими основал Институт Восточной Европы одновременно с первым славистическим журналом Италии "L'Europa Orientale" (1921–1943), (см.: Brogi-Bercoff G. Profilo della slavistica in Italia (1920–2000) в выходящем в ближайшее время заключительном томе к [7].

² Беккер позаимствовал свои политические аргументы и ссылки на основание институтов за рубежом из приложенного к прошению письма Фасмера в Министерство культуры от 6 июля 1926 г.

резонанс. Фактом является то, что Фасмер должен был в дальнейшем из года в год хлопотать о деньгах для институтской библиотеки. Но следует отметить, что в 1925–1926 гг. он не использовал никаких ревизионистских аргументов в переписке с Министерством культуры для содействия своему институту, например, в смысле "оборонительной войны" против польской или чешской науки.

Вскоре берлинский институт имел сравнительно большое число студентов (наивысшее – в летний семестр 1931 г., 33 постоянных слушателя). Наряду с "Zeitschrift für slavische Philologie" Фасмер создал две славистические книжные серии, которые финансировались Обществом помощи немецкой науке и Министерством культуры: "Публикации Славянского института Берлинского университета имени Фридриха-Вильгельма" ("Veröffentlichungen des Slavischen Instituts an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin") (до 1941 г. вышло 33 тома) и, совместно с его лейпцигским преемником Рейнгольдом Траутманом, "Очерки по славянской филологии и истории культуры" ("Grundriss für Slavische Philologie und Kulturgeschichte") (до 1933 г. вышло 11 томов)³. Кроме того, он приглашал многочисленных иностранных славистов выступать с докладами. Например, в июле 1927 г. В. Жирмунский сделал доклад о "немецких поселениях в России" [4. Вл. 126]. А эмигрировавшего и жившего в Берлине философа С. Франка Фасмер пригласил в университет преподавать историю русской литературы и общественной мысли [4. Вл. 175].

Сравнительно крупные суммы денег на исследования были предоставлены в середине 1920-х годов Министерством внутренних дел и ведомством иностранных дел Германии специально для исследований о немцах пограничья и особенно в Восточной Европе. Из этого Фасмер хотел извлечь выгоду для славистики, финансирования которой приходилось добиваться с большим трудом. Так, с 1924 г. он скооперировался с лейпцигским Фондом изучения почвы германского народа и культуры, возглавлявшимся географом В. Фольцем (подробнее см.: [11]). Политическая задача фонда была вполне определена: он занимался научным консультированием Министерства иностранных дел (составление карт, статистические данные, экспертиза) для возврата тех восточногерманских областей, которые по Версальскому договору отошли к Польше и Чехословакии. В фонде работали прежде всего географы, историки, юристы, статистики, экономисты. В 1924 г. к разработке "истории поселений немецкого Востока" были привлечены языковеды. Фасмер сделал в фонде доклад о "славянах, их происхождении и их расселении в Восточной Германии". В нем он выдвинул положение, согласно которому прародина славян находилась восточнее Вислы – между Киевом и Пинском, а западнее Вислы до V в. жили германцы. Лишь в VI в. славяне на некоторое время заселили область западнее Вислы, следовательно, Лужицу, Верхнюю Силезию, Восточную Пруссию и Познань нельзя считать их прародиной [12]. Это положение Фасмера было очень кстати для политических целей фонда, а именно: ссылаясь на чисто этноцентристски дефинированную "почву германского народа и культуры", пересмотреть государственно-правовые реалии, созданные версальской системой. Доклад Фасмера был опубликован в антипольском сборнике Вильгельма Фольца "Почва восточногерманского народа" (Бреслау, 1926).

Когда же на следующем заседании фонда в 1925 г. Фасмер сделал доклад о "влиянии немецкого языка на славянские языки" и доказывал "умственное превосходство немцев" их влиянием на славянскую терминологию в области земледелия, строительства и т.д. [13], он полностью превратил свою деятельность в рамках этого учреждения в инструмент для достижения националистических целей. Бескомпромиссна была реакция польского правительства, которое критически относилось к работе лейпцигского фонда. Дважды, в 1926 и 1936 гг., Фасмер избирался Польской академией наук в Кракове ее зарубежным членом, однако оба раза польское правительство не утверждало этот выбор. Министерство вероисповеданий и народного образования

³ "Очерки" появились при участии таких известных славянских ученых как Ф.Ф. Карский [8] и Д.К. Зеленин [9]. По поводу созданной по инициативе В. Ягича Энциклопедии славянской филологии, из которой в советское время появился один-единственный и последний том в 1929 г., см.: [10. С. 217].

обосновало свой отказ в 1926 г. тем, что Фасмер якобы руководил тайной акцией, направленной против лужицких сербов; относительно отказа 1936 г. младший госсекретарь Уески доверительно сообщил, что причиной явилось "серьезное возражение со стороны Министерства внешней политики Республики Польши" [14].

Сам Фасмер извлек урок из своего сотрудничества с лейпцигским фондом. В своих публикациях он никогда больше не повторял подобного сомнительного приспособленчества к "духу" своих "спонсоров". Более поздние работы по той же тематике – "Германцы и славяне в Восточной Германии в древние времена" (Стокгольм, 1933) и "Древние отношения населения в России в свете языкознания" (Берлин, 1941) – содержат аргументацию по существу в духе понимания, а не обороны. Особенно это касается берлинской публикации 1941 г., вышедшей уже после нападения на Польшу и Советский Союз: "В этой славянской прародине очень хорошо можно понять утрату различных индоевропейских слов из области культуры у славян, так как нельзя отрицать, что вследствие неблагоприятных условий жизни славяне лишились многих индоевропейских культурных достижений" (С. 16).

В 1927 г. Бодуэн де Куртенэ просил чешского сорабиста Адольфа Черны выступить перед польским правительством с положительным отзывом относительно Фасмера. При этом как особую заслугу Фасмера перед славистикой он отмечал как раз основание им института в Берлине: "Макс Фасмер ... добился от прусского правительства того, что был создан хорошо оснащенный семинар под названием Славянский институт. ...Вообще заслуги Фасмера перед духовным славянским движением бесспорны. То, что польское правительство не утвердило его как члена Академии наук является глупостью, типичной для многих польских политиков" (цит. по: [15]).

В 1927 г. в Лейпциге появилась знаменитая программа Рейнгольда Траутмана и Генриха Феликса Шмида "Сущность и задачи германской славистики", которая требовала изменения курса предмета: необходимо отойти от доминирования языкознания к большему вниманию к истории литературы и изучению культуры, а также к сознательной деятельности славистов в качестве посредников в работе с общественностью в послевоенный период. Хотя Фасмер критически противостоял изменению содержания предмета, он сразу подхватил институционную инициативу, данную Траутманом и Шмидом в главе "Организация славистики в будущем", и пытался осуществить ее в Берлине. Ссылаясь на основанный в Париже в 1919 г. Институт славянских исследований, Траутман и Шмид прежде всего требовали основания подобного, хорошо финансируемого славистического исследовательского института в германском языковом пространстве (в Австрии, Пруссии или Саксонии).

В начале 1928 г. лейпцигский фонд совместно с представителями германского Министерства внутренних дел и различных институтов по изучению Восточной Европы обсуждал вопрос об организации "всеохватывающего изучения вопросов Востока" в Германии. Тем самым он отреагировал на то, что на Международном конгрессе историков 1927 г., в Варшаве был основан Международный союз восточно-европейских историков и запланировано создание Немецкого славистического общества. Чтобы что-то противопоставить "начатой польской стороной борьбе за восточные области", лейпцигский фонд обсуждал возможность концентрации всех немецких исследований Восточной Европы в "центре по изучению Востока" или Немецком славистическом обществе [16]. Фасмер, участвовавший в заседании, увидел свой шанс и внес предложение о создании славистического исследовательского института в Берлине. Сам принимавший участие в варшавском конгрессе историков и получивший порицание от немецких коллег за то, что не понимает "целей патристической" науки (цит. по: [17]), он теперь адресовал представителям Министерства внутренних дел докладную записку об "учреждении государственного исследовательского института славистики в Берлине" [18. Teil IV. № 19. Bl. 152–154].

В качестве образца он привел создание еще в 1914 г. в Лейпциге гуманитарных исследовательских институтов при университетах, когда, например, ординарному профессору славистики причитались средства одновременно как директору "государст-

венного саксонского исследовательского института славянской филологии". Пруссии не следует отставать в этом, и она должна утвердить для Славянского института Берлинского университета исследовательский бюджет в размере 25 тыс. марок ежегодно.

В записке Фасмера прежде всего бросается в глаза то, что он риторически политизирует свой научный замысел в духе лейпцигского фонда. Если в ходатайстве 1925 г. Министерству культуры относительно основания Славянского института еще не было речи об "оборонительной войне" против польской и чешской науки, то теперь, три года спустя, в записке говорится: славистический исследовательский институт в Берлине необходим "в интересах ... германской политики" и "против всех враждебных Германии соседей", которые развивают свою славистику. Здесь он называет Институт славянских исследований в Париже, Западославянский институт в Познани и такой же в Кракове как свидетельство франко-польского альянса. Мы знаем, что Фасмер имел профессиональные связи с А. Мазоном в Париже и К. Ничем в Кракове и дружил с ними, становится очевидным, что здесь его аргументы, адресованные германскому министерству внутренних дел, носят *тактический* характер. Научную же критику несостоятельных националистических работ Рудницкого (Познань) и Ташицкого (Краков) Фасмер открыто высказал в другом месте, на страницах своего журнала. В его записке, напротив, поражает *германизация* Фасмером его славистических исследовательских проектов. Подчеркивание особого значения изучения "германского культурного влияния на Лужицу" делает запланированный серболужицкий языковой атлас и серболужицкий словарь чуть ли не работами по германистике.

Германизацию славистических исследовательских замыслов при ходатайстве о финансировании, направленном государственными инстанциями, уже в первый год национал-социализма Фасмер усилил до уровня причудливого соревнования. В 1933 г. в прошении о финансировании своего института, направленном германскому министру культуры Фалену, он писал: "Мне уже давно ясно, что наша славистика в основном должна заниматься германо-славянскими культурными связями. ... Правда, я глубоко убежден, что такие исследования германского культурного влияния на славян могут вести лишь те ученые, которые занимались и чисто славянскими проблемами. Чтобы в известной мере подготовить наше подрастающее поколение, мы, слависты, в нашей педагогической деятельности должны говорить не только о германцах на Востоке, но рассматривать также негерманское пространство. Лишь на первый взгляд это выглядит непатриотично" [4. Вл. 234–236].

Следует четко различать два способа аргументации Фасмера: один в переписке с государственными учреждениями, другой – в научных текстах. В просьбах к научно-политическим инстанциям о государственной поддержке он пускался на риторическую политизацию и германизацию славистических исследовательских проектов. В собственных же публикациях и по отношению к ученым он, напротив, оставался политически нейтрален – за исключением единственного в своем роде эпизода 1926 г. В период между 1926 и 1945 гг. он не до конца выдерживал политическую нейтральность, лавируя ради дальнейшего получения средств на исследования. С другой стороны, его собственные публикации в то время направлены против политических националистических тенденций на Западе и на Востоке. В 1936 г. Фасмер не только отклонял неправильную этимологию Ташицкого для названия "Силезия", которое он объявил подлинно польским [19. S. 22–323], но и опровергал национал-социалиста фон Лерса, считавшего наименование "ховарты" производным от германских корней [20. S. 329–337]. Эти публикации 1936 г. лучше всего характеризуют политическую позицию Фасмера как ученого.

В конце 1928 г. германское Министерство внутренних дел предоставило Славянскому институту 20 тыс. марок на исследования. Распределение средств должно было осуществляться Экспертным комитетом исследования Востока при лейпцигском фонде [18. Teil IV. № 19. Вл. 158]. Однако по этому поводу у Фасмера произошел конфликт с его руководителем В. Фольцем. Сначала Фольц не считал необходимым

финансировать "Zeitschrift für slavische Philologie". Лишь когда Фасмер сослался на основание пражского журнала "Slavische Rundschau" (с 1929 г.) и оказание ему существенной денежной помощи со стороны чешского Министерства образования, Министерство внутренних дел Германии одобрило оказание большей поддержки его журналу, и Фольц перевел деньги [18. Teil IV. № 19. Bl. 162]. Затем дело дошло до ссоры по поводу работы "Вендская библиография" Я. Ятцваука (Лейпциг, 1929), публиковавшейся на средства остфоршунга в книжной серии Славянского института. В своем ходатайстве о покрытии расходов на эту публикацию Фасмер заверил, что он ее отредактирует [18. Teil IV. № 19. Bl. 142]. Однако когда книга вышла, он отказался не только от предисловия с желательной ревизионистской тенденцией, но и от прогерманской "редакционной обработки". Как издатель он подтвердил свою научную объективность. Зато для лейпцигского фонда "Вендская библиография", которая, например, не привела данных немецкой переписи населения в Лужице, стала трудом, пропагандирующим национализм вендов [18. Teil IV. № 19. Bl. 185]. Поэтому с ноября 1929 г. Фасмеру больше не выделялись средства, и он окончательно дистанцировался от лейпцигского фонда и Министерства внутренних дел. Он пытался ранее использовать их для финансирования своих исследовательских замыслов, но разделяя их политических целей. Это удалось ему только до тех пор, пока он только ходатайствовал о выделении средств. Как только появились первые издания, сразу выявились политические разногласия между ним и "спонсорами".

Фасмер спасся бегством от националистических претензий консервативных политических институций в Прусской академии наук, которая в 1931 г. избрала его своим членом как выдающегося слависта и в сравнительно молодом возрасте, в 45 лет. На этот период приходится последняя фаза его организационной деятельности по развитию славистики: в 1932 г. он создал в академии Славянскую комиссию, в рамках которой продолжил исследовательские проекты, названные в записке 1928 г. В академии и с ее исследовательским бюджетом Фасмер надеялся, что сможет сохранить политически нейтральные позиции. Однако это было заблуждением. И здесь от него ожидали дополнительной работы по "национальной проблеме", как то сформулировал юрист Хейман уже в своей приветственной речи по случаю избрания Фасмера [21. S. CXXVIII–CXXIX]⁴. И еще до того как президентом академии в 1938 г. против воли ее членов был навязан национал-социалист Фален, Фасмер и здесь был принужден к германизации своих исследовательских начинаний.

Основание Фасмером славистических центров в 1922 г. в Лейпциге, в 1925 и 1932 гг. в Берлине являлось новаторским достижением, если принять во внимание, что после Первой мировой войны еще молодая германская славистика сперва располагала кафедрами лишь в пяти немецких университетах: в Бреслау (1842), Лейпциге (1870), Берлине (1874), Мюнхене (1911) и Кенигсберге (1919). Подобное даже ему, снискавшему международное уважение филологу и демократу, могло удаться только в Веймарской республике с ее Министерством культуры, проводившим демократическую политику под руководством ориенталиста К.Г. Беккера. Основав собственный профессиональный журнал и две книжные серии, подготовив замечательных учеников как в области языкознания, так и литературоведения, добившись значительного исследовательского бюджета в 1928–1929 гг., наконец, в 1932 г. создав Комиссию славистических исследований в Прусской академии наук, Фасмер смог утвердить славистику как самостоятельную филологическую дисциплину, наряду с другими "большими филологическими дисциплинами", и наладить ее международные связи.

⁴ Хейман назвал "особенно ценным" то, что Фасмер может, "сравнивая языки, везде выйти за пределы чисто славянского", а также "искать связи (...) с готским и германским в жизни языка и культуры". Хотя изучение "эксперимента в области конституции и экономики" в Советском Союзе несомненно является "насушной задачей и нашей академии", однако от Фасмера ожидают прежде всего исследования "культурного развития наших немецких восточных областей, тем более что там Версаль нанес нам глубочайшие раны".

Фасмер подхватил организационно-институционную инициативу программной работы Траутмана и Шмидта 1927 г. и в меру возможности осуществил ее. Но почему он противился предлагавшемуся изменению курса славистики по содержанию?

Отклонение Фасмером новой ориентации славистики в первую очередь на историю литературы и изучение культуры имеет две причины. Прежде всего это проистекало из желания отмежеваться от все еще преобладавшего в Германии дилетантизма в славистической сфере. В 1928 г. Фасмер выступил перед руководителем департамента высшей школы прусского Министерства культуры В. Рихтером с критикой деятельности Немецкого общества по изучению Восточной Европы, которое только что провело германо-советскую историческую неделю, "не учтя высокого уровня немарксистского изучения истории в России", и членов его президиума Шмидта-Отта и Йонаса, действовавших "без малейшего знания русского языка и добольшевистской России". Он назвал это "опасным дилетантизмом", который причиняет вред как германской политике, так и исследованию Восточной Европы [18. Teil I. № 26с. Вl. 175–176] (опубликовано в [22. S. 328–330]). Тем не менее в статье "Славянская филология" (1930) Фасмер писал, что с литературоведением "все еще обращаются как с падчерницей" и что "профессиональная славистическая наука больше чем до сих пор должна стремиться взять в свои руки руководство и в области новейшей литературы", однако заметил, что именно в исследовании творчества Достоевского и Толстого зачастую "широко представлен дилетантизм" и поэтому профессиональные журналы "придают особенно большое значение сотрудничеству славянских историков литературы" [23. S. 241–249]. В своей рецензии на работу Траутмана и Шмидта Фасмер указывал, "имеющаяся строго филологическая база немецкой славистики сохраняется, так как основательное филологическое обучение может прежде всего локализовать дилетантизм в этой области" [24. S. 236].

По-другому Фасмер отмежевался от растущего иррационализма как в обществе, так и гуманитарных науках, не желая отказываться от методов сравнительно-исторического исследования языка младограмматиков – от их рационального, подлежащего перепроверке метода (фонетические законы), собирания, анализа и систематизации языковых фактов и их однозначно либо положительных, либо отрицательных результатов. Любые новые научные направления "истории мысли" или "изучения культуры", которыми можно было манипулировать, легко могли превратиться в инструмент, а после 1933 г. и были превращены в немецкой славистике для таких идеологий, как национализм, расизм или национал-социализм.

С подобными тенденциями Фасмер соприкоснулся еще в 1926 г., сотрудничая с лейпцигским фондом. То, чем здесь занимались, было уже не "филологией", а "изучением противника" ("Gegnerforschung"). Даже для зрелого, снискавшего международно признание ученого, это стало испытанием на прочность, выбором между отказом от государственного и иного финансирования исследований и изоляцией среди славянских коллег (неизбрание в Польскую академию наук). Его понимание филологии предполагало независимость науки от "спонсоров" и тем самым возможность критики националистических позиций. Поэтому уже в 1928 г. он защищал "строго филологический метод" прежде всего как противоядие против национал-шовинистической идеологии. Следовательно, речь шла не просто о методическом консерватизме, а об осознанно занятой позиции, которую Фасмер обосновал как единственно возможную еще в середине войны, на чествовании Лескина: "Сохранение филологического и языковедческого метода, как он учил" [25. S. 1].

Как обстояли дела при национал-социализме у такого руководителя института, как Фасмер, который не вступил в НСДАП и не был сторонником ее идеологии – и в этом отношении являлся светлой фигурой среди прочих немецких славистов, однако отнюдь не был сторонником политического сопротивления и сохранял свой статус университетского ученого, – это уже другая тема [26].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bott M.-L.* Ein Forschungsinstitut für Slavistik in Berlin? Max Vasmers Denkschrift 1928 // Jahrbuch für Universitätsgeschichte 2/1999.
2. Universitätsarchiv Leipzig, Personalakte 1011, Max Vasmer: Dekan an Dresdener Ministerium für Volksbildung.
3. *Bott M.-L.* Dozentin trotz Reichshabilitationsordnung. Die Berliner Slavistin Margarete Woltner in den Jahren 1925–1950 // Gender forschung in der Slawistik. / Hg. von Jiřina van Leeuwen-Turnovcová // Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 55. Wien, 2002.
4. Bundesarchiv Berlin. R 4901/1455.
5. *Stone G.* The History of Slavonic Studies in Great Britain // Beiträge zur Geschichte der Slawistik in nichtslawischen Ländern / Hg. von Hamm Josef, Wyrzens Günther / Wien, 1985.
6. *Veyrenc J.* Histoire de la Slavistique française // Beitrage... /Hg. von Hamm J., Wyrzens G.
7. Beiträge zur Geschichte der Slawistik in nichtslawischen Ländern/Hg. von Hamm J., Wyrzens G.
8. Geschichte der weissrussischen Volksdichtung. Berlin, Leipzig, 1926.
9. Russische (ostslawische) Volkskunde. Berlin, Leipzig, 1927.
10. *Робинсон М.А.* Письма на родину: ученые-эмигранты и российская славистическая элита (20-е годы) // Славянский альманах 2000. М., 2001.
11. *Fahlbusch M.* "Wo der deutsche ... ist, ist Deutschland". Die Stiftung für deutsche Volks – und Kulturbodenforschung in Leipzig 1920–1933. Bochum. 1994.
12. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. R 60381, Protokoll über die Tagung für Deutschumpflege zu Bautzen. 25.–27. September 1924.
13. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. R 60381. Protokoll der Tagung in Marienburg, 10–12. Oktober 1925.
14. Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: акты членов академии Яна Бодуэна де Куртенэ и Александра Брюкнера; переписка Генерального секретариата Польской Академии наук, № 469/36.
15. *Zeil L.* Die deutsche Slavistik zur Zeit der Weimarer Republik im Spiegel der Korrespondenz zwischen Max Vasmer und Matija Murko // Zeitschrift für Slawistik. 1977. № 22.
16. Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. R 60386, VI A: Volz Wilhelm. "Stiftung für Volks – und Kulturbodenforschung" Leipzig, направлено 8 марта 1928 г. в Министерство иностранных дел с приложением "Сообщения об обсуждении задач остфоршунга, Бреслау, 5 января 1928 г."
17. *Urbańczyk St.* Max Vasmers Korrespondenz mit Krakauer Slavisten // Zeitschrift für slavische Philologie. 1986. Jg. 46. S. 392 (оригинал на польском языке).
18. Geheimes Staatsarchiv Berlin–Dahlem, I. HA Rep. 76 Vc, Sekt. I, Tit, 11, Teil IV, № 19, Bl. 152–154.
19. *Vasmer M.* Der Name Schlesiens // Forschungen und Fortschritte. 1936. Jg. 12.
20. *Vasmer M.* Germanisches und Ungermanisches bei den Südslaven // Zeitschrift für slavische Philologie. 1936. Jg. 13.
21. Erwiderung des Vorsitzenden, Herrn Heymann, auf die Antrittsrede des Herrn Vasmer // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin. 1931.
22. *Voigt G.* Otto Hoetzsch 1876–1946. Wissenschaft und Politik im Leben eines deutschen Historikers. Berlin (Ost). 1978.
23. *Vasmer M.* Slavische Philologie (1880–1930) // Aus fünfzig Jahren deutscher Wissenschaft. Die Entwicklung ihrer Fachgebiete in Einzeldarstellungen (= Festschrift für Friedrich Schmidt-Ott zum 70. Geburtstag) / Hrsg. von Gustav Abb. Berlin etc. 1930.
24. *Vasmer M.* Rezension "Schmid H.F., Trautmann R.: Wesen und Aufgaben der deutschen Slavistik. Leipzig, 1927" // Zeitschrift für slavische Philologie. 1928. Jg. 5.
25. *Vasmer M.* August Leskien zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages // Zeitschrift für slavische Philologie. 1941. Jg. 17.
26. *Bott M.-L.* Die Slavistik – eine "Hilfswissenschaft"? Zur Geschichte der Berliner Hochschulslavistik 1925–1951. Stuttgart, 2002.



© 2002 г. Е.П. АКСЕНОВА

ЗАПИСКА А.В. ФЛОРОВСКОГО 1938 г. "СЛАВЯНСКОМУ ИНСТИТУТУ В ПРАГЕ"

А.В. Флоровский (1884–1968), вынужденный в 1922 г. покинуть родину, где он преподавал русскую историю в Новороссийском университете и занимался историей крепостного права в России, в начале 1923 г. обосновался в Праге и вошел во многие научные организации русской эмиграции. Кроме того, он преподавал в зарубежных русских высших учебных заведениях, а также в Карловом университете. С 1929 г. ученый являлся членом Славянского института в Праге (биографию см. в [1. С. 234–244; 2. С. 650–653]). Оторванный от российских архивов и библиотек, историк, живя в Чехословакии, переключил свое внимание на исследование истории русско-чешских отношений в течение длительного исторического периода [3] (библиографию см. в [1. С. 179–182]). Свою работу он основывал на использовании доступных ему архивных материалов. Изучая многовековые русско-чешские связи в различных сферах жизни, Флоровский выявил немалое количество разнообразных архивных документов, касавшихся не только интересовавшей его темы, но и истории других славянских народов и их взаимоотношений. Вместе с тем, работая в архивах, он сталкивался с трудностями выявления нужных материалов, с отсутствием их научного описания и учета. Все это укрепило Флоровского во мнении о необходимости создания в Праге центра по выявлению в чехословацких архивохранилищах и регистрации документальных материалов, имеющих отношение к истории славян. Наиболее подходящим учреждением для организации подобного центра он считал Славянский институт, в задачи которого входило изучение славянской истории; кроме того, там работало немало специалистов в данной области. Не исключено, что и сам Флоровский хотел бы войти в состав комиссии, которая, по его плану, должна была руководить работой по обследованию архивов.

Публикуемая записка хранится в Архиве Российской академии наук в фонде А.В. Флоровского [4] и представляет собой автограф, черновик документа, адресованного Славянскому институту. В этой записке Флоровский раскрывает цели проектируемого им центра и намечает первоочередные работы в направлении создания "банка архивных данных" по истории славянских стран (исключая Чехословакию, поскольку отечественная история у многих славянских народов выводится за рамки славяноведения и составляет отдельную отрасль исторической науки). Итоги этой работы, по мнению ученого, должны быть доступны исследователям, изучающим

Аксенова Елена Петровна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

историю славян и межславянские отношения. К сожалению, мы не располагаем документами, свидетельствующими о том, какова была реакция руководства и членов Славянского института на записку Флоровского и были ли предприняты какие-либо шаги по реализации его предложений.

Слав[янскому] Инст[итуту] в Праге¹

Чсть имею предложить вниманию Славянского Института нижеследующие предложения о своевременности и целесообразности организации при Славянском Институте рабочего центра для выяснения и регистрации материалов по истории Славян (исключая Чехословакию), имеющихся в архивах и рукописных собраниях ЧСР. На мысль о таком организованном обследовании привели меня прежде всего мои личные занятия по истории чешско-русских отношений. При этих занятиях мне привелось ознакомиться с некоторыми архивными собраниями в Праге и Брно и встречать разнообразные материалы по русской и польской истории, лишь частично зарегистрированные и известные специалистам. В связи с этим передо мною лично – в связи с моими специальными интересами в области истории чешско-русских отношений – стоит задача обследовать более широко архивные собрания в ЧСР с целью извлечения из них всего, что может относиться к моей теме. Вместе с тем, однако, я полагаю, что такое обследование могло бы быть более продуктивным и для науки, если бы поставлено было на более широкую организационную базу, связанную с историей Славян вообще. На необходимость подобного выяснения Славянских материалов в архивах ЧСР обратила свое внимание в докладе на I-ом съезде чешкословенских историков весной 1937 г. проф[ессор] Dr. M. Paulova² и эту мысль подтвердил в своих замечаниях по этому докладу проф[ессор] Dr. J. Macurek³, который в этом направлении уже немало сделал в связи со своими занятиями по польско-чешским отношениям XVI–XVII вв. Едва ли есть надобность здесь подробно обосновывать самую полезность и ценность подобного обследования, которое в широком масштабе еще никем не производилось и может дать в будущем полезные указания исследователям в области Славянской истории, истории международных отношений в особенности. Полагаю, что инициативу в создании рабочего средоточия для такого обследования мог бы взять на себя Слав[янский] Институт, объединяющий в своем составе всех специалистов по Славянской истории в ЧСР и вне ее и включающий в программу своей работы изучение слав[янской] истории и истории взаимных отношений Слав[янских] народов.

Не входя в подробности организационного характера, думаю, что для осуществления такого научного плана Слав[янский] Устав (т.е. Славянский институт. – Е.А.) мог бы образовать из своих членов специальную Комиссию, которая наметила бы конкретные формы своей работы. Работа эта могла бы развернуться в трех направлениях: 1. Анкетный опрос всех архивов и собраний рукописных материалов при библиотеках, институтах, учебных заведениях и подобных об имеющихся в них материалах по истории Славянских народов и их культуре (исключая, конечно, Чехословакию); при проведении этой анкетной акции надлежит, конечно, войти в предварительный контакт с объединением архивных работников ЧСР.

2. Непосредственное подробное ознакомление членов Комиссии и привлекаемых для содействия в ее деле специалистов с составом архивов, собраний ЧСР и пр.:

¹ В верхней части листа справа рукой А.В. Флоровского сделана карандашная пометка: "Передано лично Мурко". М. Мурко – директор Славянского института.

² Паулова Милада (1891–1970), доктор философии (с 1918 г.), с 1935 г. – профессор Карлова университета (первая женщина-профессор в ЧСР), специалист в области всеобщей истории, преподавала историю славянских народов и византиноведение, член Чешской академии наук и искусств.

³ Мацурек Йозеф (1901–1992), доктор философии (с 1925 г.), преподавал на философском факультете Карлова университета (1925–1935), с 1935 г. – профессор славянской истории университета в Брно (с 1957 г. – заведующий кафедрой истории СССР и Центральной Европы). Руководитель филиала Славянского института в Брно (1958–1963). Член-корреспондент Чехословацкой академии наук (с 1965 г.).

такое прямое обследование архивов надлежало бы провести систематически, ибо слав[янский] материал часто оказывается незарегистрированным в архивных описях и каталогах и может быть обнаружен лишь после сосредот[оченного] просмотра арх[ивных] связок.

3. Просмотр печатной литературы для извлечения из нее сведений об изданных или неизданных, но лишь отмеченных славянских исторических материалах по данным архивов и коллекций ЧСР.

Результатом работы Комиссии должна явиться картотека архивов ЧСР, в которой зарегистрированы были бы все славянские историч[еские] материалы. Эта картотека могла бы явиться затем основой как для соответствующей общей справочной публикации или специальных публикаций, так и (до ее полного издания) для пособия исследователям, интересующимся слав[янскими] истор[ическими] материалами в ЧСР и чешско-славянскими отношениями.

Не могу касаться здесь материальной стороны дела, зная все ее трудности. Однако расходы на дело зависели бы от того конкретного плана, какой был бы намечен на первое время. Известных расходов требовало бы проведение анкетной акции и устройство картотеки архивов и пр. Вместе с тем было бы весьма важным и незаменимым содействием Слав[янского] Института в смысле получения удешевленных или даровых билетов для посещения тех или иных собраний, в особенности в провинции, требующих непосредственного осмотра членами Комиссии.

19.1.[19]38.

А[нтоний] Ф[лоровский]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пацуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. С. 234–244.
2. Аксенова Е.П. Флоровский Антоний Васильевич // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. М., 1997. С. 650–653.
3. Флоровский А.В. Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений (X–XVIII вв.). Прага, 1935–1947. Т. 1–2
4. Архив РАН. Ф. 1609. Оп. 1. Д. 237. Л. 1–4.



© 2002 г. Т.М. КАЛИНИНА

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДЫ
ПЕРСИДСКОГО ПИСАТЕЛЯ XI в. ГАРДИЗИ О СЛАВЯНАХ*

Гардизи, персоязычный историк, работал в середине XI в. Биографических сведений о нем почти нет; известно только, что родом он был из небольшого местечка недалеко от Газны, расположенного на пути в Индию. Книга Гардизи "Краса повествований" ("Зайн ал-ахбар") была написана при правителе тюркской династии Газневидов 'Абд ар-Рашиде (1049–1053) [1. С. 262; 2]. Сочинение посвящено истории персидских владык и Хорасана от арабского завоевания до 1041 г., летописи жизни Мухаммада и халифов до 1032 г., а также генеалогии, хронологии, религиям разных народов и т.д. В заключительном разделе находится глава о тюрках, включавшая описание восточноевропейских народов¹.

Тюрков, вместе со славянами, легендарными народами Гог и Магог (*Йаджудж и Маджудж*) и населением земель до Китая включительно, Гардизи относил к потомкам Яфета (*Йафис*), сына Ноя (*Нух*), ссылаясь на Ибн ал-Мукаффу (ум. 757). Задолго до Гардизи автор всемирной истории ат-Табари (839–923), со ссылкой на Ибн Исхака (VIII в.), причислял к потомкам Яфета ат-турк и ас-сакалиба, народы йаджудж и маджудж; в другом фрагменте среди "детей" Яфета он называл ал-хазар, ат-турк, ас-сакалиба [4. С. 211, 216–118]. Ал-Йа'куби (IX в.) в своем историческом труде писал, что народы ат-турк и ал-хазар происходили от Маша, а ас-сакалиба – от Джумара, и оба они были сыновьями Яфета; в другом месте своего сочинения он говорил, что Яфету достались такие государства и народы, как ас-Син, ал-Хинд, ас-Синд, ат-турк, ал-хазар, ат-туббат, ал-булгар [5. Р. 13, 17]. Сюжет, аналогичный первому из "Историй" ал-Йа'куби, встречается у ал-Мас'уди (X в.). Он же называл живших "под Козерогом" (т.е. на севере) потомков Яфета, среди которых фигурировали ас-сакалиба, йаджудж и маджудж, ат-турк, ал-хазар [6. Р. 66]. Ибн Кутайба (IX в.) перечислял ас-сакалиба, ат-турк, ал-хазар и народы йаджудж и маджудж как яфетидов

Калинина Татьяна Михайловна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и МО (грант 01–01–85004а/у).

¹ "Каспийским сводом" назвал это собрание сведений о восточноевропейских народах, которое повторяется у самых разных авторов IX–XV вв., Б.Н. Заходер на том основании, что большая часть известий была связана, как полагал ученый, с народами, жившими вокруг Каспия и связанными с восточноевропейским миром через волжскую водную магистраль [3]. Название "Анонимная записка о народах Восточной Европы", впрочем, чаще фигурирует в научной литературе (в работах В.Ф. Минорского, Т. Левицкого и др.).

[7. С. 145]. В произведении "Мухтасар ал-'аджа'иб" к детям Яфета относились, среди прочих, ар-рус, ал-бурджан (болгары), ал-хазар, ат-турк, ас-сакалиба, фурс (персы) [8. С. 196]. Са'ид ибн ал-Батрик (ум. 939) перечислял множество потомков Яфета, среди которых были ат-турк, баджанак (печенеги), ат-тагазгаз (токуз-огузы), ат-туббат (Тибет), йаджудж и маджудж, ал-хазар, народы Кавказа, ар-Рум, ар-рус, ал-булгар, ас-сакалиба [9. С. 53]. Ал-Бакри (XI в.), со ссылкой на Са'ида ибн Мусеййаба (ум. 713/714), а также и в других фрагментах называл потомками Яфета ас-сакалиба, бурджан, "неверных" ал-ишбан (т.е. испанцев-христиан), а также ат-турк, ал-хазар и народы йаджудж и маджудж [10]. В XII в. анонимный персидский историк, автор труда "Муджмал ат-таварих", яфетидами считал тюрков, хазар, русов, булгар, буртасов, сакалиба и другие народы севера и востока Европы, при этом персонифицируя родоначальников – Турка, Чина, Хазара, Руса, Саклаба [11. С. 78].

Но не только библейские версии деления Земли бытовали в арабской литературе: была также очень распространенная персидская традиция, по которой первый владыка Земли Афридун разделил ее так, что восточная часть досталась его потомку – Туджу и была населена народами Китая (*ас-Син*) и тюрками (*ат-турк*) [12]. Писавший по-арабски персидский географ ал-Истахри еще в первой половине X в. отметил: "Сам Китай (*ас-Син*) – это климат (*ал-иклим*). Все страны тюрков (*ал-атрак*) мы относим к нему как к царству (*мамлака*), так же, как название всего царства (*мамлака*) ар-Рум [мы относим] и к земле (*ард*) *Румийа* (т.е. Италии. – Т.К.), и к *Кустантинийи* (т.е. Византинии. – Т.К.), и как все прочие царства (*мамалака*) ислама – к *Ираншахру*, а это земля (*ард*) *Бабила* (Вавилона. – Т.К.)" [13. Р. 10].

Таким образом, помимо сближения народов по генеалогическому признаку (как яфетидов и как афридунидов), у арабов был распространен и взгляд на объединение людских общностей в рамках одного климата (*иклим*)² или царства (*мамлака*) как основ целостности, вне зависимости от расовых или национальных признаков, почему и соединялись вместе народы, совсем не родственные друг другу.

Ссылаясь на Ибн Хордадбега, Гардизи отмечал в предисловии к своему сочинению, что тюрки принадлежали к китайцам. Возможно, как раз здесь Гардизи следует той традиции, что отразилась и в книге ал-Истахри, хотя с картографической и географической традициями ал-Истахри, отмеченной именами их основоположника ал-Балхи и переработчика труда ал-Истахри – Ибн Хаукала, Гардизи не был знаком. Однако возможно, что Ибн Хордадбег и ал-Истахри, хотя и принадлежали к разным научным направлениям, следовали общим представлениям о вхождении народов в определенные "царства".

Гардизи упоминал, что область Туркестана, ввиду отдаленности своего положения, называлась "тюрк" (*ат-турк*). По замечанию В.В. Бартольда, «вероятно, имеется в виду арабский корень *тарака* ("оставлять, покидать")» [14. С. 42. Прим. 3]. Сходную этимологию слова *ат-тюрк* предполагал А. Зайончковский [15. С. 194–201]. Далее Гардизи приступал к описанию отдельных видов тюрков, "как я нашел его в книгах", – писал он: карлуков (*халлух*), кимаков, ягма, киргизов, обитателей Тибета (и дорог туда), жителей Барсханы (и путей к ним), тогуз-гузов (и их маршрутов), Китая (и путей в эту страну); далее речь идет о печенегах, хазарах, буртасах, булгарах, мадьяхах, славянах, русах, стране ас-Сарир, аланах (начиная с печенегов – "Анонимная записка о народах Европы"), области Хайзан (в английском переводе Р. Martinez – *Xaitaq*), джикилях и тюргешах [14. С. 25–62; 16. Р. 153]. Как видно, Гардизи причислил к числу тюрков народы, никак к ним не принадлежавшие, в том числе такие хорошо известные в XI в., как население Тибета, Китая, славян, русов, алан и др.

² В астрономо-географических трудах арабов климатом называлась широтная зона, проходящая с востока на запад или наоборот; однако у географов, придерживавшихся традиции описательной географии, климатом иногда называлась обширная область, округ или даже государство.

Помимо вышеупомянутых традиций объединения разных народов, вне зависимости от их реального этнокультурного облика, существует еще одна причина такого "недо-разумения". Она выясняется из "Книги о животных" персидского врача и ученого Шараф аз-Замана Тахира Марвази (XI – первая четверть XII в.). Марвази передал те же сведения о тюрках, что и Гардизи, используя, видимо, тот же оригинал, но добавив свои данные. В число тюрков он включил, кроме приведенных у Гардизи, северные народы – ису (весь), йура (югра) и неких "жителей приморья". Для Китая Марвази отвел отдельную главу, исключив таким образом эту страну из числа областей тюрков. В конце же раздела о тюрках Марвази, как и Гардизи, написал об использовании всего, что удалось узнать о тюрках из разных книг. Далее, со ссылками на Гиппократ и Галена³, он привел рассуждения о народе *сурмат* (читай: *савромат*) с маленькими глазками и узким их разрезом, жившем в холодной части Европы, и о тюрках, тоже живших на севере, в холодном климате [18. Р. 35]. Хотя в книге Гардизи фрагмента о савроматах нет, но общее сходство главы о тюрках в трудах Гардизи и Марвази заставляет полагать, что оба автора опирались на один первоисточник, в котором обитатели севера и северо-востока Земли, и в том числе тюрки, приравнивались к сарматам античных писателей – жителям холодного севера.

Сюда же относились славяне, строившие, по сведениям "Анонимной записки", землянки для спасения от холода, и другие жители востока, северо-востока и севера ойкумены. Так, церковный историк Агапий Манбиджский описал ее "седьмой климат": "Седьмой климат известен и относим к *Барис Санис* (Борисфену. – Т.К.). Это климат, который населяет народ, называемый по-гречески *йумидис*, т.е. "сонливые". Они народ малосильный, не сноровистый, вследствие чрезмерного сильного холода у них, поскольку недалеко от них – сторона севера и мест, которые необитаемы и ненаселенны. Большая Медведица, из числа созвездий, недалеко от зенита, постоянно вращается над ними. Скот и звери их страны очень малы. Не бывает у их коров и овец рогов из-за сильного холода там. Не встречаются в их стране никакие рептилии. Они не могут и нет у них возможности строить для себя дома. Однако они строят дома из половинок дерева, покрывают их и перевозят на повозках, тащимых быками. Они живут в них и ездят днем и ночью до тех пор, пока не найдут для себя средства, необходимые для жизни, для своей страны и пастбища для своего скота. Они во всей своей судьбе несчастны по причине плохих обстоятельств жизни. Говорят, что когда они заболевают тяжелой болезнью, они сажают больного на повозку, снимают с него одежду мужчины и надевают одежду женщины, и они выздоравливают" [19. Р. 616]. Почти аналогичная, хотя и сильно сокращенная, информация, *но только по отношению к тюркам*, встречается в сочинении Ибн ал-Факиха (903 г.): "Седьмой климат – ат-турк. Их мужчины и женщины имеют вид ат-турк по причине холода. Их звери низки ростом, и нет там ни насекомых, ни пресмыкающихся. Люди живут в домах, которые строят из досок, и переносят их на телегах, запряженных быками. Скот их содержится в пустынных местностях. Детей у них мало" [20. Р. 7]. Ни у Ибн ал-Факиха, ни у Агапия нет материалов о восточноевропейских народах, напоминающих "Анонимную записку", тем не менее очевидно, что варианты рассказа о седьмом климате восходят к одному первоисточнику. Отнесение жителей севера к *тюркам* аналогично уподоблению античных и византийских ученых *скифам* или *сарматам* любых восточноевропейских "варваров", с которыми они знакомились, вне зависимости от их реального этноса.

Объясняя принадлежность славян к тюркам, Гардизи привел несколько легенд. Одна из них – об убийстве византийского посла верховным правителем славян, причем причиной убийства послужило различное происхождение народов – потомков Ноя: румийцев – от Сима, а славян – от Яфета. Вследствие этого происшествия славянин бежал к хакану хазар, но был вынужден покинуть свое убежище при смене хакана, поскольку новый хакан не захотел видеть опального славянина в своих владениях.

³ Книги Гиппократ и Галена были переведены на сирийский и арабский языки в IX в. См.: [17. С. 365].

Тогда тот ушел к одному из хазарских вельмож Башджурту, жившему между владениями хазар и кимаков, но снова вызвал недовольство хазарского хакана. Славянин был вынужден отправиться еще восточнее, и в некоем месте, между владениями кимаков и тогузгузов (так арабы называли уйгур), к нему стала прибиваться часть тогузгузов, у которых в это время случилась междоусобица; славянский владыка сдружился с Башджуртом и вместе с ним напал на гузов, которых разграбил, а часть пленил, затем выгодно продав пленников. И вот этот бывший владыка славян, по информации Гардизи, назвал тех, кто объединился вокруг него, именем "киргиз"; затем к нему присоединилась часть его соплеменников-славян, и в результате смешения народ киргизов получил голубые глаза и светлые волосы [14. С. 29, 47].

Исследователи, касавшиеся этих известий, приводили сведения китайских источников о европеоидном облике киргизов [14. С. 47. Прим. 27; 21]. О. Караев, занимавшийся сведениями арабо-персидских источниках о киргизах, не уделял фрагменту особого внимания, отметив только, на основании других данных Гардизи о расселении тюркских народов, что в конкретном случае информация относится к енисейским киргизам и событиям середины X в. [22. С. 26–27, 49–50]. Вообще вопрос этногенеза киргизов непрост и, кажется, еще далек от разрешения [23. С. 75–83], однако, пожалуй, только Й. Маркварт некогда счел возможным усмотреть в рассказе Гардизи какие-то данные о передвижении народов с запада на восток [24. S. 67], что в целом не подтверждается источниками, как и какие бы то ни было славянские корни киргизов. К. Цегледи отметил этиологические – предназначенные объяснить внешний облик народа, и этимологические – долженствующие растолковать происхождение слова *саклаб*, корни легенды [25. P. 261], полностью следуя в этом В.В. Бартольд (см. сн. 33). Однако если К. Цегледи, на основании разных данных о тюрках Гардизи, относил его сведения к 746–780 гг., то О. Караев давал более широкий временной диапазон событий, связанных с информацией Гардизи о тюрках Средней и Центральной Азии – с VIII по X вв. [22. С. 49].

Описанная Гардизи причина ссоры – убийство неким славянским владыкой византийского посла из-за принадлежности их народов к разным потомкам Ноя – является для восточного писателя весьма существенной, вне зависимости от того, реальной ли была причина ссоры: в глазах арабо-персидских ученых самыми благочестивыми и мудрыми народами являлись потомки Сима, к которым принадлежали и они сами, и те, кто веровал в единого Бога. Это обстоятельство не исключает, однако, каких-то действительных событий. Дальнейшие передвижения славянского владыки – к хазарам, мадьярам (башджуртам) и среднеазиатским народам – могут означать общую осведомленность автора об их близком существовании и политических взаимоотношениях. Во всяком случае, о торговых связях между Византией и Тюркским каганатом, сопровождавшихся дипломатическими посольствами, начиная с VI в., было известно из византийских и сирийских источников [26. С. 272–308]. Между прочим, именно один из византийцев, Менандр Протектор, рассказывавший об обмене посольствами между Византией и тюрками, поведал также и об убийстве посла антов Мезамера аvaraми около 560 г. [27. P. 443]. Возможно, отголоски каких-то подобных сведений, известных и сирийским авторам, информация книг которых стала позднее основой некоторых арабских трудов, отразилась в материалах Гардизи.

Часть Великого Шелкового пути, проходившая по землям Византии, Черноморского побережья, Северного Кавказа, Нижнего Поволжья в Среднюю Азию активно функционировала с конца VIII – начала IX в. [28]. Ответвлением этого пути была дорога через хазарскую крепость Саркел на берегу нижнего Дона, выстроенную как торговый перевалочный пункт на скрещении сухопутных дорог и ставшую торгово-ремесленным центром на пересечении и водных путей с Азова на Волгу и обратно [29]. Таким образом, какие-то известия об отношениях представителей восточно-европейских народов, располагавшихся между Византией и Средней Азией, вполне могли стать основой для информации Гардизи.

Вторая легенда рассказывает о предке-эпониме славян: согласно Гардизи, автор VIII в. Ибн ал-Мукаффа' отмечал: "Имя их (саклабов. – Т.К.) находится в связи со словом *saḡ* ("собака"), так как они были выкормлены собачьим молоком" [14. С. 29, 46]; собака же принадлежала Яфету. В.В. Бартольд связывал эту легенду с персидской этимологией слова *саклаб*: *сек* – "собака", *леб* – губа" [30. С. 871]. Отметим в этой связи, что средневековые ученые, принадлежавшие совсем различным культурным ареалам, довольно рано стали "доискиваться" расшифровки значения этнонима *саклаб*, *склав*. Еще византийские авторы Агафий Миринейский (около 530 – около 582) и Иоанн Малала (конец V – 70-е годы VI в.) первыми употребили вместо термина *Σκλαβηνός/ηνῶν* (< *slovene) – слова *Σκλάβοι* (*Σκλάβοι*); впоследствии, начиная с Маврикия (вторая половина VI – VII в.), слово *Σκλάβοι* стало встречаться достаточно часто [31. С. 309–310. Прим. 18.1, 18.2]. И позднее, например, в одной из речей патриарха Фотия, имеются слова о русах как о "народе, среди рабов поставленных", – фраза, которую Г.Г. Литаврин рассматривает как одну из попыток этимологической интерпретации этнонима *славяне* – лат. *sclavi* [32. С. 59]. Заметим в связи с этим, что персидская этимология осталась маргинальной и не приобрела распространения, в отличие от византийско-латинской.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Крачковский И.Ю.* Арабская географическая литература // *Крачковский И.Ю.* Избранные соч. М.; Л. 1959. Т. 4.
2. *Chwitkowska E.* Wiadomosci perskiego pisarza Gardiziego (XI w.) o ludach wschodniej i środkowej Europy // *Slavia Antiqua. Poznań*, 1978(9). Т. 25.
3. *Заходер Б.Н.* Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX–X вв. М., 1963–1967. Т. I–II.
4. *Annales quos scripsit Abu Dʒafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari.* Leiden, 1879. Т. I.
5. *Ibn Wadhīh qui dicitur al-Jaʿqubi* Historiae. Leiden, 1883. Т. I.
6. *Maḡūdī.* Les Prairies d'or. Paris, 1861–1863. Т. I. P. 78–79; Т. III.
7. *Lewicki T.* Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. Wrocław etc., 1956. Т. I.
8. *Крюков В.Г.* Сообщения анонимного автора "Ахбар аз-заман" ("Мухтасар ал-'Аджаиб") о народах Европы // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1981. М., 1983.
9. *Seippel A.* Rerum normannicarum fontes arabici. Christianae, 1896.
10. *Kitab al-Masalik wa-l-Mamalik d'Abu Ubaid al-Bakri.* Tunis, 1992. Т. I. P. 87–88 (текст); *Куник А.А., Розен В.Р.* Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах. СПб, 1878. Ч. I. С. 18 (перевод).
11. *Новосельцев А.П.* Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990.
12. *Ибн Хордадбех.* Книга путей и стран / Пер. Н. Велихановой. Баку, 1986. С. 60; *Kitab at-tanbih wa'l-ischraf auctore al-Masūdi.* Leiden, 1894. P. 37 (араб. текст); *Аль-Бируни Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад.* Памятники минувших поколений // *Аль-Бируни Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад.* Избранные произведения. М., 1957. Т. I. С. 3 (перевод); *Аль-Бируни Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад.* Книга вразумления начаткам науки о звездах // *Аль-Бируни Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад.* Избранные произведения. М., 1975. Т. VI. С. 113 (перевод).
13. *Viae regnorum. Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri.* Leiden, 1870.
14. *Бартольд В.В.* (Извлечение из сочинения Гардизи "Зайн ал-ахбар"). Приложение к "Отчету о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893–1894 гг." // *Бартольд В.В.* Сочинения. М., 1973. Т. VIII.
15. *Зайончковский А.* Старейшие арабские хадисы о тюрках (VIII–XI вв.) // Тюркологический сборник. К 60-летию А.Н. Кононова. М., 1966.
16. *Martinez P.* Gardizi on the Turks // *Archivum Eurasiae Medii Aevi.* 1982. Т. II.

17. *Пигулевская Н.В.* Имя "Рус" в сирийском источнике // *Пигулевская Н.В.* Сирийская средневековая историография. СПб., 2000.
18. *Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi* on China, the Turks and India. London, 1942.
19. *Agapius (Mahboub) de Menbidg.* Histoire Universelle // *Patrologia Orientalis.* Paris, 1912. Vol. VIII / A. Vasiliev.
20. Compendium libri Kitab al-Boldan auctore *Ibn al-Fakih al-Hamadani.* Leiden, 1885.
21. *Бартольд В.В.* Киргизы. Исторический очерк. // *Бартольд В.В.* Сочинения. М., 1963. Т. II. Ч. I. С. 480; *Бартольд В.В.* Двенадцать лекций по истории турецких народов // М., 1968. Т. V. С. 41; *Бичурин И.Я.* Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950. С. 351; *Кюннер Н.В.* Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961. С. 55.
22. *Караев О.* Арабские и персидские источники IX–X вв. о киргизах и Киргизии. Фрунзе, 1968.
23. *Худяков Ю.С.* Проблемы истории древних киргизов // *Этнографическое обозрение.* М., 2001. № 5.
24. *Marquart J.* Über das Volkstum der Komanen. Berlin, 1914.
25. *Czeglédy K.* Gardizi on the History of Central Asia (746–780) // *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae.* Budapest, 1973. Т. XXVII. Fasc. 3.
26. *Пигулевская Н.В.* Сирийские источники по истории народов СССР // *Пигулевская Н.В.* Сирийская средневековая историография. СПб., 2000.
27. *Menandr Protector.* Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti. Excerpta de legationibus / C. de Boor. Berolini, 1903.
28. *Иерусалимская А.А.* "Великий Шелковый путь" и Кавказ. Л., 1972.
29. *Плетнева С.А.* Саркел и Шелковый путь. Воронеж, 1996. С. 142–158; *Плетнева С.А.* Очерки хазарской археологии. М.; Иерусалим, 1999. С. 100.
30. *Бартольд В.В.* Славяне // *Бартольд В.В.* Сочинения. М., 1963. Т. II. Ч. 1.
31. Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1991. Т. I. I–VI вв.
32. *Литаврин Г.Г.* Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XI в.). СПб., 2000.



© 2002 г. Г.И. КОРОЛЕВ

ИЗУЧЕНИЕ ГЕРБОВЫХ ГРАМОТ В ВЕНГЕРСКОЙ, СЛОВАЦКОЙ И ЧЕШСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ*

Триста с лишним лет назад возникла вспомогательная историческая дисциплина дипломатика. Начав с распознавания подлинности и подложности грамот, она в дальнейшем расширила круг своих интересов. Ныне дипломатика занимается не только грамотами, оценивает не только подлинность документов, но и их общественную функцию. В ряде европейских стран исследования по дипломатике отличаются активностью. О развитии дисциплины за рубежом свидетельствуют регулярно проводимые международные конгрессы по дипломатике, тематика которых в большой мере отражает современную проблематику (о вопросах и видах источников, исследуемых зарубежными дипломатистами, см.: [1]). Дипломатика сохраняет свою изначальную связь с работами по изданию актов. Поэтому ее проблемы затрагиваются в трудах по актовой археографии (сведения об общих для зарубежной археографии и дипломатики проблемах см.: [2; 3]).

Одной из множества разновидностей актов являются гербовые грамоты. Из них можно извлечь сведения для исследований по дипломатике, геральдике, сфрагистике, социальной и местной истории, истории права, биографике, просопографии и по некоторым другим разделам исторической науки. Большинство вопросов, которые в источниковедении, археографии и дипломатике ставятся по отношению ко всей категории актов, можно задать и о документах на гербы.

Историография исследований о гербовых грамотах в Венгрии, Словакии и Чехии весьма невелика. Гербовед Т. Крейчик сделал краткий обзор части чешской и словацкой проблематики [4]. В статье по геральдической археографии [3] я привел отдельные сведения по теме. Крейчик называет гербовой грамотой, во-первых, всякий документ, который оформлял пожалование, подтверждение или улучшение герба, и, во-вторых, акт, единственным или основным содержанием которого было юридическое действие в отношении герба [5]. Споров по поводу такого понимания термина нет. В том же значении термин употребляется и в настоящей статье. Добавлю лишь более краткое объяснение: гербовая грамота – это документ, оформлявший право на герб только или вместе с другими правами.

Разноплановые классификации конкретизируют представление о гербовых грамотах. В сборнике грамот по истории Шаришской области в Словакии, изданном в 1780 г., К. Вагнер поместил гербовые грамоты среди актов, касающихся всей области (ч. 1), городов (ч. 3 и 5) и дворян (ч. 6) [6], т.е. сгруппировал документы по их

Королев Геннадий Иванович – д-р ист. наук, профессор (Москва).

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 99-01-00306а).

получателям. В 1817 г. Й. Ковачич выпустил книгу о видах документов. Гербовые грамоты упомянуты во второй ее главе, посвященной категориям частных лиц, получавших документы, и в пятой главе – среди характеристик некоторых разновидностей актов. Документы на гербы отнесены к жалованным грамотам [7].

В новейшее время даны более разносторонние объяснения места гербовых грамот в актовом материале. Д. Леготская разделила акты на шесть групп. К первой она отнесла жалованные грамоты, свидетельствующие о даровании имущества и о пожаловании достоинств и прав. Грамоты на гербы дворянам, областям, свободным королевским городам и горожанам причислены к документам о пожаловании достоинств [8. S. 135–136]. Й. Новак назвал три основания для классификации гербовых грамот: по юридическим действиям (пожалование, подтверждение, улучшение), по получателям (лицо, род, группа семей) и по основной структуре документа (только описание герба; описание и изображение; только изображение) [9. S. 108–109]. И. Борша ограничился отнесением гербовых грамот к жалованным грамотам в целом [10].

Иногда классификации сводятся к отдельным замечаниям, вроде того, что существует "специальный тип документов" – грамоты на гербы и дворянство [11. 174. old.] или что гербовые грамоты – это одна из трех разновидностей украшенных миниатюрами актов эпохи Возрождения [12. S. 213]. Частным случаем является разделение копий чешских гербовых грамот на записи в официальном регистре, видимусы и простые списки [13. S. 19]. Это классификация документов по сохранности или, с точки зрения текстологии, – по источникам текста.

Группировки гербовых грамот по получателям совпадают с обычной в геральдике классификацией гербов по их владельцам. Использование гербовых грамот в научных трудах уже имеет некоторую традицию. Небольшое количество грамот опубликовал М. Бел на страницах своего обширного описания областей Венгерского королевства, частично изданного в 1735–1742 гг. [14]. Например, в материал по Турчанской области в Словакии им включены две гербовые грамоты, пожалованные области и местному "знаменитому" роду Реваи [15. S. 41–42, 44–45]. Публикация гербовых грамот в труде Бела отвечает его программе изучения "древней и новой Венгрии", напечатанной в 1723 г. Описание "новой Венгрии" должно было содержать основанные на документах данные по генеалогии и геральдике [16]. Обе "турчанские" грамоты, выданные в 1521 и 1709 гг., имели юридическую силу и еще не стали историческими памятниками. Такой же характер носила опубликованная Г. Добнером грамота об улучшении герба магнатов Вальдштейнов, фиксирующая существование родового знака в 1621 г. Грамота вошла в "центурию" документов по истории рода Вальдштейнов, составившую раздел "Исторических памятников Чехии" [17. P. 338–342]. В большом количестве гербовые грамоты представлены в сборнике документов по истории Шаришской области, составленном К. Вагнером. Из 340 актов 13 – это грамоты на гербы, выданные в 1405–1615 гг.

В составе собраний актов гербовые грамоты публиковались и в XIX–XX вв., например, в общевенгерском дипломатари Д. Фейера и в сборнике по истории чешского городского права, основанном Я. Челаковским [18]. В сборнике гербов и печатей Южной Моравии документы, написанные на чешском языке, включены в текст статей, предваряющих описания гербов, а немецкие и латинские грамоты приведены в примечаниях [19]. Можно было бы назвать и другие труды, содержащие тексты гербовых грамот. Все это, однако, не специальные издания источников по гербоведению.

Развитие геральдики как научной дисциплины с середины XIX в. создавало предпосылки к целенаправленному выявлению, изданию и исследованию источников, в том числе гербовых грамот. Одним из свидетельств об эвристических интересах XIX в. являются неопубликованные работы венгерского историка Й. Подградского, который собирал источники по истории свободных королевских городов и, в частности, составил регестарий грамот на городские гербы [20. S. 173–174]. В 1885 г. на съезде венгерских историков Л. Фейерпатаки изложил программу издания корпусов

печатей, гербов и факсимиле грамот [21]. При осуществлении этой программы в поле зрения публикаторов неизбежно попадали бы и гербовые грамоты. С 1883 г. в Будапеште выходил генеалогическо-геральдический журнал "Turul", в котором было опубликовано множество главным образом небольших статей о гербовых грамотах дворянам и городам. Главной ценностью этих работ являются информация о документах и публикация отдельных грамот и групп актов. Так, в 1887 г. в критическом и факсимильном воспроизведении была опубликована одна из трех старейших в Венгрии грамот на частные гербы (1332) [22. 158. old.]. Некоторые статьи журнала включают перечни гербовых грамот. Например, Й. Чома опубликовал описание 54 грамот и перечень 175 актов 1405–1526 гг. [23].

Сведения о гербовых грамотах печатались не только в "Turul". Упомяну недоступные мне перечень грамот, составленных до 1526 г., в книге М. Коларжа и А. Седлачека "Чешско-моравская геральдика" 1902 г. и изданный в 1909–1910 гг. в Кошицах справочник о грамотах, хранившихся в ведомственных архивах [4. S. 145; 24. S. 246]. На первую четверть XX в. приходится другое недоступное мне издание – специальный сборник гербовых документов – "Памятники венгерской геральдики", один выпуск которого подготовил Фейерпатаки, а два других – А. Алдаши из Венгерского национального музея. Алдаши был инициатором и издателем первого и второго томов собрания гербовых грамот, хранившихся в Венгерском национальном музее [25]. Это восьмитомное издание представляет одновременно каталог и публикацию документов в аннотациях. Учтены документы 1092–1909 гг. Документ 1092 г. и несколько других грамот до первой четверти XIV в. являются подделками.

С точки зрения организации эвристической работы весьма интересен опыт выявления источников по городской геральдике, проведенного в чешских государственных архивах всех уровней в 1966–1968 гг. Тогда была учтена практически вся масса гербовых грамот городам [26].

Во второй половине XX в. информация о гербовых грамотах публиковалась в разных формах: в виде книжного каталога актов о гербах одного архива [27], перечня документов, напечатанного в краеведческом журнале [28], тематической архивоведческой статьи [29] и т.д. В перечне средневековых (по 1526 г.) документов, написанных на чешском языке, учтены и грамоты на городские гербы, печати и воск для печатей [30].

Частью эвристической работы является установление несохранившихся документов. От результатов таких изысканий, в частности, зависит представление о репрезентативности современной совокупности источников. Гербоведы отметили утрату отдельных документов, происшедшую как в давнее, так и в новейшее время [31. S. 198; 32. S. 191; 33. S. 118]. И. Главачек высказал общее соображение о малом количестве сохранившихся гербовых грамот городам. Он полагает, что дело не в большой утрате документов, а в редкости пожалований гербов городам в XIV – начале XV в. [34. S. 51]. Вывод Главачека близок мнению австрийского историка Г. Егер-Зунштенау о малом количестве пожалований гербов по грамотам в Священной Римской империи до конца XIV в. [35. S. 22].

Многотомный венгерский каталог грамот, изданный в 1904–1942 гг., не дает полных текстов. В 1997 г. в свет вышел сборник гербовых грамот, извлеченных из Городского архива Праги [36]. В нем увидели свет полные тексты грамот "пражским городам", цехам и частным лицам. Чаще всего, однако, гербовые грамоты публикуются в исторических трудах разных профилей лишь как иллюстрации. В книге Й. Новака о городских и общинных гербах Словакии помещено черно-белое воспроизведение грамоты 1369 г. на герб городу Кошице, которое можно прочесть и, следовательно, использовать как источник. На снимках двух грамот 1436 г. Братиславе тексты не читаются и дают только некоторое представление о почерках и других внешних чертах документов [37. Tab. V, X]. Только иллюстрациями являются и читаемые, и нечитаемые цветные и черно-белые факсимиле 13 гербовых грамот в представительном труде об архивах Словакии [38].

Если грамота несет текст, изображение герба и печать, то только воспроизведение всех ее частей является полной публикацией документа. Сильно уменьшенный снимок всей грамоты, текст которой нельзя прочесть, полной публикацией не назовешь. Ближе всего к полной научной публикации гербовых грамот находится сборник пражского городского архива. Тексты, переданные критическим способом, и снимки гербов образуют два раздела этого сборника. Нет, однако, репродукций печатей. Публикуются и одни только гербовые миниатюры, служащие главным образом иллюстрациями в гербоведческих и других трудах. Например, в первом томе работы Новака о словацких родовых гербах по сфрагистическим источникам опубликовано десять цветных снимков миниатюр с грамот 1557–1708 гг. [31]. В 1948–1949 гг. Ф. Звольский подал пример издания специального сборника факсимиле миниатюр с гербовых грамот. Эта незаконченная работа представляет комплект несброшюрованных листов со снимками 80 чешских городских гербов XV – начала XX в. [39]. Другой вариант публикации – сборник ста цветных снимков и множества новейших зарисовок гербов с грамот XV – начала XX в. Материал сборника обширен, но предназначен главным образом для популяризации геральдических актовых источников в собрании Венгерского государственного архива [40]. Современные описания гербов лишь парафразируют соответствующие части текстов грамот. До полной публикации, хотя бы только городских, гербовых грамот еще далеко.

Гербовые грамоты принадлежат к главным, наряду с печатями, источникам по истории геральдики. Изучение их ведется по нескольким направлениям. В 50–70-е годы XX в. в научной печати активно выступал Д. Радочай, который исследовал венгерские и австрийские гербовые грамоты как памятники истории искусства (наряду с другими иллюминированными документами). Тексты грамот для Радочая были в основном источниками сведений о жалователях и получателях грамот, датах и местах составления документов. Задачей его исследования являлось установление личностей художников, писавших гербовые миниатюры, и оценки художественных качеств изображений в сопоставлении с рисунками в рукописных книгах. В заглавиях некоторых работ Радочая определил стили актовых геральдической миниатюристики – "готика", "Возрождение" [41] и др. Многочисленные снимки гербов не только иллюстрируют, но и подтверждают выводы ученого о стилях художественных школ. Работы Радочая важны и в эвристическом отношении, поскольку содержат перечни грамот. Только в статье о готическом стиле венгерских гербовых миниатюр учтено и описано 138 документов [42].

Радочай пришел к мнению об отсутствии в венгерской королевской канцелярии XV–XVI вв. штатных художников и о связи гербовой миниатюры с местными художественными школами. Этот вывод высоко оценил Л. Янкович, занимавшийся гербовыми грамотами, касающимися Словакии [33. S. 115]. И. Главачек нашел, что постоянных художников не было и в канцелярии Вацлава IV и что между местом выдачи грамот и локальной художественной школой существовала связь [43]. Сравнительный анализ рукописных книг и гербовых грамот XV в. привел А. Гюнтерову и Я. Мишняника к выводу о писании книжных и актовых миниатюр художниками из одних и тех же местных кругов. В ряде случаев они доказывали авторство рисунка в книге и на грамоте одного живописца [44].

Искусствоведческие исследования гербовых грамот принадлежат в первую очередь к истории искусства, но вместе с тем они относятся и к сфере источниковедения и дипломатики. Изыскания о гербовых миниатюрах на грамотах раскрывают одну из сторон создания актов, а именно художественное выражение формулы описания гербов. Иногда исследователи затрагивают такую деталь, как последовательность нанесения текста и изображения на лист документа. Один такой случай разбирает Й. Новак. Он напомнил, что некоторые гербоведы XIX – первой половины XX в. полагали, будто бы на грамоте, даровавшей герб Прешову, изображение знака было, а другие данный факт отрицали. Разногласие между учеными рассматривалось в "Tutul" еще в 1911 г. По мнению Новака, миниатюра была нарисована на грамоте

в конце XIX в. [37. S. 53–54; 293–294; Tab. XII]. Фальсификация стала возможна из-за того, что на грамоте было оставлено свободное место для изображения герба, которое по какой-то причине осталось незаполненным.

В небольшой статье И. Чарека вопрос об изображении герба на грамоте приобрел в известной мере характер проблемы отражения в утвержденном знаке геральдической действительности. Чарек изучил грамоту на герб городу Жебраку 1674 г. Сравнив изображение на грамоте с городской печатью 1418 г., гербовед установил, что утвержденный в XVII в. знак основан на эмблеме на печати XV в. Тем самым была доказана традиция употребления эмблемы с этого столетия, в противовес мнениям об изменении герба в XVII в. [45]. По сравнению с местом, которое в дипломатике занимают вопросы о происхождении и начале употребления акта, подобная проблема в сфере изучения гербовых грамот малозаметна. В Священной Римской империи и Венгерском королевстве гербовая грамота появилась в первой трети XIV в. [35. S. 20–22; 9. S. 108], т.е. в период развитой деятельности канцелярий и во времена, когда гербы были уже неотъемлемой частью феодальной культуры. Документирование все более охватывало различные жизни общества. Гербовая грамота была лишь одной из новых разновидностей актов.

Некоторой самостоятельностью отличается вопрос о появлении гербовых грамот городам, затрагиваемый, впрочем, в рамках проблемы заведения городских гербов в Чехии. В. Войтишек утверждал, что городские гербы появились в эпоху гуситских войн, когда города стали военно-политической силой и обладателями широких свобод. В этот период короли стали давать гербовые грамоты вновь основанным городам [46]. Р. Новый также писал о XV в. как времени, когда признание герба, выражавшего "определенный вид свободы в феодальном смысле слова", находилось в компетенции государя. Однако он доказывал существование гербов и в догуситский период, когда согласие государя на создание герба не требовалось [47]. Таким образом, по Войтишеку, гербы и грамоты на них появились в один и тот же период, а по Новому – одновременно. Оба автора связывали историю возникновения подобного типа гербовых грамот со степенью развития городов. Точку зрения Нового поддержал И. Чарек, подсчитавший, что в догуситский период гербы завели, не получая грамот, пятнадцать, а "может быть", двадцать два чешских города. По мнению Чарека, короли стали выдавать гербовые грамоты, чтобы показать свое могущество. Как старейшую чешскую грамоту Чарек упоминает акт, выданный городу Славкову в 1416 г. [13. S. 28–32].

Чешские историки выявили некоторые конкретные поводы пожалования гербов по грамотам, как-то: заинтересованность магнатов в получении различных прав и льгот принадлежавшими им городами и местечками [48. S. 19–20], поддержка короля в борьбе с магнатами и др. Изменение статуса и прав города отражалось на содержании и ранге документа, фиксировавшего право на герб. Известен, например, случай с городом Яхимовым, в 1546 г. получившим герб в связи с переводом его из частного владения в королевские города [32. S. 237, 92]. В принципе повод для пожалования герба являлся и поводом выдачи гербовой грамоты. Ф. Макшаи описал довольно специфический случай – массовую раздачу дворянства и гербов в Венгрии и Трансильвании в последней четверти XVI–XVIII в. Выдача гербовых грамот нобилитированным гайдукам, солдатам-крестьянам и другим лицам была вызвана военно-политической потребностью государства [49. P. 23–24]. Интенсивность выдачи грамот можно показать статистически. И. Шенк суммировал герботворческую активность с помощью таблицы выдачи гербовых документов чешским горнозаводским городам на протяжении нескольких веков [50].

Важное место в дипломатике занимает исследование канцелярий, однако их деятельность как мест создания гербовых грамот специально не разрабатывается. Выявляются отдельные подробности процедуры подготовки гербовых грамот, как-то: увязывание прав на дворянство с правом на герб, учитывавшееся чешской канцелярией Габсбургов в XVI в. [51. S. 1], запись гербовых грамот в королевский регистр

для учета оформленных прав, обеспечения сохранности и защиты документов от подделок [48. S. 20; 9. S. 110], составление гербовой грамоты Братиславе в двух экземплярах [37. S. 115–116] и т.п. К изучению деталей процедуры относится и установление связей между документами [52].

Гербовые грамоты составлялись преимущественно в форме жалованных грамот, и поэтому изучение разновидностей геральдических актов сводится в основном к анализу отклонений от обычая. Один такой случай разобрал Й. Новак. Занимаясь старейшей в Европе грамотой на городской герб – документом, данным городу Копице в 1369 г., ученый отметил ту особенность, что, в отличие от обычая фиксировать права и преимущества жалованной грамотой, документ на кошицкий герб был составлен в форме патента. Выбор формы Новак объяснил отсутствием практики выдачи гербовых грамот городам в XIV в., а также предоставлением права изображения герба только на малой городской печати [37. S. 40–42]. В самой общей форме о гербовых грамотах – патентах писала Д. Леготская [8. S. 134].

Самым специфическим для дипломатики объектом изучения является формуляр документа. В литературе упоминается работа 1939 г. о формуляре документов, составлявшихся в канцелярии Карла IV [53]. В последнее время опубликован ряд общих оценок формуляра гербовых грамот. Д. Леготская считала, что типовой формуляр гербовой грамоты – это типовой формуляр жалованной грамоты. По ее же мнению, в раннее Новое время сохранялась торжественность некоторых оборотов, введенная венгерской королевской канцелярией в XIII–XIV вв. [8. S. 136, 244]. В докладе, сделанном в 1988 г. на конференции по городской геральдике, П. Кота утверждал, что формуляр гербовых грамот XVI–XIX вв. характеризуется как известным развитием, так и приверженностью к стандартным оборотам, унаследованным от позднего средневековья [54].

Специальный анализ всех частей одной гербовой грамоты 1498 г., выполненный И. Боршей, показывает, что, во-первых, формуляр данного документа не отличается от типового формуляра жалованной грамоты, а во-вторых, не все формуляры специфичны по содержанию [55]. Борша отметил, но не объяснил употребление в данной грамоте краткого королевского титула, употреблявшегося обычно в документах, выдержанных не в торжественной форме, и подробно разобрал содержание диспозиции, представляющей описание герба. Работа Борши интересна как пример специального разбора формуляра гербовой грамоты и, вместе с тем, как редкий случай формулярного анализа в гербоведческой дипломатике. Чаще же гербоведческая дипломатика заключается в оценках формул при исследовании конкретных гербов. Так, И. Чарек обратил внимание на употребление в некоторых грамотах, выданных после Рудольфа II в XVII в., таких оборотов, из которых не явствует, что гербы не жалуются, а только подтверждаются [13. S. 32]. Одно выражение в пять слов в грамоте 1326 г. И. Бертеньи трактует как заявление о пожаловании нашлемника, а не всего герба [56. 24. old.].

Описание герба является наиболее специфической формулой гербовой грамоты, используемой преимущественно для извлечения конкретных сведений об эмблемах П. Кота поставил вопрос об изучении геральдического языка по описательным формулам гербовых грамот. Постановка такого вопроса необходима, поскольку работ по истории геральдической терминологии и способов описания гербов пока нет. Одной из сторон геральдической текстологии, а именно последовательности описания, коснулся Борша в статье о грамоте 1498 г. По данным Чарека, в копиях гербовых грамот сохранены даты и "более или менее" точное и надежное описание гербов, хотя и без отдельных подробностей [13. S. 19]. Из текста работы Чарека не ясно, копировщики ли опустили подробности или подробностей изначально не было в оригиналах. Из отечественных и иностранных материалов известно, что в подлинных описаниях некоторые детали гербов не указывались. Для гербоведа отсутствие подробностей, особенно если нет изображения знака, есть недостаток информации о гербе, для дипломатиста степень полноты описания есть качество одного из элементов формуляра.

Интерес гербоведа к деталям герба и внимание дипломатиста к качеству описательной формулы соединяются в сравнительном исследовании текста и миниатюры. В сборнике грамот Пражского городского архива результаты сравнения изображения с данными описаний приведены в примечаниях к документам. Иногда термины документов возбуждают вопросы об их значении, как в случае с оборотом "герб, или печать", истолкованным в качестве свидетельства об отождествлении герба с печатью на ранней стадии городской геральдики [57. S. 431].

Основными объектами изучения служат гербовые грамоты XIV–XVII вв. Их изучают в разных отношениях, но, за некоторыми исключениями, фрагментарно, не специально. Гербовые грамоты практически не создают проблем датировки, атрибуции и подлинности в отличие от многих иных средневековых документов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Каушанов С.М.* IV Международный конгресс по дипломатике // Археографический ежегодник за 1973 год. М., 1974; *Каушанов С.М.* Современные проблемы европейской дипломатике // Археографический ежегодник за 1982 год. М., 1982; *Каушанов С.М.* Документация европейских городов периода позднего средневековья (IX Международный конгресс по дипломатике) // Археографический ежегодник за 1999 год. М., 2000; *Королев Г.И.* Современные исследования по дипломатике в Чехословакии // Актовое источниковедение: Сб. статей. М., 1979.
2. *Каушанов С.М.* Современные принципы издания латинских грамот // Археографический ежегодник за 1983 год. М., 1984 – Археографический ежегодник за 1987 год. М., 1988.
3. *Королев Г.И.* Публикация памятников геральдики за рубежом // Гербовед. 1997. № 11 (23).
4. *Krejčík T.* K studiu erbových listín // Archivní časopis. 1977. Č. 3.
5. *Krejčík T.* Metodologický príspevok k využitiu erbových listín jako historického pramene // Slovenská archivistika. 1984. Č. 1.
6. *Diplomatarium comitatus Sarosiensis, quod ex tabulariis et codicibus manuscriptis eruit C. Wagner.* Posonii; Cassoviae, 1780.
7. *Kovachich J.N.* *Epicrisis documentorum diplomaticorum seu de valore instrumentorum literalium.* Pestini, 1817.
8. *Lehotská D.* *Průručka diplomatiky.* Bratislava, 1972.
9. *Žudel J., Novák J.* *Průručka diplomatiky, sfragistiky a heraldiky.* Bratislava, 1956.
10. *Borsa I.* Irattípusok a középkori Magyarországon // *Levéltári Közlemények.* 1993. 1–2. Sz.
11. *Nyulásziné-Straub É.* Utmutató a genealógiai és családtörténeti kutatáshoz a Magyar Országos Levéltárban // *Levéltári Közlemények.* 1995. Sz. 1–2.
12. *Radocsay D.* *Illuminierte Renaissance-Urkunden* // *Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae.* 1967. Fasc. 1–3.
13. *Čarek J.* *Městské erby v českých zemích.* Praha, 1985.
14. *Belius M.* *Notitia Hungariae novae historico-geographicae.* Viennae, 1735–1742. T. 1–4.
15. *Bel M.* *Turčianská stolica.* B.m., 1989.
16. *Belius M.* *Hungariae antiquae et novae prodromus.* Norimbergae, 1723.
17. *Monumenta historica Boemiae* // *Nunquam antehuc ed. ...G. Dobner.* Praegae, 1764. T. 1.
18. *Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis* // *Studio et opera G. Féjer.* Budaë, 1829–1844. T. 1–42; *Codex iuris municipalis regni Bohemiae = Sbíрка pramenů práva městského království českého.* Praha, 1886–1961. D. 1–4.
19. *Znaky a pečetej jihomoravských měst a městeček.* Brno, 1979.
20. *Novák J.* *Vznik mestských erbov na Slovensku* // *Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.* Historica. 1963. Č. 14.
21. *Fejérpataky L.* *A történelem segedtudományai s különösen az oklevéltan hazánkban* // *A Magyar Történelmi Társulat 1885. jul 3–6. napjain Budapesten tartott Congressusának irományai.* Budapest, 1885.
22. *Majláth B.* *A Kolos család czimeres levele 1332-ből* // *Turul.* 1887. 5. köt.
23. *Csoma J.* *Mohácsi részlelti czimerlevelek nyomai* // *Turul.* 1906. 24. köt.
24. *Nyulászi-Straub É.* *Genealogie und Heraldik in Ungarn* // *Archivum.* 1992. Vol. 37.

25. *Áldásy A.* A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei. Budapest, 1904–1923. 1–2. köt.; A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei / Leírta Áldásy A. sajtó alá rendezte Csobor A. Budapest, 1937–1942. 3–8. köt.
26. *Čarek J.* K soupisu znakových privilegií a znaků našich měst // Archivní časopis. 1968. Č. 3–4.
27. A Magyar Országos Levéltárban őrzött eredeti címereslevelek jegyzéke. Budapest, 1981.
28. *Tompos E.* Sopronban őrzött címeres levelek // Soproni Szemle. 1972. 3. sz.
29. *Nyulászsiné-Straub É.* Komitats = und Stadtwappen in Ungarischen Staatsarchiv // Acta contionis heraldicae municipalis hodiernae anno 1988° in oppida Keszthely habitae. Keszthely, 1990.
30. Soupis český psaných listin a listů do roku 1526. Praha, 1974–1980. D. 1. Sv. 1–3.
31. *Novák J.* Rodové erby na Slovensku. Bratislava, 1980. Sv. 1.
32. *Pelant J.* Znaky a pečeti západočeských měst a městeček. Plzeň, 1985.
33. *Jankovič L.* Umelecko-historický rozbor armálesov 15–19. storočia: Typológia a analýza miniatúr armálesov bratislavskej zbierky // Slovenská archivistika. 1987. Č. 2.
34. *Hlaváček I.* K počátkům městských erbů ve střední Evropě // Problemy nauk pomocniczych historii. Katowice, 1973. T. 2.
35. *Jäger-Sunstenau H.* Über die Wappenverleihungen der Deutschen Kaiser 1328 bis 1806 // *Jäger-Sunstenau H.* Wappen, Stammbaum und keine Ende: Ausgewählte Aufsätze aus vier Jahrzehnten. Wien; Köln; Graz, 1986.
36. Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku 1648: Edice / M. Fiala, J. Hrdlička, J. Županič. Praha, 1997.
37. *Novák J.* Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava, 1972.
38. Archívy v Slovenskej socialistickej republike. Bratislava, 1976.
39. *Zvolský F.* Znaky českých měst. Brno, 1948–1949. Seš. 1–4.
40. *Nyulászsiné-Straub É.* Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Budapest, 1987.
41. *Radocsay D.* Österreichische Wappenbriefe der Spätgotik und Renaissance in Budapest // Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft. 1964. H. 3–4; *Radocsay D.* Renaissance letters patent granting armorial bearing in Hungary // Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae. 1965. Fasc. 3–4, 1966. Fasc. 1–2.
42. *Radocsay D.* Gotische Wappenbilder auf ungarischen Adelsbriefen // Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae. 1958. Fasc. 3–4.
43. *Hlaváček I.* Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV) 1376–1419. Stuttgart, 1970.
44. *Güntherová A., Mišianik J.* Stredoveká knižná maľba na Slovensku. Bratislava, 1961.
45. *Čarek J.* K vývoji znaku města Žebráka // Archivní časopis. 1976. Č. 3.
46. *Vojtíšek V.* O starých pečetích a erbech českých měst // Věstník Královské české společnosti nauk. Tr. filos.-hist.-filol. Praha, 1953. Roč. 1952.
47. *Nový R.* Počátky znaků českých měst // Sborník archivních prací. 1976. Č. 2.
48. *Ruda V. a kol.* Znaky severočeských měst. Most, 1970.
49. *Maksay F.* "Le pays de la noblesse nombreuse". Budapest, 1986.
50. *Schenk J.* Znaky českých horních měst vzniklých do 17. století // Studie z dějin hornictví. Praha, 1976. Sv. 7.
51. *Klecanda V.* Přijímání do rytířského stavu v zemích českých a rakouských na počátku novověku (Příspěvek k dějinám nižší šlechty) // Časopis Archivní školy. 1928. Roč. 1.
52. *Bertényi I.* Barrwy-i Simon 1417. évi címereslevele // Levéltári Szemle. 1988. 2. sz.
53. *Holinka R.* O formulích erbovních listin z kanceláře císaře Karla IV // Erbovní knížka na rok 1939. Praha, 1939.
54. *Kóta P.* Wappensiegelndationen aus dem XVI–XIX. Jahrhunderten // Acta contionis heraldicae municipalis hodiernae anno 1988° in oppida Keszthely habitae. Keszthely, 1990.
55. *Borza I.* Somogy vármegye címereslevele és elso pccsétje // Somogy Megye Múltjából. Kaposvár, 1984. 15. köt.
56. *Bertényi I.* Középkori címerjogunk néhány kérdése // Levéltári Szemle. 1986. 2. sz.
57. *Sedláč V.* Über den Ursprung der Städtewappen // Genealogica et heraldica: Internationaler 10. Kongress für genealogischer und heraldischer Wissenschaften, Wien 14–19. September 1970. Wien, 1970.



A. FOTIĆ. Sveta gora i Hilandar u Osmanskom carstvu XV–XVII vek. Beograd, 2000. 497 S.

А. ФОТИЧ. Святая гора и Хиландарь в Османской империи XV–XVII веков

В основу рецензируемой книги положена докторская диссертация А. Фотича, которая под несколько иным названием ("Османы и Хиландарь в XV–XVII вв.") была защищена им на историческом отделении факультета философии Белградского университета.

Монография представляет собой результат тщательнейшего изучения А. Фотичем сотен османо-тюркских документов, находящихся в библиотеке и архиве афонского Хиландарского монастыря. Ученый получил беспрепятственный доступ к этим материалам во время своих научно-исследовательских экспедиций на Афон в 1991, 1992 и 1994 гг. благодаря отзывчивости и содействию игуменов и братии данной обители.

В ожерелье сербских монастырей Хиландарский монастырь по праву считается самой драгоценной жемчужиной. Он был основан в 1198 г. сербским правителем Стефаном Неманей (известен также как св. Симсон) вместе с двумя сыновьями – монахом Саввой (ставшим позднее архиепископом Сербской Православной церкви и канонизированным в качестве святого) и Стефаном Первовенчанным. Попечение этих и других представителей династии Неманичей способствовало процветанию монастыря на протяжении почти двух веков. То же самое можно сказать и о ряде других правителей (причин не только сербского происхождения), которые делали крупные вклады в обитель и оказывали ей материальную поддержку

В 1998 г. в связи с 800-летием основания Хиландаря в Югославии вышло из печати

несколько крупных научных исследований, посвященных культурной истории указанной обители. Они продемонстрировали важность той роли, которую данный монастырь играл в культуре не только Сербии, но и других балканских стран и даже Московской Руси.

Рецензируемая монография как бы завершает серию ценных работ по данной теме, опубликованных на исходе XX в. Причем ее можно назвать не только итоговой (т.е. подводящей итоги движения научной мысли XX в. в этом направлении), но и наиболее репрезентативной в смысле введения в научный оборот новых и обильных материалов. Характерно то, что она вскрывает историю Хиландаря как бы изнутри, касаясь тех мирских, заземленных аспектов монастырской жизни, которые оставались сокрыты от большинства исследователей. Это мир экономики и хозяйствования, недвижимости и налогов, непрерывных поисков покровителей и пожертвователей. Монография также свидетельствует о великолепном понимании автором традиций Хиландаря и Святой афонской горы; тонкостей османских законов и их действия на практике. Именно это позволяет пролить свет на практическую подоплеку культурных достижений обители в указанный исторический период.

Выбранная А. Фотичем точка отсчета и его выводы при анализе истории Хиландарского монастыря в той или иной степени можно распространить и на историю всех афонских обителей и всей Святой горы в целом. Например, в условиях функционирования османских законов монастыри Афона

(т.е. постоянно обновляющиеся братства) предпочитали держать свое имущество в своеобразном "общем котле" в целях уплаты османам меньшей суммы налогов. По этой причине более зажиточные монастыри были вынуждены "добровольно" возлагать на себя обязанность нести большую часть налогового бремени. К числу последних принадлежал и Хиландарь, бывший и продолжающий оставаться одним из четырех "правящих" Афоном монастырей.

Посредством скрупулезного анализа османских документов А. Фотич устанавливает красноречивые факты, свидетельствующие об усилении Хиландаря сохранить свои позиции и в то же самое время оказать поддержку всему монастырскому содружеству Афонской горы. Это крайне неординарный подход к основам хозяйственной и культурной жизни Афона как главного культурно-религиозного центра восточноправославной церкви. Исследование ученого является настоящим прорывом в истолковании того, как в условиях османского ига Хиландарь и Афон должны были приспособливаться, существовать и сосуществовать даже в периоды роста своего благополучия и явного процветания.

А. Фотич анализирует османо-тюркские источники Хиландаря как в текстуальном, так и в контекстуальном отношениях. Именно такой метод – и это прекрасно иллюстрирует содержание всей книги – дает ключ к верному пониманию содержания многочисленных турецких источников. В противном же случае, как подчеркивает сам автор, из-за трудностей перевода юридической терминологии с греческого на славянский или турецкий (и наоборот) смысл большинства таких документов будет интерпретироваться ошибочно и превращаться в некий литературный перевод, в котором невозможно уловить многие важные смысловые нюансы.

Исследователь не ограничивается использованием османо-тюркских источников, а привлекает данные из славянских рукописей. Именно этот контрастно-перекрестный, сравнительный метод позволил А. Фотичу высветить с разных сторон одни и те же события или ситуации. Ученый отмечает, что значительная часть информации в ряде славянских источников является скорее топосом, чем реальным фактом. Так, например, податели петиций об оказании денежной помощи обычно намеренно сгущали краски при обрисовывании картины бедственного положения, в котором очутились монастырь или весь Афон. Тем самым они стремились разжалобить сердца потенциаль-

ных ктиторов и увеличить свои шансы на получение материальной поддержки. Ошибки некоторых славистов, возникшие в результате излишней доверчивости к подобным документам и опоры только на славянские источники, устанавливаются в монографии неоднократно. Этот критический разбор ошибочных выводов многих предыдущих исследователей – одно из ярких достоинств книги. Она предостерегает ученых от одностороннего и чрезмерного увлечения сугубо славяноязычными источниками, дающими лишь частичное, а иногда и неверное представление о реальном статусе славянских монастырей в Османской империи того времени.

В семи главах книги ученый излагает результаты своих разысканий. Первая глава посвящена исторической обстановке с описанием истории Афона, первых прикосновений с османами и последующего завоевания в XIV–XV вв. Фотич отмечает (что весьма существенно для более глубокого понимания сути османского господства), что многие владения Святой горы были утрачены еще до окончательного османского завоевания и реквизированы византийскими императорами для усиления столицы в обстановке растущей османской угрозы.

Во второй главе рассматривается официальная позиция Оттоманской империи по отношению к Афону и Хиландарскому монастырю в эпоху османского владычества. Эта часть книги насыщена данными об имущественных законах, налогообложении и других такого рода имперских постановлениях и пошлинах. Она крайне важна для получения целостного представления обо всем комплексе документации, на основании которой Хиландарь имел официальный статус и владел собственностью. Благодаря изучению этой документации А. Фотич сумел успешно проследить в последующих главах (особенно в седьмой главе – "Хиландарская Метохия под османами") различные изменения статуса, размеров и форм собственности Хиландаря на протяжении нескольких веков. Значительное внимание автор уделяет здесь также правилам передачи и перехода имущества монастырю (т.е. фактически перманентно обновляющейся монастырской братии). Детально анализируются в дискуссионном ключе обстоятельства конфискации и "уплаты выкупа" Хиландарем и Святой горой в 1568/1569 гг.

Очень дискуссионными, как и следовало ожидать, оказались те разделы данной главы, в которых ученый касается использования Афона в качестве места ссылки и заточения неугодных православных иерархов

(попадавших сюда, как правило, из-за доносов своих собратьев султану). Мнение А. Фотича о царившей на Афоне атмосфере прекрасно передает пассаж, говорящий сам за себя: "Облик этого монашеского полуострова определяли самоуправление Святой горы, привилегии, права и обязанности живущих в ней иноков..." (С. 87). Эти привилегии включали наличие колоколов и право (иногда отменявшееся) звонить в них по своему усмотрению, наличие пушек и другого оружия и право использовать его в критических ситуациях, льготное налогообложение афонской собственности, расположенной за пределами Святой горы (последнее продержалось вплоть до 1568/1569 гг.). Интересно также отметить, что вопреки расхожему мнению, будто Порты вмешивалась во внутренние афонские дела, исследователь устанавливает, что османские власти вовлекались в конфликты на Афоне только по просьбе одной из участвующих в них сторон.

Третья глава, "Внутренняя организация Афона и Хиландарь", весьма лаконична и логически продолжает предшествующую. Большой интерес здесь вызывают таблицы, иллюстрирующие изменение численности монахов на Афоне и в отдельных его обителях с 1489 по 1765 г. (С. 98–99). Они отражают резкие колебания цифр за сравнительно сжатые сроки: например, общая численность афонских монахов в 1661 г., составляла около 2280 человек, а спустя два года уже 6000 человек. Эти расхождения иногда объясняются характером источников, из которых были почерпнуты данные (например записки одного из западноевропейских путешественников), или же тем обстоятельством, что значительная часть афонских монахов находилась в то время за пределами Святой горы, занимаясь сбором пожертвований и хозяйственными делами во внеафонских владениях.

Четвертая глава, "Хиландарские здания и монашеское братство", привлекает внимание богатством иллюстративного материала, обилием фотографий, рисунков и репродукций. Удивительным здесь является то, что вопреки существовавшим законам и, казалось бы, элементарной логике, Хиландарский монастырь во времена османского господства не только ремонтировался и обновлялся, но и существенно увеличивался в своих размерах. Это расширение достигалось за счет пристраивавшихся к монастырю зданий. Ученый констатирует, что за вторую половину XVI в. "обитель расширилась к северу и приобрела те размеры, которые она имеет и ныне...". И далее: "Возведение

внушительных и дорогостоящих зданий следовало одно за другим и продолжалось вплоть до середины XVII в." (С. 133). Этому, видимо, способствовало присутствие на тогдашнем Афоне ярких пассионарных личностей. Хотя оно, согласно А. Фотичу, выливалось не только в бурную строительную деятельность, но и в жаркие диспуты между хиландарскими монахами и игуменами.

Пятая глава затрагивает имевшие место на полуострове природные катаклизмы, попытки навязать Афону унию между католиками и православными, прокатывавшиеся войны, нападения на монастыри разбойников и бандитов и другого рода происшествий, подпадающие под рубрику "Беды". Наиболее опасными для монастыря были выдвигаемые османскими властями обвинения хиландарцев в убийстве или предоставлении убежища тем обращенным в ислам православным, которые не могли жить в чужой вере. Здесь А. Фотич снова показывает полную компетентность монастыря в использовании всех средств легальной защиты, которая включала право монахов обращаться непосредственно к самому султану.

Шестая глава, "Покровители и дарители", – одна из самых пространных и интересных. Автор заостряет внимание на краткой традиции покровительства монастырю, которая возникла после падения Смедерева (1459) и поддерживалась несколькими сербскими вельможами, бежавшими от турок в Венгрию. После же взятия Константинополя султанской армией главными покровительницами Хиландаря выступили две сестры, Мара и Катарина Бранковичи. До самой своей смерти эти две женщины из рода Бранковичей "по причине отсутствия потомков по мужской линии" возложили на себя задачу отстаивания перед османами прав и привилегий Хиландаря и Святой горы. Уникальная роль здесь принадлежала Маре, которая в силу своего положения ("султаннида", жена султана Мурада II) имела возможность оказывать огромное влияние на ход событий. Она блестяще воспользовалась ситуацией, создав важные прецеденты для статуса Хиландарского монастыря и Афона в рамках Османской империи. Исследователь рассматривает в данной главе также несколько документов, в том числе подложных, составленных обителью для закрепления своего благоприятного положения. Незадолго до кончины сестры сумели уговорить валахского воеводу Влада "Монаха" взять Хиландарь под свое попечительство. Несмотря на то, что средства, поступавшие в монастырь в XVI в. из Молдовы и Валахии,

были гораздо более скромными, чем в былые времена, они имели решающее значение для поддержания обители в тот период. Документальное подтверждение помощи монастырю, оказанной "султанидой" Марой и молдово-валашскими господарями является существенным вкладом автора в изучение хозяйственно-экономической жизни Хиландаря.

Еще больший интерес вызывает анализ форм (а они представляют собой довольно сложный комплекс) получения помощи из России, в особенности от русских государей. После оказания Москвой общей поддержки всей Афонской горе, Хиландарь, наряду с другими монастырями, начал обращаться за адресной помощью непосредственно к российским правителям. Из-за обилия петиций просителей московские власти выработали несколько "чересполосную" систему патронажа. Монастыри были должны сами отправлять в Москву своих посланцев за помощью, причем не чаще, чем один раз в три года (с 1550 по 1600 гг.) или даже один раз в семь лет (начиная с XVII в.). Посланцам надлежало иметь при себе необходимые проездные бумаги с печатями и подписями. Утрата подобных документов в пути в результате несчастия или кражи была чревата тяжкими последствиями. Попытки обойти существующее положение пресекались самым решительным образом, Хиландарь и другие монастыри быстро это усвоили и стали тщательно соблюдать все предписания из-за угрозы лишиться поддержки.

В данной главе содержится также обзор материалов о другого рода помощи, включая описания хождений монахов, обращения к Римской Католической церкви, к римским папам и другим потенциальным "спонсорам". А. Фотич рассматривает, кроме того, все разнообразие видов дарений и наследования завещаемого Хиландарю имущества. Многие из них были "завуалированы" при помощи особой терминологии ради упрощения процедуры легализации.

Последняя глава книги – наиболее странная и составляет более одной ее трети. В ней детально прослеживаются права и статус Хиландаря как на самой Святой горе, так и в 25 регионах вне ее. Глава отчасти базируется на материалах предшественников (преимущественно М. Живоинович), тем не менее обстоятельный

анализ позволил А. Фотичу выявить множество новых ценных фактов. Они неопровержимо свидетельствуют о постоянном стремлении монахов Хиландарской обители возвратить монастырю как можно больше собственности дооттоманской эпохи. Этот факт демонстрирует огромную настойчивость и выдержку хиландарской братии.

В конце труда помещены заключение, резюме на английском языке, три приложения (пространные "Таблицы численности Хиландарской братии в период с 1423–1700 гг.", "Меры и их терминология", "Оттоманские деньги"), Словарь оттоманских терминов, Список используемых архивных фондов и Библиография, а также Главный указатель всего тома. Для читателя, особенно желающего быстро отыскать нужную иллюстрацию (а их в книге более 75), был бы полезен их перечень, но он, к сожалению, отсутствует.

Не вызывает сомнений, что данное исследование является серьезным вкладом в изучение истории Хиландарского монастыря. А. Фотич существенно обогатил наши представления о нем и продемонстрировал неоспоримую полезность привлечения османотюркских источников, касающихся не только истории названной обители, но и всего Афона. Анализ содержащихся в них данных способствует лучшему пониманию нюансов оттоманского управления этими христианскими институтами. Желательным видится перевод монографии на русский и английский языки с тем, чтобы сделать ее доступной для более широкого круга читателей – пока ее могут прочитать только те, кто владеет сербохорватским.

Можно надеяться, что А. Фотич продолжит свое исследование и обратится далее к XVIII–XIX вв. – периоду, когда насельниками Хиландарского монастыря являлись преимущественно болгары. Интересно было бы установить, вызвало ли это обстоятельство перерыв существовавших ранее традиций или же они продолжались, и как присутствие в монастыре многочисленной несербской братии сказалось на его общей активности и способности добиваться преследуемых целей.

Н.П. ГОРДЕЕВ. Пражская научная школа конца XVI – начала XVII века. М., 2001. 154 С.

Книга Н.П. Гордеева посвящена проблеме Пражского центра, существовавшего в Чехии в эпоху маньеризма на рубеже XVI–XVII в. при императоре Рудольфе II, в честь которого культуру этого времени называют рудольфинской. Эпоха маньеризма является переходным периодом в истории европейской культуры, временем зарождения науки Нового времени. Изучение Пражской научной школы имеет большое значение, так как позволяет проследить как важнейшие особенности культуры переходной эпохи, так и основы формирования современной науки. Особенно актуальным это становится на рубеже II–III тысячелетий, когда наука выходит на новые рубежи познания, когда открываются казалось бы забытые принципы науки раннего Нового времени с ее тягой к синтетической универсальности.

Основополагающей работой, от которой так или иначе отталкиваются все исследователи рудольфинской культуры, является книга Р. Эванса "Рудольф II и его мир", освещающая различные стороны интеллектуальной жизни рубежа XVI–XVII вв. [1]. В нашей стране, к сожалению, проблема Пражского центра, как и культуры рудольфинской эпохи в целом, остается очень мало изученной. Имеется лишь глубокое исследование искусства этой эпохи, предпринятое Л.И. Тананаевой [2]. Появление книги Н.П. Гордеева свидетельствует о возрастании интереса к культуре рубежа XVI–XVII в., в заслугу автору можно поставить уже само обращение к такой важной и сложной задаче. Автор верно выделяет основные проблемы исследования Пражской научной школы: влияние личности Рудольфа II на формирование Пражского центра, значение роли паранауки в формировании науки Нового времени, соотношение в деятельности представителей Пражской школы, синтез и взаимовлияние науки и искусства в культуре конца XVI в., роль Пражской школы в формировании науки Нового времени.

При этом работа обладает определенными недостатками, многие из которых объясняются тем, что автор не специалист по данному вопросу. Открывая для себя

общеизвестные факты, он видит их как новый материал, из которого строится его концепция. Так, например, о том, что Рудольф II в политических и деологических целях использовал искусство, говорится как об отличительной особенности этого монарха (С. 33), хотя все правители того времени использовали искусство в целях глорификации власти. Еще одно следствие определенного дилетантизма автора – большое количество необоснованно подробных отступлений. Скажем, представляется лишним пересказ событий от начала правления Фердинанда I до Тридцатилетней войны (С. 20–24), а также рассказ о развитии идеи гелиоцентризма в античности (С. 41–43) и история Карлова университета, занимающая более дюжины страниц (С. 122–136), тем более, что университет не был крупным центром науки во времена Рудольфа II, хотя автор утверждает обратное (С. 17).

В целом работа построена по принципу учебника, где содержатся основные общеизвестные факты, относящиеся к данной эпохе, многие из которых не связаны с темой исследования. При этом фактам, важным для понимания исследуемой проблемы, не всегда уделяется должное внимание. Так, мысль о влиянии испанского двора на формирование личности Рудольфа II и рудольфинской культуры выражена недостаточно явно. Раздел "Международные связи пражских гуманистов" занимает всего одну страницу, на которой не нашлось места даже для освещения крайне важных связей пражского двора с Испанией, двором Елизаветы I, а также с Пфальцем, являвшемся крупнейшим центром культуры маньеризма. В разделе "Двор графов Розенбергов" (правильнее – Рожмберков) следовало бы дать более подробную и глубокую характеристику культуры двора этих крупнейших чешских магнатов, опираясь на исследования Я. Панека [3]. В разделах о правоведении и историографии нужно было сказать о проявлении идей рудольфинской школы в этих областях, например, о связи историографии с принципами энциклопедизма [4]. Раздел "Выдающиеся врачи в окружении Рудольфа"

содержит лишь перечень лейбмедиков, не связанный с основной темой работы, сведения о них даже нельзя назвать энциклопедическими – они слишком отрывочны. О главных же медиках эпохи – Т. Гайске и Я. Эссениусе – сказано чрезвычайно немного.

Неправомерно мало места уделено рудольфскому искусству, в котором научная парадигма была одной из определяющих, только ему присущих черт. Не вскрыта специфика творчества живописца Дж. Арчимбольдо. Неясно, что автор имеет в виду, говоря, что художник "соотносил животных и человека (отражение теологических взглядов)" (С. 35). Какие взгляды имеются в виду: если о тройственной природе человека, то почему человек соотносится только с животными? Утверждение автора о том, что Арчимбольдо "одни фигуры составлял из других" (С. 35) снимает весь смысл "портретов" этого художника, так как изображал он человеческие головы, состоящие не "из других фигур", а из предметов окружающего мира, что было отражением важнейшей идеи того времени – соотношения микро- и макрокосма.

Целый раздел автор посвящает французскому эрудиту Г. Постелю как одному из ближайших предшественников рудольфинцев. Здесь изложены его взгляды и идеи, характерные для многих деятелей эпохи, наибольшее внимание уделено религиозному фанатизму Постеля. При этом остается совершенно непонятным, почему именно Постель является предшественником рудольфинской культуры с ее принципом толерантности.

Особое внимание хотелось бы обратить на раздел, посвященный И. Кеплеру – важнейшему представителю Пражской школы, изучение деятельности которого позволяет выявить главные особенности формирования науки Нового времени. Весь раздел представляет собой подробное, но хаотичное изложение жизни Кеплера. О его же научной деятельности не сказано почти ничего. Так, о трактате "Тайна космографии" говорится только то, что в ней Кеплер открыто заявил о своей приверженности теории Коперника, которая не противоречит Священному Писанию. Об основном содержании трактата – устройстве Вселенной по принципу пяти платоновских тел – даже не упомянуто. "Новая астрономия", сыгравшая огромную роль в развитии науки, присутствует лишь упоминанием о расчетах орбиты Марса. Важнейшее сочинение Кеплера "Гармония мира" только названо, его анализ отсутствует. О взглядах, идеях

и научных достижениях Кеплера сказано только то, что он доказал теорию Коперника. О принадлежности Кеплера к пифагорейской традиции говорится довольно много, но акцент делается не на влиянии пифагорейства на идеи Кеплера, а на то, что он рационализировал его. Таким образом, проблема роли паранауки в становлении науки Нового времени – очень важная для темы данного исследования – упрощается или даже снимается. Автор утверждает, что "Кеплер использовал числа как средство, а не метафизическую меру Вселенной" (С. 59). Однако все научные открытия Кеплера основаны на идеях пифагорейцев, он считал, что в основе строения Вселенной (как и всех вещей) лежат простые числовые соотношения. Об этом свидетельствуют использование Кеплером понятия "божественная пропорция" в важнейшем трактате "О шестигульных снежинках", в книге даже не названном, а также идеи сочинения "Космографическая тайна" и само название основного сочинения – "Гармония мира".

В работе Гордесва много неточностей, причина которых – недостаточное знание чешской литературы об эпохе Рудольфа II. Так, автор утверждает, что в Праге сложился целый литературный круг, связанный со всей Европой (С. 35). В действительности художественная литература практически отсутствовала в рудольфинской культуре, что является одной из ее особенностей, неоднократно отмечавшейся исследователями. Довольно спорным представляется утверждение о том, что "из тенденции к рационализму вытекало большее или меньшее равнодушие к философии" (С. 98). Даже картины рудольфинцев, не говоря уже о научных теориях, представляют собой философские концепции. Философия практически отсутствовала как самостоятельная область культуры [5. S. 72–77], но скорее это говорит о растворении ее во всех областях творческой деятельности.

Значение конкретных политических и государственных целей в деятельности Рудольфа II преувеличено: "Школу возглавлял монарх, преследовавший далеко идущие политические цели, отдельные эрудиты могли быть использованы для решения конкретных политических задач, поставленных императором" (С. 146). Однако известно, что Рудольф гораздо больше времени уделял искусству, науке и тайнознанию, а в государственной и политической деятельности скорее видел проявление универсальных истин, чем стремился решать конкретные политические задачи [6].

В работе допущен ряд ошибок. Полное недоумение вызывает утверждение о том, что "окончив университет, Теофраст, согласно обычаю того времени, сменил свою фамилию Гегенгейм на Парацельс" (С. 75). Такого обычая не существовало, как и самого понятия "фамилия", а то, что прозвище Парацельс означает превосходство над античным врачом Цельсом – общеизвестный факт. Секуляризация культуры началась не в эпоху постренессанса (С. 146), а в XV в. в Италии. Особое внимание следует обратить на следующие ошибки или опечатки: год рождения Рудольфа II – 1552, а не 1551 (С. 19); начало правления Рудольфа II – 1576 г., а не 1579 г. (С. 20); начало Тридцатилетней войны – 1618 г., а не 1619 г. (С. 20); отец Рудольфа II – Максимилиан II, а не Максимилиан I (С. 85); "на основании наблюдений Браге Коперник создал собственную гипотезу" (С. 56) – нужно – Кеплер; голем почему-то имеет имя Йозеф (С. 93), хотя голем – это название искусственного человека. Ошибки или опечатки содержатся также в списке литературы, в котором, к сожалению, отсутствуют многие работы чешских авторов.

Одним из существенных недостатков работы является небрежность формулировок, которая приводит к смысловым неточностям, например: "Каждый деятель позднего Ренессанса, даже если он занимался исключительно наукой, отдавал дань маньеризму..., что свойственно, например, Рудольфу" (С. 96). Из этой фразы следует, что император занимался исключительно наукой.

Для всей работы характерно установление совершенно безосновательных связей и аналогий. Например, непонятно, какое отношение к рождению Кеплера, а тем более к проблеме Пражской научной школы имеет "поражение турецкого флота от соединенных итало-испанских военно-морских сил" (С. 56); или каким образом связано издание трактата Кеплера "О кометах" с восстанием чешских протестантов в 1618 г. (С. 61). Говоря о Парацельсе, автор утверждает, что "мир Парацельса был живым, и три его элемента позволяли проводить аналогию с древнегреческой наукой" (С. 79). Проведение такой аналогии необязательно, так как три элемента как основа мира характерны не только для античности и Парацельса, но для алхимии в целом. Неточно автор понимает и главный смысл учения Парацельса, которое заключается не в том, что оно "...прославляет совершенного человека, высшая цель которого подчинить себе силы природы и укрепить союз

с Богом" (С. 79), а в тождестве процессов, происходящих в человеке как микрокосме и во Вселенной как макрокосме.

В работе содержится довольно много противоречий. Например, к недочетам книги Эванса автор относит "преувеличение роли оккультных наук, несмотря на явно рациональные устремления рудольфинцев" (С. 15), что противоречит утверждению самого же Гордеева о "сближении и взаимопроникновении рационального и иррационального в науке и различных формах познания, слияния науки с искусством, достигаемымся в подобные периоды в рамках мистики, с помощью которой Рудольф стремился обрести универсальное знание, постичь гармонию мира" (С. 27). Автор утверждает, что "маньеризм сознательно отходит от природы во имя выражения единства мира" (С. 34), но далее говорит о том, что "в эпоху Постренессанса в центре внимания оказалась природа..." (С. 146). К одной из особенностей Пражской школы автор относит неразвитость историографии и здесь же замечает, что "историография привлекала ученых из разных областей культуры" (С. 98).

Для всей работы характерны повторы, а также неточное цитирование. Например, говоря о Кеплере и Браге (С. 36), автор ссылается на книгу Л.И. Тананаевой, указывая страницы 48–49, на которых нет ни слова о Браге. Выдвигая гипотезу о союзе Рудольфа II и Лжедмитрия I и утверждая, что Рудольф "обращался к Борису Годуну... и признал за Лжедмитрием I титул императора" (С. 114), автор ссылается на книгу Эванса, указывая страницы 384–385. Однако ни на этих страницах, ни во всей книге Эванса ничего не говорится о Борисе Годунове и Лжедмитрии I.

Один из важнейших недостатков работы – отрывочность и непоследовательность в изложении фактов, не связанных общей главной мыслью; выводы или совсем отсутствуют или существуют сами по себе, без системы доказательств. При этом гипотезы, выдвигаемые автором, очень категоричны, пафосны, но недостаточно доказательны, как, например, идея о союзе Рудольфа и Лжедмитрия I (С. 24). Недостатком работы в целом является также отсутствие формулировки принципов Пражской научной школы. Заявленная во Введении цель исследования – показать преемственность Пражской научной школы по отношению к Александрийской – не развита и не соответствует выводам, даваемым в Заключение.

При всех недочетах данной работы само ее появление свидетельствует о повышении

ном интересе к культуре маньеризма и дает основание надеяться, что данное исследование будет способствовать более активному ее изучению в отечественной науке.

© 2002 г. А.В. Денщикова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Evns R.J.W.* Rudolf II and his World: A Study of intellektual History: 1576–1612. Oxford, 1973.

2. *Тананаева Л.И.* Рудольфинцы: Пражский художественный центр на рубеже XVI–XVII веков. М., 1996.
3. *Pánek J.* Poslední Rožmberkové: Velmoži české Renaissance. Praha, 1989.
4. *Beneš Z.* Historický text a historická skutečnost: Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha, 1993.
5. *Sousedík S.* Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Praha, 1997.
6. *Janáček J.* Rudolf II. a jeho doba. Praha, 1987.

Славяноведение, № 4

S. ALOE. *Angelo De Gubernatis e il mondo slavo; Gli esordi della slavistica italiana nei libri, nelle riviste e nell'epistolario di un pioniere (1840–1913).* Pisa, 2000. 316 P. (= Studi slavi e baltici. Dipartimento di linguistica. Università degli studi di Pisa. Nuova Serie № 1).

С. АЛОЭ. *Анджело Де Губернатис и славянский мир. Начальный период итальянской славистики в книгах, журналах и переписке ее пионера (1840–1913)*

Итальянский исследователь Стефано Алоэ выпустил книгу, посвященную пионеру славяноведения в Италии филологу Анджело Де Губернатису (1840–1913). О Де Губернатисе на его родине, в Италии, сегодня знают довольно мало. А между тем это автор многочисленных трудов по истории итальянской литературы, профессор, преподававший в лучших итальянских университетах, автор многочисленных поэтических и драматических произведений. Впрочем, прежде всего Де Губернатис стал известен благодаря редакторской и организаторской работе над энциклопедиями и журналами второй половины XIX в., в которых он часто обращался к славянской теме.

В определенном смысле Де Губернатис проделал грандиозную просветительскую работу, открыв для Италии славянскую культуру, прежде всего ее литературу. Нельзя сказать, что русской и славянской культурой в Италии до Де Губернатиса никто не интересовался, однако с его деятельностью связан качественно новый шаг в ее освоении. Де Губернатис открыл период личных контактов с деятелями культуры, что сразу сказалось в том факте, что переводы литературных произведений стали все чаще делаться не с французского – как это было ранее, – а сразу с языка подлинника.

Де Губернатис сделал и первые шаги по включению славянской литературной жизни в общеевропейской контекст. В конце 1970-х – начале 1890-х годов он опубликовал на итальянском, а потом и на французском языках большие международные биографические справочники, посвященные современным писателям и ученым, куда на равных правах вошли как западноевропейские, так и славянские авторы, в том числе и русские (*Dizionario biografico degli scrittori contemporanei.* Firenze, 1879; *Dictionnaire international des écrivains du jour,* Florence, 1888–1891, Vol. 1–2).

Со многими из этих авторов Де Губернатис состоял в переписке, например, с русскими В. Безобразовым, Г.П. Данилевским, А.А. Краевским, А.Н. Пыпиным, И.И. Срезневским, М.М. Стасюлевичем, И.С. Тургеневым, А.Н. Веселовским; с поляками Я. Бодуэн де Куртенэ, Т. Ленартовичем, М. Конопницкой, Ю.-И. Крашевским, В. Мицкевичем, А. Вольнским; с чехами В. Влчком, К. Иречком, Я. Врхлицким; с хорватским историком Ф. Рачки; с сербским писателем М. Царом. Со многими же его связывала многолетняя дружба: с Ф.И. Буслаевым, М.П. Драгомановым, С. Никитенко, П.Д. Боборыкиным, А.К. Толстым, с сербским

историком С. Бошковичем и славистом С. Новаковичем. Именно переписка стала основным источником работы С. Алоэ, причем многие рукописные источники впервые попали в научный оборот. Сводом всех архивоведческих изысканий, которые в течение многих лет автор проводил во Флоренции, Праге, Москве и Санкт-Петербурге, стал подробный указатель всех архивных и библиотечных фондов, помещенный в издании.

Повествование разделено на пять глав, по хронологико-географическому признаку. Книга открывается рассказом об учебе Де Губернатиса и Берлинском университете, где состоялись его первые контакты с русскими: с будущими известнейшими профессорами А.А. Потебней и И.П. Минаевым. Первое впечатление от русских – восторг. В Берлине же Де Губернатис знакомится и с польскими студентами, с понятием "нигилизм", а вскоре по возвращении в Италию – с Михаилом Бакуниным. К Бакунину Де Губернатис почувствовал мгновенную симпатию, однако их политические идеи очень быстро разошлись. Впрочем, Де Губернатис впоследствии стал мужем двоюродной сестры Бакунина С. Безобразовой.

Вторая глава посвящена "Европейскому журналу" ("Rivista europea"), который Де Губернатис начал издавать во Флоренции с конца 1869 г. "Rivista europea" явилась одним из главных проектов Де Губернатиса. Журнал очень быстро стал своеобразной путеводной звездой для многих, интересовавшихся русскими и славянскими культурами, и именно здесь появились первые серьезные критические очерки, касающиеся русской литературы, философии и политики, причем политически анализ давался в сочувственных России тонах. В этом же издании появились первые переводы на итальянский Ф.М. Достоевского (отрывок из романа "Преступление и наказание") и Л.Н. Толстого (отрывок из романа "Война и мир"), причем в переводе с русского языка. Наравне с европейскими гуманистами, в "Европейском журнале" принимают участие и русские авторы, в частности знаменитый А.К. Толстой, который, кстати, станет одним из самых близких друзей Де Губернатиса в России. В своей работе над "Европейским журналом" не забывает Де Губернатис и другие части Европы и Славии; к этому же периоду относится и его активное сотрудничество с французским славистом Луи Леже. Вместе с Леже Де Губернатис сделал попытку создать "славянский лист" в недрах своей "Rivista europea", включая возможность отдельного

славистического издания в годы, когда только начиналось в Берлине издание В. Ягичем журнала "Archiv für slavische Philologie". Разумеется, "лист" не осуществился, но в журнале Де Губернатиса славянский мир занимал важное место. Кроме Леже, другими сотрудниками в славянской части журнала являлись польский историк А. Волинский, украинский историк и политический деятель Драгоманов, русская итальянистка С. Никитенко и публицистка Tatiana Svetoff. Tatiana Svetoff (псевдоним Елизаветы Безобразовой), жена одного из известнейших сановников, много писала о русской политике и жизни, причем исключительно для иностранных изданий на французском, английском и немецком языках. Публицистическая деятельность Svetoff началась именно для "Европейского журнала" и по предложению Де Губернатиса.

Несмотря на то, что журнал был продан в 1876 г., и с этого момента не имел формального отношения к Де Губернатису, он еще некоторое время оставался важнейшим источником знаний о России и Славии в Италии, хотя внешняя политика России новыми владельцами журнала оценивалась однозначно негативно.

В третьей главе книги, которая называется "Новые инициативы (1876–1888)", описывается период, когда Де Губернатис работал в редакции престижного литературного издания "Новая Антология", в котором он открыл рубрику "Избранное из иностранной литературы". В ней Де Губернатис представлял новые произведения современной литературы; произведения русских и славянских писателей освещаются наряду с произведениями авторов западноевропейских. В том же самом ключе создается и "Словарь современных писателей", в связи с подготовкой которого Де Губернатис начинает активную переписку с литераторами Славии, стремясь в "Словаре" как можно шире представить славянский культурный горизонт.

В четвертой и пятой главах рассказывается о контактах с западными и южными славянами. Наибольший интерес здесь, на наш взгляд, представляют контакты Де Губернатиса с Чехией и Польшей. Редактор журнала "Osveta" В. Влчек активно сотрудничает для его биографического "Словаря современных писателей". В переписке с Де Губернатисом оказываются поэты Я. Врхлицкий и А. Хейдук, романист А. Ирасек. Любопытно, что Де Губернатис не ограничивается исключительно писателями. Так, он переписывается с участниками пражского феминистского Чешско-амери-

канского клуба, в частности, с поэтессой Э. Красногорской.

Книга С. Алоэ – это по большому счету книга о специфичности Запада, открывающего славянский Восток, о его вкусах и пристрастиях. И в этом ее особенные новизна и интерес. Славянский мир уже почти два века смотрит на Запад с ожиданием, но серьезного исследования "европейского" взгляда на славянскую жизнь еще не было, так же, как почти ничего не говорится о том влиянии, которое оказали "нигилистиче-

ские" образы Тургенева на европейскую интеллигенцию второй половины XIX в., в том числе самого Де Губертатиса.

Качественное, фундированное, с прекрасным научным аппаратом исследование Стефано Алоэ является ценным вкладом в разработку темы открытия культурных взаимосвязей юго-западной Европы со славянским миром.

© 2002 г. С. Никитин

Славяноведение, № 4

R. PARADOWSKI. Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei. Toruń. 2001. 306 S.

Р. ПАРАДОВСКИЙ. Евразийская империя России. Исследование идеи.

В то время как в русскоязычной литературе намечился спад сугубо научного интереса к евразийству, а споры о том, чем же оно по сути является: философией вчерашнего дня или (гео)политикой завтрашнего? – если не поутихли, то институционализировались, в иноязычной славистике намечился мощный подъем интереса к нему. Особенно польские слависты пристально всматриваются в совокупность посткоммунистических идей в России, пытаются через них выявить векторы как идеологических поисков и утверждений, так и политических приоритетов. Одним из первых на уровне монографии поднял данную тему историк и политолог Р. Беккер из Университета Николая Коперника в Торунь. В его книге "Межвоенное евразийство. От интеллектуальной контркультуры к тоталитаризму?" (*Bäcker R. Międzwojennu eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakturacji do totalitaryzmu? Łódź. 2000*) анализируются причины возникновения, развитие и результаты евразийства как политически-философского течения российской эмиграции.

Рецензируемая монография видного польского философа и политолога Рышарда Парадовского, профессора Университета Адама Мицкевича в Познани, написана

в еще только складывающемся в отечественных условиях жанре – истории идей. Она посвящена истории появления и эволюции, а также современным трансформациям одной, но весьма значимой из них – евразийства. Это идейно-политическое течение и общественное (хотя далеко не массовое) движение оформилось в русском зарубежье в 1920–1930-х годах, хотя его предпосылки, конечно, появились ранее – разговоры о туранском, скифском, "раскосо-азиатском" характере русских велись постоянно (так, Г.Р. Державин в оде "К Фелице", т.е. по-латыни, "блестательной", именвал Екатерину II царицей "кыргыз-кайсакия орды" – чем не собирательный евразийский образ?). Данное движение претерпело за 80 лет – если вести его начало с выхода книги "Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев" в Софии в 1921 г. – несколько трансформаций. Парадовский утверждает, что оно "вспыхнуло" подобно почти одномоментному пожару в Праге и Берлине, Брюсселе и Белграде, Париже и Харбине; внимательнейших читателей находили евразийцы и в России. К началу же XXI в. оно претендует и на лидерство в идеологическом обеспечении внешней, а то и внутренней политики в Российской Федерации.

Книга состоит из семи глав, посвященных трем стадиям развития идеи евразийства. То, что анализ при этом глубок по содержанию, делает монографию ценным источником по истории данной идеи. Автор помещает ее в широкий общеевропейский идеологический контекст – и оказывается, что, вопреки некоторым отечественным истолкователям, в ней обнаруживается не меньше эллинистических и византийских начал, чем туранских (последние неплохо "проанатомированы" в монографии в культурном, историческом и даже психологическом разрезе). Р. Парадовский небезосновательно трактует мыслепостроения Л.Н. Гумилева как некий отход от классических посылок евразийства, оптимально балансирующих "евро-" и "азио-". Он справедливо подчеркивает, что большая (квази)доказательность тезисов Гумилева, обращающегося к аналогам из области естествознания, не избавляет ученого от дрейфа в сторону консервативного славянофильства, небезосновательно квалифицировавшего его идеологическими противниками в некий обскурантизм по сравнению со славянофильством ранним. Акценты на "естественнонаучных доводах" приносят, считает Парадовский, больше вреда, чем пользы. (Выскажем свое мнение: пассионарность ряда народов обуславливает скорее история, чем природа – в качестве примеров можно привести вполне исторические причины снижения "градуса пассионарности" средневековых норманнов, венгров и болгар/ болгар, французов на рубеже XVIII–XIX вв., а во второй половине XX в. – немцев.) «Вклад Гумилева, – пишет автор, – в развитие доктрины, особенно его историческая аргументация "обоснованности" российского антисемитизма, в состоянии сделать из евразийства небезопасную идею. Вместе с тем классический образ евразийства, дающий России идентичность, к которой она так стремилась в течение веков, может способствовать... упорядочению общественной жизни на территории бывшего СССР и вследствие этого стабилизации ее положения в мире» (S. 34).

Автор фиксирует большую востребованность идеи политического союза европейских и азиатских народов и государств в последних десятилетиях XX в. – и вполне рельефно выявляет фигуры, репрезентирующие эту идею. Они не достигают вершин первой волны мыслящих евразийцев – философов и ученых мирового уровня, но голос их звучит громче как раз в силу этой востребованности. Относительно современных спекуляций о евразийском суперэтнотипе Парадовский выражает вполне уместное

сомнение, используя возможности жанра истории идей. Ведь когда мы говорим или слышим слово "евразийство", то должны всегда иметь в виду контекст: идет речь просто об идее или о политической платформе. Данный термин указанные позиции часто не соединяет, а как раз разводит (хотя не всегда). Здесь хорошую услугу автору и его читателям предоставляет сам польский язык: используемый автором термин *eurazjatyzm* ("евразиазм") ориентирует на вдумчивое отношение как раз к идее и приводит демаркационные линии между нею и неоформленной, часто агрессивной, иногда безответственной политической платформой, имеющими в русском единое название: "евразийство" (иногда даже с прописной буквы). Если брать евразийство в подобном ракурсе, то оказывается, что авторы первой его волны – Н. Трубецкой, П. Савицкий, Н. Алексеев (последний, будучи философом права, столкнулся с особо трудными задачами сочетания правовых начал со сложными межнациональными отношениями в рамках евразийского сообщества, и предложенные им способы решения не потеряли актуальности до наших дней) – выводили соответствующую идею из рефлексии над прошлым. И их исторические и этнологические студии оказались востребованными для решения новых задач. Р. Парадовский пишет: "Евразийцы считали делом чести заменить большевизм евразийской идеей. Большевики многое сделали, чтобы этого не допустить. Но в конце своего правления отrekliсь даже от своей классовости, заменяя ее *rag excellence* евразийской идеей единого советского народа; отказались от пролетарского интернационализма, заменяя его общесоветским патриотизмом, который является только бледной тенью цами идеи общеевразийского национализма. У евразийцев он имеет свои исторические и этнолингвистические корни" (S. 102).

В то же время "неевразийцы" пытаются скорее сделать из своей идеи проект будущего. Это в чем-то и неудивительно: СССР распался, но жить надо вместе... И не противопоставляя, а взаимно дополняя европейское начало туранским (от Туранской низменности, равнинной части Средней Азии и Южного Казахстана; правда, евразийцы данный термин толкуют расширительно, охватывая им и примыкающие к данному географическому центру Азии регионы). Автор, реконструируя тип туранца (в первую очередь в трактовке Н. Трубецкого, доказывавшего, что "истинный" национализм не разделяет народы на "высшие" и "низшие", а славянство – скорее "языко-

вый союз", чем этническое начало), отмечает, что его менталитет отвергает всякое несоответствие между жизнью и идеей. А вот между идеей единства Европы и Азии и историческими реалиями все чаще зияют пропасти. Значит, их надо заполнять – может быть, не без элементов насилия, но с предпочтением родственных ("по душе") союзов. Так было во времена Киевской Руси, когда браки между русскими и Половцами князьями умиротворяли конфликты, во времена Московской Руси и Российской империи.

Но для этого нужно было не только "вчувствование" в душу иных народов, но и наличие сильного государства. И здесь у некоторых евразийцев возникает соблазн поклонения военной мощи, признания того, что история России – это ее топография (по слову сменовеховца Н.В. Устрялова, его учитель П.Б. Струве нашел для такого соблазна верное слово: фактопоклонство). Это было присуще, в культурно приемлемой форме, первой генерации евразийцев; неоевразийцы же в данном отношении куда агрессивнее, и они, подчеркивает Парадовский, протягивают руку неославянофилам, тоже далеким от идеалов миролюбия своих исторических предшественников. Сходятся в чем-то они и с А.С. Солженицыным, предлагающим "обустроить" Россию путем аннексии "своих" земель, например, в Казахстане. А "забрать свое", если следовать этой логике, приведет к тому, что приложится и "чужое"...

Как отмечает Р. Парадовский, классическое евразийство ориентировано на идейное сращивание полиэтнического содружества в рамках единого государства, где чувство имперскости не навязывается, а добровольно принимается. Его оригинальный характер заключается в том, что туранское, монгольское, татарское, любое иное неевропейское начало ценно для России само по себе, а не с позиций стратегических интересов московского ли царя, петербургского ли императора, генсека ли правящей партии... Евразийство стремится преодолеть узкий национализм государствообразующего народа через признание ценности культурных начал всех населяющих Россию народов, составляющих суперэтнос. Но здесь есть ряд сложностей, в том числе и психологического порядка. Примером психологических требований, подчеркивает автор, является ожидание, что русские, которые до сих пор склонны были скорее отделяться от "турок" (татар, казахов и т.п.) и даже противопоставлять себя им, должны бы воспринимать себя не как славян, а также отказаться

от всех милых сердцу атрибутов славянской души (S. 140).

Конечно, данная идея подвергается в монографии острой и обоснованной критике, что неудивительно – она во многих своих моментах содержит в себе апологию силы. Однако не будем брать ответственности за такой тип идеологии. В самой Польше долгое время большой поддержкой пользовалась так называемая сарматская идея, обозначающая близость этой католической страны с южным и восточным квази(языческими) ареалами с их славной историей. Ряд других народов имели аналоги некоего собственного евразийства – и не всегда стремились получить европейскую "прививку" против него; так, немцев в 1914 г. именовали "гуннами", а в 1930-х годах они сами называли себя "арийцами".

Евразийство о себе заявило на исходе XX в. достаточно громко, но свои "тайны" открывает с трудом. Р. Парадовский указал в своей книге способ их выявления: реконструкция историко-культурного контекста идеи евразийства. Он показал, что спрос на такого рода воззрения возрастает в ситуации ослабления национальной идентичности, при доминировании чувства растерянности перед сегодняшними трудностями – и желании заместить их воспоминаниями о "славной" истории и "прекрасном" будущем, в ситуации, когда квазипассионарные призывы решать глобальные задачи завтра мешают делать черновую и повседневную работу сегодня. Автор пишет: «Эта идея, которая пыталась – прежде чем по-своему это делала позднесоветская концепция "единого советского народа" – предложить и обосновать, при помощи истории, географии, лингвистики, этнографии, новую и интегральную национальную тождественность народов бывшей Российской империи. Это "националистическое" (однако сегодня скорее "геополитическое и имперское") предположение, создающее единую многонациональную общность, включает в себя вместе с тем расизм и ксенофобию, по крайней мере в границах данного обширного Евразийского континента. Делая одновременно акцент на проблеме равновеликой ценности культур, оно тем самым нейтрализует до определенной степени последствия собственной ксенофобной установки антиевропейского плана. Но на этом не заканчивается эпохальный масштаб идеологического предположения евразийства, так как оно адресуется не только так называемым "меньшинствам", делая из них неотъемлемую часть великого народа, но и "этническим" русским, у которых чувство нацио-

нальной тождественности было серьезно подавлено: русская душа разрывалась между Востоком и Западом" (S. 264–265).

Книга Р. Парадовского подводит нас к тому выводу, что евразийство – идеология достаточно эклектичная и удобопревратная, и это особенно справедливо по отношению к неоевразийству. Побуждение освоить новую политическую нишу в виде уже не супердержавы, сложности геополитической идентификации, затруднения с попыткой прорубить уже не окно, а дверь в Европу вызвали в России потребность в идеологии достаточно расплывчатой и одновременно мобилизующей. Евразийство как предположение соответствовало этим двум по видимости расходящимся характеристикам, но неоевразийство в своих выводах иногда сводится не просто к мобилизации, а и к

наступлению, не столько к "предчувствиям", сколько к "свершениям", даже если предпосылки для них не столь уже прочно обустроены.

В то же время автор монографии обосновывает значимость сдержанных оценок данного идейно-политического течения, призывая не сосредоточиваться, с одной стороны, на его авторитарных импульсах, а с другой – на его якобы исконной стихийности. То и другое поддерживает расхожее мнение о том, что русский народ якобы не признает ценностей политической свободы. Это, разумеется, не так, и в отрицательном доказательстве данного положения заключена, в частности, ценность рецензируемого труда.

© 2002 г. И.Е. Задорожнюк

Славяноведение, № 4

G.S. SMITH. D.S. Mirsky: A Russian-English Life (1890–1939). Oxford, 2000. 398 P.

Дж.С. СМИТ. Д.С. Мирский: русско-английская жизнь (1890–1939)

Один из пионеров изучения культурного наследия русской эмиграции, английский профессор Дж. Смит, недавно ставший членом Британской Академии, выпустил долгожданную итоговую биографию Д.П. Святополк-Мирского. О готовящемся выходе в свет этой книги ранее сообщалось в журнале "Славяноведение" в статье, посвященной работам Дж. Смита по литературе русской эмиграции [1].

Представитель родовой военной аристократии, в годы революции гвардеец и участник белого движения – в эмиграции Д.С. Мирский (форма имени, принятая им в Англии) стал одним из виднейших литературных критиков, защитил диссертацию и сделал научную карьеру в Лондонском университете, стал автором лучших книг на английском языке по истории русской литературы, которые были переведены на все основные европейские языки и до наших дней не утратили актуальности (недавно переведены на русский). В середине 1920-х годов он увлекся евразийством,

а затем коммунизмом, вступил в переписку с М. Горьким, а в 1932 г. с его помощью возвратился в Россию, где его ждала предсказуемая судьба.

Д. Мирский – личность уникальная, и вместе с тем типичный пример эмигрантской "смены вех", наследник и носитель дореволюционной культуры и системы ценностей, сознательно отказавшийся от своего наследия. Для англо-американских славистов Д. Мирский – своего рода классик, автор настольных книг по истории русской литературы. В России же до относительно недавнего времени о нем слышали лишь редкие специалисты. Однако и для тех, и для других книга Дж. Смита является открытием, – она поднимает глубочайший пласт нетронутых архивных документов, бросающих новый свет на жизнь, внутренний мир, мотивы поведения неординарного человека. Такого углубленного и детализированного исследования жизни и творчества удостоились немногие известные поэты и писатели, не говоря уже о литературоведах.

В кругу научных интересов Дж. Смита личность и творчество Святополк-Мирского давно занимают, можно сказать, центральное место. Дж. Смитом опубликованы: сборник его статей в сопровождении биографического очерка и комментариев, переписка с П.П. Сувчинским, А.В. Тырковой-Вильямс, М. Флоринским, С. Гальперн, В. Сувчинской-Трэйл. Дж. Смит первым раскрыл подробности литературных и личных отношений критика с М. Цветаевой. Исследования сопровождаются, как правило, первыми публикациями архивных материалов на языке оригинала.

В новой книге собраны архивные материалы из официальных собраний и частных коллекций России, Франции, Великобритания и США, впервые вниманию читателя предлагаются редчайшие фотографии, публикуется собиравшийся десятилетиями материал из "первых рук" – воспоминания людей, лично знавших Д. Мирского. В Англии исследователь успел застать в живых такую легендарную личность как В. Гучкова-Сувчинская-Трэйл, самого близкого Мирскому человеку в эмиграции, не раз беседовал с Д. Голтон – секретаршей Института славянских исследований, обладавшей феноменальной памятью даже в преклонном возрасте. В Москве он встречался с сестрой Д. Мирского С. Похитоновой, вернувшейся в Россию после Второй мировой войны. Бесценны документы из архивов ГУЛАГа, которые Дж. Смигу удалось обнаружить в Магадане: протоколы допросов, документы, впервые устанавливающие дату и место смерти Мирского в лагере. Нетрудно предположить, что личный архив исследователя, положенный в основу книги, – это уникальное собрание материалов по "мироведению".

В книге три части: "В России, 1890–1920", "Вне России, 1921–1932" и "Снова в России, 1932–1939". В каждой части три главы, в которых подробнейшим образом, по периодам рассматривается биография и анализируется литературная деятельность Д. Мирского. В первой части Дж. Смит воссоздает атмосферу русской жизни начала XX в., при этом демифологизируя ностальгические легенды о русской усадьбной жизни, созданные в эмиграции писателями и мемуаристами, в том числе В. Набоковым. В противовес легенде исследователь предлагает читателю вспомнить социальную историю России: голод, эпидемии, войны. И уже на этом фоне он воссоздает культурную атмосферу утонченности, декадентства, погруженности в мир искусства.

Родословную Святополк-Мирские вели от Рюрика, возведя ее к Святополку Окаян-

ному. Отец критика, князь П.Д. Святополк-Мирский принадлежал к высшей чиновной аристократии, в 1905 г. был министром внутренних дел. Меньше было известно о роде матери Д. Мирского. По этой линии критик состоял в дальнем родстве с Екатериной Великой (его предок, князь А.Г. Бобринский, был незаконным сыном императрицы и графа Григория Орлова). Исследователь показывает, что это была не только одна из самых привилегированных по знатности, но и одна из самых богатых семей своего времени.

Дж. Смит воссоздает жизнь и быт имения, описывает повседневные занятия членов семьи, показывает, как осуществлялось воспитание детей и как они получали домашнее образование. В книге дается исчерпывающий перечень предметов, которые изучал Мирский, перечисляются подаренные ему книги, по большей части посвященные истории государств, войн и естественной истории. Английское воспитание было семейной традицией у Бобринских Брат матери, В.А. Бобринский, получил образование в университете Эдинбурга. От матери, с которой Мирский еще в детстве побывал в Англии, к нему перешла английская гувернантка. Оказавшись в эмиграции, Мирский проявляет, помимо таланта, еще и чудеса работоспособности. Он выпускает по книге в год – по истории России и истории русской литературы, пишет статьи на английском, русском, немецком и французском языках, редактирует толстый журнал ("Версты") и газету "Евразия", переводит и публикует памятники древней и классической русской литературы, при этом успевая отзываться на все новинки литературы русского зарубежья и советской России, Англии и Франции. Он читает университетский курс лекций по русской литературе, выступает с популярными лекциями о России, ведет русский кружок, где обучает англичан русскому языку. Без него не обходится ни одно значительное событие литературной и идейной жизни эмиграции. Он путешествует по всем центрам русской эмиграции Европы.

На вторую половину 1920-х годов приходится расцвет литературно-критического, историко-литературного и идейного творчества Мирского: в этот период более или менее размеренной и обеспеченной жизни в Лондоне им были созданы его лучшие книги и статьи. Важным дополнением к прежнему разбору его работ в новой книге Дж. Смита является анализ принципов подхода Д. Мирского к литературе. С одной стороны, показывает исследователь, Мирский проявлял

интерес к формалистам. В рецензии на сборник русских формалистов, опубликованной в "Современных записках" за 1925 г. (№ 24. "Издания Российского института истории искусств") он дал квалифицированный обзор литературоведческих работ Эйхенбаума, Слонимского, Томашевского, Тынянова и Жирмунского, вышедших в 1923–1924 гг. Он не раз утверждал, что "литература развивается по своим собственным законам, на которые не оказывают давления политические события и социальные революции". Однако, при всем своем "эстетическом подходе", Мирский как правило анализирует "тему", "содержание" произведения и почти никогда не пишет о поэтике. Дж. Смит отмечает, что Мирский в своем анализе ориентируется на традиционный жанровый канон, истинность которого он никогда не подвергает сомнению. Как пишет Смит, Мирский в рецензии на сборник формалистов не только высказал скептическое отношение к теории литературы, но и "предсказал собственный путь развития к догматическому марксизму" (Р. 121). "Ум Мирского – это прежде всего ум аналитический, схематизирующий, обобщающий (reductive) в большей мере, чем творчески созидающий". Мирский никогда не пользуется методом "пристального чтения" на примере конкретного текста, "его гораздо больше интересует выведение обобщающего суждения обо всем произведении в целом, его не привлекает анализ деталей" (Р. 121). Своими литературными предшественниками Мирский считал философа и публициста К.Н. Леонтьева и юриста С.А. Андреевского и А.И. Урусова (два последних имени практически незнакомы литературоведам).

Пытаясь понять мотивы возвращения Д. Мирского в Россию, Дж. Смит показывает, что при всем внешнем благополучии его жизни в Англии, она была лишена подлинных интеллектуальных стимулов, соответствующих его таланту. Должность лектора – пусть даже и Лондонского университета, как оказалось, не удовлетворяла его амбиций. Здесь снова вспоминается Набоков: в конце 1930-х годов писатель – в эту пору уже знаменитый – мечтал о месте лектора в любом англоязычном университете и настойчиво рассылал просьбы о помощи знакомым и влиятельным людям в эмиграции.

Достигнув какой-то цели, Мирский словно теряет интерес к достигнутому и ищет чего-то нового. От литературы он устремляется к идеологии и политике, от преподавания – к журналистской и публицистической работе, от общества интеллек-

туалов – к сближению с рабочим классом. Возможно, ему необходимо было одновременно реализовать себя в разных сферах деятельности – и эту возможность предоставило сближение с евразийцами. Здесь он явно стремился стать идеологом, лидером, определяющим направление движения и его основные принципы. Большая статья о евразийстве была опубликована Д. Мирским в английском "Славянском обозрении" в 1927 г.

Анализируя политические перспективы движения, Д. Мирский сближает и даже отождествляет евразийство с большевизмом. Он сопоставляет выдвинутый евразийцами принцип "идеократии" – власти, основанной на идее – с организацией коммунистического общества, в котором правит одна партия со своей идеологией. Основным тезисом статьи является "необходимость пересмотра и переоценки всех дореволюционных идей и ценностей". О русской революции 1917 г. он пишет: "Событие такого масштаба не может не изменить наших представлений о сути вещей и заставляет нас по-новому посмотреть на историю". Русская интеллигенция, считает он, должна учиться у истории, она обязана творчески переоценивать свои взгляды и меняться под воздействием исторических событий. Такой способностью, отмечает он, в наибольшей мере обладают коммунисты, а в эмигрантской среде надежды подают евразийцы. В заключение Д. Мирский пишет, что хотя евразийство выросло из консервативной традиции русской мысли, оно, тем не менее, неуклонно эволюционирует влево и находит сторонников в советской России.

Другая программная статья Д. Мирского, "Веяние смерти в пореволюционной литературе", опубликованная во втором номере "Верст" за 1927 г., написана в том же ключе, но гораздо резче, так как она была адресована не английской публике, а эмиграции. Основная мысль статьи заключалась в том, что вся дореволюционная поэзия говорит о смерти, а новейшая, в лице Н. Гумилева, М. Цветаевой, Б. Пастернака и В. Маяковского, призывает к жизни. Статья несла в себе отрицание тех духовных ценностей, которые хранила в изгнании эмиграция и в которые верил когда-то сам Д. Мирский. Публикация привела к давно назревавшему разрыву напряженных отношений критика с эмигрантской литературной средой. Но на этом критик не остановился.

30 июня 1931 г. он опубликовал статью "Почему я стал марксистом" в английской рабочей газете "Daily Worker", а 1 сентября статья на ту же тему появилась

в "La Nouvelle Revue Francaise" в Париже под названием "История одного освобождения". В этом очерке Д. Мирский пошел до конца в переоценке всех ценностей. "Освобождение", как явствует из этого очерка, состояло в "сбрасывании оков" идеалистического мировоззрения и в переходе на материалистические позиции. От пут идеализма его освободило знакомство с работами Ленина и Сталина.

С переоценкой русской идеалистической философии и русского религиозного ренессанса логически связан в очерке Д. Мирского пересмотр взглядов на евразийство. Теперь он полностью отрицает значимость движения: «Евразийство это не более чем типичный продукт того мистического и метафизического "ренессанса", который охватил Россию после поражения революции 1905 г. Идеалистические, мистические или виталистические фантазии – это естественное убежище для разлагающейся буржуазии, у которой нет смелости для материалистического мировосприятия, то есть для того, чтобы видеть вещи такими, каковы они есть».

Свой интерес к евразийству, в частности к проблеме национальной культуры, Д. Мирский объясняет тем впечатлением, которое произвела на него литература советской России: "Главным аспектом, в котором раскрывалась для меня национальная проблема в 1924–26 годах, была советская литература. (...) Бабель, Пастернак, Маяковский явились подлинным голосом того подвижного единства, которое представлялось нам Россией...". Знакомство с советской литературой позволило, продолжает он, более глубоко всмотреться в те перемены, которые происходили в СССР, литература пробудила интерес к другим источникам познания новой России. К 1928 г. он почувствовал, что "незаметно для самого себя, но твердо и решительно" перешел на коммунистические позиции. Впоследствии, анализируя эволюцию воззрений Д. Мирского, критики не раз отмечали, что в своих суждениях он и ранее бывал чрезвычайно переменчив. По слову А. Бахраха, он "сжигал то, чему поклонялся, не скрывая, что знает сжигаемому цену" [2]. Эту переменчивость во взглядах Д. Мирского его преемник на русской кафедре Лондонского университета Г.П. Струве определил как "духовное озорство". Однако это озорство закончилось трагически, игра с идеями и убеждениями повлекла за собой крушение судьбы. Сам Д. Мирский в письмах декларирует свою принципиальную беспринципность: "Я вообще человек без убеждений,

и прирожденный, хотя и не всегда открытый, враг идей вообще". А о своем отношении к евразийству он пишет, что "бывает евразийцем в четные, и европейцем в нечетные годы".

В этих парадоксальных заявлениях может быть и была доля шутки, однако судьба Мирского словно выстраивается в соответствии с ними. В короткий период он переживает глубочайший идейный кризис, из которого выходит освобожденным не только от "пут идеализма", но и, кажется, от здравого смысла. Такое впечатление, что к "смене вех" ведет его в наибольшей степени уязвленное самолюбие и неудовлетворенное тщеславие. Но Дж. Смит находит более глубокие мотивы для отказа Мирского от прежней системы ценностей, разрыва с эмиграцией и "конфликта с Англией". Суть последнего он видит в расхождении культурно-психологического порядка: Мирский "был воспитан в культурной и интеллектуальной атмосфере, которой было присуще предчувствие апокалипсиса: и это предчувствие, как оказалось, имело реальные основания. В 1917–20 годах он пережил события, изменившие его собственную жизнь, жизнь его страны и мировую историю. И вот он попадает в другую страну, где, казалось, ничего значительного за это время не произошло, и, как писала Ахматова в "Поэме без героя" (1940), настоящий XX век еще не наступил" (Р. 106).

Есть в новой книге особая глава "Почему Мирский вернулся". Дж. Смит подчеркивает в ней, что "поступки Мирского ни в какой мере не определяются теми мотивами, которыми руководствуется по общепринятому мнению большинство людей: он никогда ничего не делал ради достижения положения, дающего власть, ни ради славы, прижизненной или посмертной, или ради любовной страсти" (Р. 209). Утверждение это в значительной мере опровергается материалом книги, из которой явствует, что в жизни Мирского как раз очень многое определялось жаждой власти над умами, стремлением к идейному лидерству. Об этом особенно отчетливо свидетельствует его роль в расколе евразийства. Решение Мирского ехать в сталинскую Россию Дж. Смит называет "психологическим самоубийством" (Р. 211). В книге показано при этом, что поворот Мирского к сталинизму шел не от неведения, а от сознательного убеждения в необходимости сильной власти в России. В таком случае "самоубийство" не было сознательным, а произошло из-за неверной оценки исторической ситуации и своих дипломатических возможностей.

Интересно, что в определении роли "судьбы" в жизни своего героя Дж. Смит как будто ближе к "русской точке зрения" — к русскому фатализму. Для западного рационализма гораздо более очевидны простые причинно-следственные связи: поступок влечет за собой следствие; таким образом, не столько судьба преследует человека, но главным образом человек сам отвечает за то, что с ним происходит. Поразительное рациональное ясновидение проявила англичанка, никогда не бывавшая в России, но хорошо знавшая русскую литературу: Вирджиния Вульф писала в дневнике об отъезде Мирского в Россию, что "быть пуле в этой голове".

В своей книге 1989 г., сборнике избранных трудов Д. Мирского, Дж. Смит ставил вопросы, ответы на которые могли бы послужить раскрытию некоторых загадок русской души "товарища-князя". В новой книге для решения этих вопросов материала неизмеримо больше. И тем не менее, в оценке своего героя исследователь остается на прежней позиции. Спустя годы Дж. Смит по-прежнему считает, что Мирский был искренне заблуждавшимся человеком. В его возвращении он усматривает проявление патриотизма, воспитанного в его семье. Что патриотизм был семейной чертой, подтверждается для него фактом возвращения на родину сестер Мирского Софии и Ольги. Дж. Смит встречался с С. Похитоновой в Москве в сентябре 1976 г. незадолго до ее смерти. В ответ на вопрос о мотивах ее возвращения она сказала: "В конце концов, это моя родина" (Р. 19).

Желанием работать в России и для России, считает Дж. Смит, продиктовано и возвращение Д. Мирского. В отличие от большинства эмигрантов, "он всегда чувствовал, что для России имело значение лишь то, что происходило внутри страны, а не в зарубежье. Он родился русским и был воспитан в убеждении, что должен служить своей стране. Его на редкость космополитическое образование и общение с иностранной средой только усилили, вместо того чтобы ослабить, чувство национальной принадлежности" (Р. 212). Однако многое в книге, да и во всей совокупности публикаций Дж. Смита, находится в некотором противоречии с этим выводом. Во-первых, в патриотизм человека, сознательно не имевшего убеждений, как-то трудно поверить. Кроме того, в одном из писем к М. Горькому Мирский писал: "Меня двигает не советский патриотизм, а ненависть к буржуазии международной и вера в социальную революцию всеобщую. (...) Коммунизм мне дороже СССР".

Это какая-то рассудочная, надуманная поза. В переписке с писателем Д. Мирский мог бы разыграть идею обычного патриотизма, но он этого не сделал: потому, видимо, что никто бы в его патриотизм не поверил, и прежде всего не верил в него он сам.

И все же мысль Дж. Смита о патриотизме как семейной черте Д. Мирского представляет большой интерес в психологическом плане. Подобные черты формируются из бессознательно принятых с детства, от родителей и окружения установок. Они усваиваются в том возрасте, когда рассудок еще не вступил в свои критические права. Система сознательных этических убеждений формируется на основе этих установок и служит их обоснованию. В жизни, в литературном и идейном творчестве Мирского трудно обнаружить такие установки. Очевидны блестящий ум, феноменальная память, утонченное эстетическое чутье, умение посмотреть на предмет с разных точек зрения, чувство современности и стиля. Но при всей рафинированности этого ума, в нем развита лишь логическая, рассудочная и вкусовая, "эстетическая" стороны. Суждения Мирского великолепно аргументированы, логичны, убедительны, но не хватает в них последней убедительности: смирения критика перед гением писателя, признания бессилия рассудочной логики перед многомерностью искусства.

Приводимые в книге факты создают впечатление, что Мирский менял свои убеждения не во имя истины, а во имя своих интеллектуальных амбиций, самолюбия, стремления к власти над умами. Возможно, эти свои устремления он сам не сознавал, но каждый, кто обращается к его работам, написанным до и после кризиса — а они словно созданы двумя разными людьми, — непременно задумается об особенностях его психологии. Книга Д. Смита еще раз доказывает, что каждая человеческая судьба, восстановленная с научной добросовестностью и с любовью к предмету — это своего рода воскрешение человека, важное не только как факт истории, но и как своего рода жизненный урок новым поколениям.

© 2002 г. О.А. Казнина

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казнина О. Дж. Смит о литературе русского зарубежья: Д.П. Святополк-Мирский // *Славяноведение*. 2000. № 4.
2. Бахрах А. Самообольщенный князь // *Новое русское слово*. 1982. 31 X. С. 5.

L. HARBUL'OVÁ. Ladomirovské reminiscencie. Z dejin ruskej pravoslavnej misie v Ladomirovej. 1923–1944. Prešov, 2000. 127 S.

Л. ГАРБУЛЕВА. Ладомировские реминисценции. Из истории русской православной миссии в Ладомировой. 1923–1944

Книга доцента философского факультета Прешовского университета Любицы Гарбулевой издана при материальном содействии православного богословского факультета названного университета тиражом в 300 экз. Автор взяла на себя нелегкую задачу познакомить читателей с малоизвестной страницей истории русской православной эмиграции в Центральной Европе, с одним из ее представительных центров. Монография основана на материалах ряда архивохранилищ: Архива министерства иностранных дел Чешской республики (Прага), Словацкого национального архива (Братислава), Государственного областного архива (Прешов), Государственного областного архива (Свидник), а также многочисленных периодических изданий миссии и научной литературе, вышедшей преимущественно в последнее десятилетие. Автор использовала и свидетельства очевидцев: бывших учеников приходской школы и слушателей миссии в Ладомировой.

Л. Гарбулева последовательно и обстоятельно, в восьми главах, раскрывает историю и различные стороны деятельности Русской Православной миссии, основанной в деревне Ладомировой (Северо-Западная Словакия). Главную роль в возникновении миссии сыграл архимандрит Виталий, которому Синодом Русской православной церкви за рубежом было поручено не только распространять православие в этой области Словакии (с разрешения Сербской православной церкви), но и организовать типографию, продолжающую традиции Почаевской лавры, разрушенной большевиками. Архимандрит Виталий успешно справился со своей задачей. Уже в 1923–1924 гг. в Ладомировой была построена православная церковь, несколькими годами позднее – деревянный дом, в котором разместились миссия и типография. Последняя в 1932 г. официально признается восприемницей и продолжательницей почаевской типографии.

Автор подробно рассматривает издательско-типографическую, миссионерскую

и культурно-просветительную деятельность миссии в Ладомировой. Типография св. Иова Почаевского за время своей деятельности издала свыше 100 богослужебных и других церковных книг, выпускала "Православный календарь" (1924–1944), газету "Православная Карпатская Русь" (1928), потом "Православная Русь" (1934), журнал "Православный путь" (1939), религиозные книги для детей и пр.

Интересна глава о религиозно-миссионерской жизни миссии. Автор отмечает, что с 1934 г. миссия постепенно преобразуется в монастырь. Миссионерская деятельность протекала в двух направлениях: распространение православной веры в этом регионе Словакии и подготовка будущего духовенства. С этой целью в 1942 г. здесь открылась духовная семинария, успешной деятельности которой помешали военные действия.

Главными направлениями культурно-благотворительной деятельности миссии, как показывает Л. Гарбулева, было проведение Дней русской культуры (по случаю дней рождения А.С. Пушкина) и ежегодных праздников для детей "Русская елка".

Автор приводит интересные факты, доказывающие, что Ладомировская миссия стала одним из крупных центров русской эмиграции в Чехословакии. Она поддерживала постоянные связи с пражскими эмигрантскими организациями и русскими обществами в Братиславе и Кошице. Миссию не раз посещали русские эмигранты из других европейских стран (А.В. Карташев, И.С. Шмелев, князь Н.А. Романов и др.).

Л. Гарбулева подробно характеризует кадровый состав миссии, число членов которой колебалось в пределах от 25 до 30 человек; ей удалось собрать уникальные биографические данные о многих известных и малоизвестных деятелях миссии. Среди них: архимандрит Виталий (В. Максименко), игумен Савва (К.П. Струве), архимандрит Серафим (Иванов), архимандрит Нафанаил

(Львов) и ряд других, портреты которых также впервые опубликованы в книге.

Интересно рассказано здесь о последних годах деятельности миссии. Ей удалось приспособиться к режиму нового Словацкого государства, которое не препятствовало ее разнообразной работе. Однако с наступлением Красной Армии и приближением фронта к границам Словакии руководство миссии, не сочувствовавшее советской власти, приняло решение о ее ликвидации. Часть монахов переселилась в Мюнхен (в русский православный монастырь), другая часть – с большими сложностями перебралась за океан, в монастырь св. Троицы в Джорданвилле (США), где их принял архимандрит Виталий, выполнявший здесь свою новую миссию с 1934 г. В США была перевезена икона св. Иона Почаевского, покровителя почаевских и ладомирских типографов, здесь была вновь основана типография. В Ладомирской же в результате военных действий погибли почти все постройки и имущество миссии. Чудом сохранилась православная церковь, которая действует до настоящего времени.

Книга написана хорошим литературным языком, интересно иллюстрирована редкими

фотографиями из периодики и личных архивов очевидцев, в приложении помещены копии ряда ценных архивных документов, наглядно характеризующих деятельность миссии. Публикацию заключают два резюме – на русском и английском языках, подробный список источников и литературы.

Полагаем, что книга Л. Гарбулевой, хорошо продуманная идейно и разработанная фактически со всей возможной полнотой, эстетично выполненная полиграфически, является ценным вкладом в изучение истории русской эмиграции в Центральной Европе вообще, и, в частности, в освещение малоизвестной еще у нас деятельности Русской православной церкви за рубежом. При желательном повторном издании книги хотелось бы порекомендовать автору дополнить ее по возможности материалом о международных связях миссии, о ее контактах с другими учреждениями Русской православной церкви за рубежом, в том числе в Германии.

© 2002 г. М.Ю. Досталь

Славяноведение, № 4

Неоязычество на просторах Евразии / Сост. В. Шнирельман. М., 2001. 180 С.

Рецензируемый сборник выпущен по материалам конференции, проведенной в июне 1999 г. Институтом этнологии и антропологии Российской академии наук в рамках проходившего в Москве III Конгресса российских этнографов и антропологов, и состоит из переработанных в статьи наиболее интересных представленных на ней докладов. Издание представляет собой одну из немногих пока российских монографических научных публикаций, посвященных неоязыческой проблематике.

Основную часть книги составляют: статьи о современном русском неоязычестве (В.А. Шнирельман, с. 10–38); о неоязычниках в Санкт-Петербурге (Е.Л. Мороз, с. 39–55); о "Древнерусской Инглистической церкви православных староверов-инглингов" в Омске (В.Б. Яшин, с. 56–67);

о неоязыческих проявлениях в Белоруссии (А.В. Гурко, с. 68–79); обстоятельная работа о движении диевтурибов (dievturība) в Латвии (С.И. Рыжакова, с. 80–113); содержащая новейший этнографический материал публикация о возрождении никогда до конца не преодоленной традиционной религии в Абхазии (А.Б. Крылов, с. 114–129). Завершает данную часть емкая обзорная работа В.А. Шнирельмана, посвященная рассматриваемому в монографическом сборнике феномену на Украине, в Литве, у марийцев, удмуртов, мордвы, чувашей, коми, осетин, в Армении, а также у некоторых принадлежащих миру ислама тюркоязычных народов постсоветского пространства (С. 130–169). Книга снабжена постановочным введением (В.А. Шнирельман, с. 7–9); в ней имеются пространные резюме основных публикаций

и сведения об авторах, что свидетельствует о должной культуре издания.

Думаем, что не целесообразно подробно излагать-аннотировать вошедшие в сборник статьи, поскольку каждая из них насыщена разнообразным и богатым фактическим материалом – богатым в том числе потому, что в них имеется развернутая система сносок, репрезентативно отразившая имевшиеся на конец 1990-х годов источники и литературу по различным аспектам неоязычества. Поэтому считаем за лучшее отослать заинтересованного читателя непосредственно к авторским текстам и сосредоточиться, основываясь на материалах книги, на некоторых общих и теоретических ракурсах проблематики современного неоязычества.

Поскольку вошедшие в сборник публикации в виде докладов были подготовлены к конференции 1999 г., то закономерно, что упоминаемые в них печатные (в бумажном виде) источники и литература, как правило, появились не позднее 1998 г. Тогда Интернет в России и многих других странах бывшего СССР только начал входить в жизненный и научный обиход, потому никак нельзя упрекнуть авторский коллектив в неучете (за некоторым исключением) его возможностей и источниковедческих ресурсов. Сегодня ситуация качественно иная: неоязыческий сегмент Рунета представляет собой объемное, динамично развивающееся и расширяющееся информационное пространство. В силу этого почерпнутые из Интернета данные, с нашей точки зрения, должны стать важной, более того, обязательной самостоятельной составляющей источниковой базы дальнейшего изучения современного неоязычества.

Многие неоязыческие общины различных регионов России (и не только) и некоторые лидеры этого течения ныне имеют в Интернете свои страницы, сайты. Это относится как к "старым" объединениям (скажем, к рассматриваемой В.Б. Яшиным церкви инглигов, на что автор указывает на с. 58), так имеются сайты и сравнительно недавно возникших общин – в качестве примера укажем на Орловскую славянскую общину (образовалась летом 1998 г.), создал свою интернет-страницу один из известных идеологов и практиков русского неоязычества А.А. Добровольский (Доброслав), чьи воззрения анализирует В.А. Шнирельман, и т.д. Весьма многочисленны интернет-страницы "общенеоязыческого" содержания, нередко создаваемые энтузиастами. Вообще следует констатировать, что именно Интернет стал сегодня мощным инстру-

ментом пропаганды различными направлениями неоязычества своих воззрений.

Одним из наиболее хорошо проработанных и богатых источниковых материалов является сайт "Славянское язычество", только на поисково-информационном сервере компании "Рамблер" он посещается более шести тысяч раз в месяц, что является достаточно хорошим показателем интереса пользователей. Его автор-составитель Ярослав Добролюбов на вводной странице заявляет (в цитате правописание оставлено без изменений): «Менее всего этот сайт будет интересен праздному гуляющим по Сети, ...хотя и для таковых... здесь собраны материалы о древних языческих представлениях, богах, праздниках... В большей степени этот сайт интересен будет тем, кто интересуется древней историей славян и иных народов. Для этих граждан здесь собрана весьма интересная и достаточно подробная информация... *В значительной же и наибольшей степени этот сайт будет интересен тем, кто интересуется Языческой Философией в самом широком смысле этого слова.* Благо, именно здесь представлены уникальные материалы многим числом, в полной мере раскрывающие именно философскую концепцию язычества – прошлого и современности, в ее развитии... *Данный сайт может быть интересен язычникам, сатанистам, атеистам, агностикам, скептикам, ...просто самостоятельно мыслящим гражданам, желающим пополнить свои знания (в режиме "подтверждения собственной правоты"), и представителям монотеистических и прочих моноидеологических концепций (в режиме "ознакомления" или в режиме "прозрения от заблуждений"...) Ибо... здесь представлены (в том числе) и критические материалы: исторически оправданный и справедливый взгляд Поли(теистической) Философии (в просторечии – "язычества") на своих "погубителей" (в прошлом) и "противников" (ныне) – монорелигии и моноидеологии – какие до сих пор продолжают считать себя вправе "выселять с неба чужих богов" и не признавать право других на самостоятельное мышление и действие. Главная идея сайта – предоставление интересующимся гражданам информации, на основании которой они могут учиться мыслить самостоятельно, а не по готовым шаблонам, любезно предложенным методистами от какой-либо религии и прочих "великих идей" (политруки, бригаденфюреры, священники) – *дабы Знание пришло на смену вере*».*

Данное заявление интересно тем, что вполне репрезентативно отражает, на какие социальные слои стремятся особо ориентироваться многие течения современного неоязычества, в том числе "славянского" (если отбросить словесную выпренность текста, это достаточно образцованные горожане, что неоднократно отмечают и авторы рецензируемого сборника), и некоторые его широко распространенные ключевые идейные установки: резкое неприятие доминирующих монотеистических религий и тотальных идеологий; стремление вернуться к "истокам", "корням", "вере предков", базирующееся на протестном антиглобализме в сфере культуры, с одной стороны, и на поисках основ этнокультурной идентичности и национальной самобытности, путей национального возрождения, нередко принимающих крайние националистические формы, – с другой; провозглашение необходимости мировоззренческого и вероисповедного плюрализма в современных условиях.

На сайте содержатся самые разнообразнейшие материалы (печатные и фотогафические), причем не только неоязычников различных направлений и их лидеров: "непременная" "Влесова книга", отсылки к "дружественным" интернет-страницам и т.п., но и специальные научные работы (например, автор рецензии обнаружил, что с интернетресурса "Международный исторический журнал" (2000. № 10; <http://history.pashaon.ru>) была "заимствована" его публикация "Особенности формирования и развития восточнославянского язычества", при этом ее заголовок определенным образом изменен).

Преимущества и необходимость широкого использования учеными указанного электронного вида источников бесспорны: в отличие от бумажной печатной продукции, в Интернете новые сайты (нередко своего рода многостраничные "книжки") появляются значительно более оперативно; они регулярно обновляются и дополняются, это позволяет достаточно быстро получать информацию о недавно происшедших событиях и отслеживать происходящие изменения, в том числе идейного порядка; безусловно прогнозируемы дальнейшее расширение "информационного поля" неоязыческого сегмента Интернета и, соответственно, рост общего объема информации источниковедческого характера о данном течении; для интернет-страниц материал специально отбирается или он излагается в концентрированном виде, что облегчает анализ идеологических основ того или иного направления неоязычества, воззрений како-

го-либо общества или лидера и выявление их отличий от других (сходства с другими); наконец, Интернет сегодня зачастую гораздо более доступен, чем очень многие печатные бумажные издания.

Серьезное внимание авторами сборника уделяется теоретическим аспектам проблематики.

В.А. Шнирельман, как представляется, справедливо обобщает: "В современном неоязычестве следует отчетливо выделять два разных потока – книжное по сути, умозрительное неоязычество, искусственно созданное городской интеллигенцией, давно утерявшей связь с традиционной культурой, и языческое движение, возрождающееся в селе, где нередко можно проследить непрерывную линию преемственности, идущую из глубин культуры. Первое, безусловно, господствует у русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей и армян, где можно смело говорить об "изобретении традиции". У народов Поволжья, осетин и абхазов наблюдается более сложная картина, здесь обе тенденции весьма своеобразно взаимодействуют и пересекаются" (С. 168).

В силу данной констатации встает вопрос: настолько к указанным двум потокам применим термин "неоязычество", т.е., дословно, "новое язычество", "новоязычество", если подходить к нему как к понятию научному? (Позиция самих представителей данного течения по отношению к термину двояка: одни принимают его и говорят, что они *возрождают* язычество, другие относятся отрицательно, указывая, что *продолжают* никогда не умирившую языческую традицию.) А.В. Гурко полагает, что смысл и содержание понятия "неоязычество" «можно определять исходя из термина "язычество", обозначающего разнородные политеистические религии, культы, верования, и определения новых религиозных движений, для которых характерны синкретизм, активное использование средств массовой информации, коммуникаций, апокалипсизм, миссионерство» (С. 68).

Первый выделяемый В.А. Шнирельманом городской, интеллигентский поток и на наш взгляд является имеющим различные и весьма произвольные формы заведомым, что в принципе вовсе не отрицается многими неоязычниками, *искусственным и эклектическим* интеллектуальным конструктом (поэтому, в частности, не приходится серьезно подходить к его научной стороне и источниковой фундаментальности), «который можно трактовать в терминах "изобретения культуры"» (С. 7).

В таком случае, однако, возможно ли с точки зрения научной терминологии, науки вообще говорить об этом потоке как о языке, даваемого А.В. Гурко? Ведь, скажем, то же славянское язычество являлось *многоуровневой и многослойной религиозной системой*, складывавшейся и развивавшейся *естественным образом и непрерывно* в течение тысячелетий (вполне правомерно за его условную "исходную точку" брать уровень еще индоевропейский; допустимо нисхождение и на большую хронологическую глубину, скажем, ностратическую – вплоть до выхода за пределы истории вида *Homo sapiens*, что следует из одной из гипотез о происхождении религии), но вовсе не одновременно и не в результате умственных усилий узких групп или отдельных индивидов, определенным образом преломляющих взгляды и потребности социума (или его части), далеко шагнувшего за те общественные рамки, в которых складывалось и функционировало подлинное, органическое язычество. Поэтому в научных понятиях данное направление было бы точнее определять как *квазиязычество* или *псевдоязычество*, т.е. ненастоящее, мнимое (даже ложное) язычество. Самое большее, термин "*неоязычество*" в рассматриваемом случае следует понимать только как "*сконструированное, изобретенное язычество*". Если же подходить излишне буквально, то понятие "неоязычество" может порождать неверные смысловые коллизии, как то видно из приведенного суждения А.В. Гурко.

Другой пример из рецензируемого сборника В.Б. Яшин пишет: «...нередко термин "неоязычество" трактуется как совокупность всех без исключения нехристианских (прежде всего неправославных) культов и учений, возникших в последнее время... Однако предпочтительнее выглядит использование этого понятия в более узком смысле: неоязычество – идейно-политическое движение, направленное на реанимацию доавраамических локально-этнических верований и культов и связанных с ними традиционных социальных институтов» (С. 56). Но в отношении рассматриваемого "городского потока" речь о "реанимации", т.е. оживлении, возвращении к жизни, язычества вести затруднительно – хотя бы потому, что реанимировать просто нечего, ибо отсутствует сам объект "возращения к жизни": доавраамические верования в чистом своем виде умерли безвозвратно; дошедшие до нас источники, даже после скрупулезного научного анализа, позволяют

их воссоздать только в общих чертах, в приближении, но никак не в полноте. В частности поэтому квазиязыческие системы неизбежно являются собой продукт искусственного конструирования, а за недостатком "своего" аутентичного материала – конструирования эклектичного, широко черпающего как из фальшивок вроде "Влесовой книги", так и иноэтнических верований, религиозных традиций, разнохарактерных и разновременных источников, включая художественную литературу в жанре фэнтези. Скажем, даже название специально рассматриваемой в статье В.Б. Яшина "Древнерусской Ингливистической церкви православных стареров-инглигов" восходит в конечном счете к наименованию правившей в Старой Упсале легендарной династии Инглингов, конунгов Свеаленда, о которой говорится в Младшей Эдде и особенно в "Саге об Инглингах" в "Круге земном" Снорри Стурлусона (около 1230 г.); ее прародителем считался верховный бог в скандинавской мифологии Один. Да и приводимый В.Б. Яшиным материал по истории и идеологии церкви инглигов недвусмысленно свидетельствует в пользу высказанного нами суждения.

Кроме того, встает серьезнейшая и требующая специального изучения, в первую очередь социологического характера, проблема **в е р ы** "городских" неоязычников (среди которых много рационалистически мыслящих представителей технической интеллигенции) в реальность объявляемых ими религией сконструированных фикций, ибо без уверования подлинная религия не представляема.

Существенно иначе обстоит дело с выделяемым В.А. Шнирельманом вторым потоком. Применительно к нему наименование "неоязычество" также не представляется нам удовлетворительным, однако по противоположным основаниям. Анализируя неоязыческие течения у некоторых народов на постсоветском пространстве, исследователь пишет (курсив в цитатах наш): «Если в городе возрождением марийского язычества занималась марийская интеллигенция, ...то на селе, где *традиция не прерывалась*, для этого имелись иные основы. Там за возрождение "исконной веры" взялись местные жрецы-карты, память которых *хранила древние традиции и ритуалы*» (С. 145), "возрождению язычества способствует тот факт, что среди марийцев *языческая традиция никогда не прерывалась*" (С. 146); в Удмуртии можно выделить неоязыческое направление, развивающееся на селе, "где наблюдается *преemptивность с тради-*

ционными дохристианскими верованиями, которые никогда здесь полностью не исчезали» (С. 149); «в силу исторических причин и четкой социальной дифференциации в Осетии веками бок о бок сосуществовали иудаизм, христианство и ислам. Наряду с этим, осетины никогда не забывали и о культуре местных духов, которым при каждом удобном случае отдавали знаки уважения в святых местах или особых святилищах. Впрочем, с переселением осетин с гор на равнину многие старые святилища утратили свою былую роль. Однако языческие традиции не забылись, и в последние годы наблюдается "воссоздание" язычества на новой основе путем переосмысления старого наследия» (С. 158). Как показывает А.Б. Крылов, основываясь на собственных полевых наблюдениях и анализе, христианизация и исламизация затронули большинство населения Абхазии лишь поверхностно. «...для всех абхазов, — отмечает он, — перво-степенной остается традиционная религия их предков... И абхазские "христиане", и абхазские "мусульмане" на деле исповедуют одну религию — традиционную религию своих предков. Та же картина у абхазских атеистов...» (С. 116), «несмотря на многие десятилетия господства государственного атеизма, на протяжении всего советского периода большинство абхазов сохранили почитание традиционных святилищ и жрецов» (С. 128).

Применительно к этому, второму "неоязыческому потоку" говорить о собственно язычестве в научном понимании данного термина, вероятно, в целом более правомерно, по крайней мере языческая традиция в указанных случаях действительно представляет собой преемственную непрерывность, континуитет; иначе здесь дело обстоит, можно думать, и с проблемой веры. Однако неуместным тогда является определение этой традиции в качестве неоязычества, нового язычества. И дела принципиально не меняет то обстоятельство, что "городские" неоязычники активно стремятся использовать сохранившиеся архаические воззрения и обряды в своих псевдоязыческих "реконструкциях", а сами эти верования, несомненно, испытали влияние со стороны христианства и ислама. Показательно, что А.Б. Крылов термин "неоязычество" сознательно не употребляет и оперирует понятием "традиционная религия", что терминологически значительно более корректно.

Таким образом, понятие "неоязычество", считаем, неадекватно отражает то разноплановое и разноликое течение, которое получило определенное распространение

в наши дни. Вместе с тем оно вошло в научный, публицистический и иной оборот и прочно в нем закрепилось. Однако необходимо помнить о высокой степени его условности и не поддаваться терминологическим фантомам, памятуя о том, что неправильное употребление слов ведет к ошибкам в сфере мышления.

Еще одна общая проблема, на которой бы хотелось остановиться специально, — это перспективы неоязыческого движения. Последний из трех содержащихся в книге материалов В.А. Шнирельмана носит название "Назад к язычеству? Триумфальное шествие неоязычества по просторам Евразии". Заголовок этот нам представляется несколько публицистичным. Ни о каком массовом возврате в наши дни к язычеству, разумеется, речь не идет, а навязанное терминологией В.И. Ленина "триумфальное шествие" неоязычества можно понимать только лишь как то, что данное явление сегодня получило определенное распространение в самых разных регионах, традиционно как христианских, так и мусульманских, и у многих этносов постсоветского пространства, исповедовавших и исповедующих эти мировые религии. Впрочем, последнее обстоятельство само по себе более чем примечательно, так как свидетельствует о том, что это течение порождает общие причины фундаментального характера — вне зависимости от конфессиональных, культурных и этнических ареалов, в которых самостоятельно возникают его разнообразные проявления. Одна из таких глубинных причин — активнейший поиск прежде всего частью интеллигенции основ самодентификации "своего" этноса в первую очередь через обоснование его особенности, инакости по отношению к окружающим (что само по себе является одним из ключевых элементов этнического самосознания). Отсюда и обращение к "подлинной религии", понимаемой как самобытная древняя "религия пращуров", и потому неприятие традиционных мировых религий, оцениваемых как космополитические и/или навязанные сверху и в силу этого мешающих национально-культурному возрождению "своего" этноса. Отсюда же, кстати, и активная деятельность либо по возрождению давно отвергнутых наукой, либо по созданию и популяризации новых паранисторических конструкций, призванных обосновать "исконное первородство" "своего" этноса перед иными, его культуртрегерскую роль в мировой истории (поэтому неслучайно неоязычество "щедрой рукой" черпает из этого псевдоисторического арсенала —

и наоборот, вплоть до полного неразличения того, где заканчивается квазиязычество и начинается параистория). Богатый материал для приведенных суждений содержится в рецензируемом сборнике.

Относительно будущности неоязычества скажем, что, огрубляя и спрямляя ситуацию, на наш взгляд, оно было, есть и обречено оставаться явлением маргинальным, в особенности это относится к "городскому" умозрительному квазиязычеству. О том ярко свидетельствует все примерно десятилетие после распада СССР, когда неоязычество, казалось бы, получило мощные стимулы для развития и распространения, но так и не сумело приобрести массового характера, что основательно показали В.А. Шнирельман, Е.Л. Мороз, В.Б. Яшин, А.В. Гурко, С.И. Рыжакова. Претензии неоязычников восполнить возникшую после краха советской марксистско-ленинской идеологии пустоту в умах людей оказались несостоятельны.

Одна из главных причин неизбежной маргинальности неоязычества, с нашей точки зрения, заключается в том, что "неоязыческие облачения" *необязательны*, избыточны и для роста самосознания большей части этносов постсоветского пространства, усилий по этнокультурному возрождению, поиску национальной идентичности и самобытности; и для протестных движений, выступающих против глобальной нивелировки культур, фактически – против их

вестернизации; и для националистического толка экстремизма; специально не нужны они и этнократическим элитам многих бывших союзных и автономных административных образований. Все они могут найти и, как правило, находят удовлетворительную идейную опору в рамках традиционных религиозных вероучений или в иных идеологических системах координат, в неоязычестве императивно не нуждаясь. Вместе с тем это вовсе не означает, что неоязычество обречено на относительно скорое исчезновение, так как, повторим, оно является одним из проявлений действия долговременных и глубоких общественных факторов. Прогностическое моделирование возможных путей его дальнейшего развития, думаем, является интересной самостоятельной научной задачей. Кроме того, сохранению сегодняшней относительной популярности неоязычества будет способствовать и то, что можно назвать интеллектуальной модой.

Данная небольшая рецензия, разумеется, не охватывает всего содержательного богатства монографического сборника "Неоязычество на просторах Евразии", безусловно являющегося важной вехой в научной разработке проблематики и дополнительно побуждающего к ее дальнейшему изучению и теоретическому осмыслению.

© 2002 г. М.А. Васильева

Славяноведение, № 4

G. BARBĂ, L. COTORCEA, A. CRASOVȘCHI. Слово о полку Игореве. Cântecului oastei lui Igor. București, 2000. 420 P.

Г. БАРБЭ, Л. КОТОРЧА, А. КРАСОВСКАЯ. Слово о полку Игореве

Издательство "Критерий" выпустило в свет уникальное издание "Слова о полку Игореве", осуществленное при содействии Общины русских-липован Румынии и Совета по вопросам национальностей. Структура книги (оригинал "Слова", четыре варианта его перевода на русский язык – В.А. Жуковского, А.И. Майкова, Д.С. Лихачева, В.А. Кожевникова, четыре варианта перевода на румынский язык – Ал. Пападопол-

Калимаха, Дж. Менюка, М. Бенюка, Л. Которчи) выстроена А. Красовской; она же – автор предисловия к ней. Кроме того, содержание дополнено статьями Г. Барбэ, М. Ласло-Куцок и Л. Которчи. Завершает книгу микророман Г. Барбэ "Сказ о князе Игоре".

Обложка украшена картиной А. Морозова "Богатырь", а на вклейках тут и там разбросаны палехского "чина" прекрасные рисунки Р. Смирновой.

Замысел труда, как явствует из предисловия А. Красовской, вынашивался специалистами давно. Благо поводов к тому было предостаточно: 800-летие создания поэмы, 200-летие со дня обнаружения ее, 115-летие со дня публикации первого румынского перевода "Слова", сделанного известным славистом и политическим деятелем Ал. Пападопол-Калимахом. Именно к последней дате и приурочено издание рецензируемой книги. И уже на первой странице предисловия – важный сюрприз: оказывается, в дело приобщения широкого русского читательских кругов к содержанию "Слова" свой вклад внесли потомки ... румынских бояр, последовавших за князем Дмитрием Кантемиром в 1711 г. и осевших в России, – писатель М.М. Херасков (Хереску), первый посвятивший "Слову" строки в своей поэме "Владимир", а также историк Н.Н. Бантыш-Каменский, оказавший А.И. Мусину-Пушкину, наряду с А.Ф. Малиновским, существенную помощь в издании "Слова" и переводе его на современный русский язык.

А. Красовская ставит "Слово" в один ряд со скандинавскими сагами, "Песней о Нибелунгах", "Песней о моем Сиде", "Витязем в тигровой шкуре". Не менее впечатляет и "вертикальный" ряд сопоставлений – с творчеством А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Пусть кому-то подобные сопоставления покажутся избитыми, но то, что они так убедительно прозвучали в Румынии, представляется особо важным. Так же, впрочем, как и представленные в статье данные о количестве переводов "Слова" на различные языки мира: на польском, чешском, болгарском языках имеется по четыре варианта переводов, а на немецком – семнадцать, из которых один принадлежит перу Райнера Марии Рильке.

Но особенно интересно замечание А. Красовской о том, что восприятию "Слова о полку Игореве" в Румынии была уготована "особая судьба". Первый перевод академика Пападопол-Калимаха был снабжен обширным научным аппаратом, причем многие выводы известного слависта сохраняют свою жизненность поныне. Маститый ученый не сомневался, что для русских "Слово" столь же ценно, как "гомеровские эпосы для эллинов, легенды о Нибелунгах – для немцев". В 1939 г. Б. Байдан публикует в яском журнале "Время учебы" отдельные поправки к некоторым неверным замечаниям Пападопол-Калимаха. Исследователь русского шедевра присовокупил при этом отдельные фрагменты собственного перевода поэмы.

Второй полноценный перевод "Слова" белым стихом принадлежит известному поэту М. Бенюку. За период с 1951 по 1959 г. этот перевод переиздавался массовыми тиражами трижды. По признанию переводчика, он "потратил несколько лет", чтобы как можно более достоверно передать "румынским слогом" содержание "самого древнего и, возможно, самого значимого произведения старой Руси". В те же годы в Кишиневе увидел свет перевод поэта Джордже Менюка. Но особенно знаменательно, что и сегодня, когда фундаментальные изменения общественно-политического порядка так преобразовали отношения между нашими странами, интерес к гениальному творению не ослабевает. Свидетельство тому – выход в свет в 1999 г. в яском журнале "Китеж" во многом нового перевода "Слова" и обширного комментария к нему, принадлежащего перу профессора Ливии Которчи.

В предисловии указано также, что известный детский писатель А. Митру издал в 1960-е годы среди других "великих легенд мира" и прозаическое переложение поэмы для юношества. А в рецензируемом издании помещен и исторический микророман профессора Г. Барбэ "Сказ о князе Игоре". Поистине – "особа судьба" русского шедевра на ниве румынской словесности.

В дни празднования 800-летия создания "Слова" румынский поэт И. Александру писал: "Мне суждена была радость приобщения к духу этой поэмы, к изображаемому в ней веку средневековой истории родины Пушкина и Рублева, Грека и Достоевского". Русский шедевр свидетельствует, что "поэмы в состоянии творить историю, когда они опираются на историю, творимую народом".

В статье профессора М. Ласло-Куцюк предложены убедительные поправки к некоторым неверным толкованиям первого румынского переводчика "Слова" Пападопол-Калимаха. Приведены дополнительные аргументы в пользу определения места рождения поэмы (не Северная, а Южная Русь), уточнен смысл некоторых тюркизмов в тексте оригинала, которые, по мнению исследовательницы, неверно поняты и прокомментированы специалистами. Можно не сомневаться, что приведенные в статье – без содействия О. Сулейменова и Ф. Нурутдинова – новые соображения относительно смысла слов и словосочетаний "тропа Трояна", "на седьмом веке Трояна", "Див" и другие вызовут интерес наших специалистов и станут предметом обмена мнениями.

Что же касается "послесловия к переводу" Л. Которчи, то по сути своей оно напо-

минает серьезное предисловие, насыщенное аргументами в пользу обновленного подхода к тексту поэмы и поиска новых средств передачи ее содержания на румынском языке. Для поиска этих средств переводчица воссоздает историю открытия поэмы, затем рассматривает ее содержание с точки зрения истории, археологии, истории литературы, текстологии, сравнительного литературоведения, поэтики, стилистики и т.д. Исследование исторических свидетельств позволяет Л. Которчи яснее представлять себе сам образ главного героя поэмы. Не меньший интерес проявляет она и к образу автора "Слова", творца особого лирико-эпического стиля, свидетельствующего о высокой одаренности сочинителя. Не оставила без внимания переводчица и роль народных произведений и дружинных песен эпохи.

Все это позволяет Л. Которчи сделать вывод о том, что "Слово" можно рассматривать как развитую систему символических образов, представляющих экстенсивную форму предметов мира или охватывающих такие собственные или нарицательные имена как "Киев", "Царьград", "Дунай", или "сокол", "волк", "ворон" и т.д. В отношении

ритмической структуры "Слова" переводчица предпочитает мнению Н.М. Карамзина и Д.С. Лихачева (ритмизированная проза) убежденность В. Хлебникова в том, что речь идет о верлибре. Всем этим следует объяснить ощущение свежести и поэтической прозрачности, которыми дышит текст перевода.

Своеобразным венцом рецензируемой книги служит "Сказ о князе Игоре" профессора Г. Барбэ. Неутомимый труженик на ниве русско-румынских культурных отношений, педагог, переводчик, лингвист предстает перед читателями в роли искусного рассказчика, со знанием дела вплетающего в ткань исторического повествования запоминающиеся стиливые элементы румынской сказки. Найден, думается, удачный путь к сердцу читателя, найдена удачная форма приобщения юношества Румынии к благородной сути послания, содержащегося в "Слове о полку Игореве".

Хочется от души поздравить румынских коллег с удивительно своевременным и чрезвычайно полезным свершением.

© 2002 г. М.В. Фридман

Славяноведение, № 4

ДЖ. ТРИФУНОВИЧ. Ка почецима српске писмености. Београд, 2001. 194 С.

ДЖ. ТРИФУНОВИЧ. К истокам сербской письменности.

Рецензируемая книга профессора Джордже Трифуновича, обобщая последние достижения в области истории южнославянской письменности, представляет вместе с тем ценный вклад в ее изучение. Автор ставит и блестяще решает задачу – на примере конкретных памятников сербской письменности обосновать положение о том, что ее истоки следует относить к эпохе Кирилла и Мефодия и их первых последователей, и что эта письменность в значительной своей части была глаголической. Подобный вывод расходится с традиционной точкой зрения, согласно которой история сербской письменности начинается с XII в. – времени образования Сербского государства.

Как убедительно доказывает ученый, сербские земли уже в X в. или, самое позднее, в XI в. были готовы принять книги на старославянском языке, для чего существовала необходимая духовная основа. Так, весьма рано появились у сербов *Шестоднев Иоанна Экзарха* (древнейший сербский список 1263 г.) и *Учительное Евангелие* Константина Преславского (известны две сербские рукописи). С *Прогласа к Евангелию* начинается одно из сербских четвероевангелий третьей четверти XIII в. В нескольких сербских списках сохранились поучения и похвальные слова Климента Охридского, его гимнографические сочинения, например, *Азбучные стихиры Бого-*

явленского сочельника из Архива САНУ (№ 361, XIII в.). Одна из ранних сербских рукописей (Миней Братка второй четверти XIII в.) свидетельствует о бытовании в сербской книжности *Канона св. Андрею*, написанного св. Наумом Охридским. В служебной минее конца XIII или начала XIV в. найдена неизвестная ранее *Служба св. Мефодию* (ГИМ. Собр. А.И. Хлудова. № 156), появившаяся в сербских списках, очевидно, до XIV в. Рано были усвоены сербской традицией также трактат "*О письменах*" Черноризца Храбра (конец XI в., лучший список – Пивский, XV–XVI вв.) и "*Беседа против богомилов*" Козьмы Пресвитера. Текст ее, написанный во второй половине X в., нашел отражение уже в Сборнике попа Драголя, сербской рукописи третьей четверти XIII в. Как отмечает исследователь, в одной из сербских рукописей сохранились следы возникшего в древности в преспанском крае почитания св. Ахилия, участника Первого Вселенского собора в Никее 325 г., борца против арианства. Об этом мы можем судить по средневековой пергаменной рукописи XIII в. – праздничной Минее середины XIII в. (Архив САНУ. № 36).

Новыми открытиями медиевистов автор подтверждает свой вывод о том, что памятники славянской письменности приходили в Сербию из преславских краев без посредничества Охрида. Вместе с тем Дж. Трифунович затрагивает вопрос о духовных связях Охрида и Дукли в конце X – начале XI в., одним из плодов которых явилось *Житие св. князя Владимира*, составленное после 1018 г. и сохранившееся в составе Барского родослова. Любопытно приводимые автором книги свидетельства одной из сербских рукописей, касающиеся истории Охридской архиепископии (*Житие св. Антония Великого* из собр. Хлудова, ГИМ).

Рассматривая различные аспекты истории сербской духовной культуры, Трифунович заключает, что возникновение сербской письменности определялось средой и обстоятельствами, которые сложились в сербских землях в период со времени принятия христианства до прихода Немани в Рашку, когда и окончился длительный путь ее усвоения и формирования ее национальных черт. Ученый, однако, указывает и на трудности определения места или области возникновения сербской редакции старославянского языка, что связано с интенсивностью передвижений людей в средние века, густой сетью внутренних путей, которые часто имели свое продолжение вне пределов страны.

История письменности рассматривается в книге на фоне духовной и культурной истории сербов в целом. Особое внимание, в частности, уделяется церковному строительству в сербских землях до 60-х годов XII в., а также живописи, ряд образцов которой свидетельствует о том, что в сербских краях период совместного, сербско-славянского и греческого богослужения был достаточно длителен. Сведения об этом можно было почерпнуть, в частности, из надписей на фресках кельи св. Петра Коришского недалеко от Призрена. Еще больше данных, подтверждающих такой вывод, имеется, по мнению автора, в памятниках письменности; один из них – *Афинский Апостол* (№ 149 из собрания Национальной библиотеки Афин), пока не вошедший в научный оборот. Содержащиеся в нем надписи выполнены, очевидно, в XII в. Апостол, по всей вероятности, появился в сербских землях, входивших в состав Охридской архиепископии. В связи с этим подчеркнем одно из важнейших достоинств монографии проф. Дж. Трифуновича – широкое использование новейших научных данных для аргументации выдвигаемых положений.

В первой главе книги в связи с вопросом о возникновении сербской редакции старославянского языка ученый останавливается на судьбе полугласных в сербских памятниках. Здесь отмечается, что глаголица укоренилась в сербских краях и в течение X–XII вв. употреблялась одновременно с кириллицей, которая все более закреплялась в сфере юридической письменности. Длительная эволюция сербского правописания была связана с постепенной заменой одной азбуки другой, поэтому правописание многих сербских рукописей, особенно в первой половине XIII в., не отличалось единообразием. Выражая мнение, не совпадающее с традиционным, исследователь утверждает, что в них длительное время употреблялись обе полугласные, как это было и в старославянском языке, а не только один "Ь". Так, в Шестодневе Иоанна Экзарха, переписанном грамматиком Феодором Спаном, весьма часто, по наблюдениям автора, употребляется "Ъ" наряду с равномерным использованием обеих полугласных. Трифунович обращает внимание на то, что в древнейших сербских памятниках графический облик полугласных мог тяготеть не только к "Ь", но и к "Ъ", что подтверждают древнейшие надписи на каменных плитах – *Хумская плита* конца XII в., *Запись требиньского жулана Грди* (1173–1189), а также *надписи на древнейших фресках*

церкви Богородицы в монастыре Студеница (1208–1209). По словам автора, вопрос о появлении однообразия в употреблении полугласных и сведения их к одной тесно связан с вопросом о территории, где возникла сербская редакция старославянского языка. Предполагаемые области ее возникновения (зетско-хумские края, Дукля и Рашка) в X в. и особенно в течение XI в. могли соединиться в длинный пояс, северная часть которого располагалась севернее Скопья, где сложились благоприятные условия для духовной жизни и развития культуры. Среди памятников, появление которых связано с возникновением сербской редакции старославянского языка, Трифунович выделяет *Темничскую надпись*, кириллический памятник, сохранивший черты старой (Ъ, Ъ) и новой орфографии. Одна из собственно сербских особенностей – аккузатив ед.ч. слова "БОГЪ": "БОГ". Автор особо подчеркивает роль *Маршинского Евангелия* как важнейшего глаголического памятника в истории сербской письменности, возникшего не позднее начала XI в. В этом памятнике, написанном в областях штокавского говора, заметны, по наблюдениям исследователя, черты сербской речи (например, переход ВЪ (ВЪ) в ОУ в начале слова *оуѣселенѣжъ* вместо старославянского *въѣселенѣжъ*). В кириллических частях памятника сербская редакция старославянского прослеживается весьма последовательно. В XII в. в сербских землях был написан Апостол, глаголический фрагмент которого известен под названием *Отрывок Гришковица*; он содержит кириллические указания для деления текста на "зачала". К первой половине того же столетия отрывок другого Апостола, именуемый *Отрывком Михановича*. Трифунович указывает, что если кириллические пометы Отрывка Гришковица говорят о непрерывном присутствии памятников письменности в тех областях, где писали и читали по-сербско-славянски, то отрывок Михановича содержит черты, сближающие его с древнейшими известными старославянскими кириллическими памятниками XI–XII вв. Это прежде всего употребление кириллических букв "И" и "М".

Вторая глава монографии посвящена анализу древнейших памятников сербской письменности. Согласно выводам автора, сосуществование глаголицы и кириллицы в сербской письменной традиции заканчивается в конце XII в., когда кириллица становится единственной грамотой, хотя следы глаголического правописания еще

долго сохраняются в кириллических памятниках. В подтверждение своих наблюдений Трифунович приводит ряд сербских эпиграфических текстов – это ктиторские и надгробные кириллические надписи. Древнейшая среди датированных надписей такого рода была сделана великим жупаном Стефаном Неманей на латинской грамоте 1186 г., посланной в Дубровник. Касаясь известной *Грамоты бана Кулина*, также адресованной Дубровнику, автор, в частности, упоминает о сохранившихся в ее тексте

глаголических чертах (например, букве Г). В глаголической традиции, по преимуществу, написана и *Грамота об основании монастыря Хиландаря* 1193 г. свв. Симеона и Саввы. Однако появившаяся вслед за ней (1190 или 1200 гг.) *Грамота Стефана Первовенчанного* тому же монастырю отражает, с точки зрения Трифуновича, тогдашнее состояние письменной традиции в Рашке.

Филологическая эрудиция автора, глубокое знание источников позволили ему выдвинуть ряд предположений, весьма существенных для дальнейшего развития славистики. Так, Трифунович определяет возможное место написания *Вуканова Евангелия* конца XII в. – это скит (Пех, пещера), расположенный в пределах города Раса, куда в поисках уединения удалился Симеон – монах и основной переписчик книги.

К числу сербских памятников Трифунович относит также *Листки Срезневского*, датируемые, на основе последних данных, 80–90-ми годами XII в., и *Иерусалимский палимпсест* второй половины XIII в. В книге достаточно подробно анализируются особенности правописания текста праздничной Минеи, составляющего основное содержание этого памятника. Речь идет, в частности, о сохранившихся в сильной позиции полугласных: *възлѣгъ, чьстно, възлѣже* и т.д., о глаголических чертах текста – наличии ѣ в значении *ja* в начале слова и слога: *ѣвшоу се*, в то время как *ѣ* означает здесь *je* в начале слова и слога (*ѣго*); о частом употреблении *омеги* в начале слова и слога в отличие от классических старославянских текстов (*w[о]жени, w[о]рѣзан, Уѣ*), о последовательном употреблении "И" вместо "Ы" как отражении разговорной основы сербской редакции в данном памятнике и т.д. Среди перечисленных автором особенностей правописания рукописи встречается пример удвоения полугласных (*тъьмь*), характерный для более позднего времени (XIV в.).

Однако, как полагает Трифунович, вполне возможно, что уже в XII в. гласная "А" могла у сербов обозначаться с помощью двух полугласных. Следующий памятник, упоминаемый автором – *Барберинский палимпсест* первой половины XIII в. Вторую и третью части славянского "раздела" этой рукописи также характеризует сербская редакция старославянского языка. Рассмотрены в книге и палеографические особенности стертых текстов *Белградского палимпсеста*, датируемого, самое позднее, концом XII в. (поверх него в середине XIV в. был написан текст Триоди Постной).

То обстоятельство, что древнейшие сохранившиеся сербские памятники отличаются ясно оформленной сербской редакцией, в то время как литературные произведения Золотого века болгарской письменности по большей части известны в старейших сербских списках XIII и XIV в., позволяет автору опровергнуть предположение В. Мошина о том, что оскудение славянских книжных богатств на Балканах в XI–XII вв. обусловлено последствиями систематического уничтожения их Византией.

Исследователь особо отмечает, что древнейшие сербские памятники свидетельствуют о двух традициях – народного и книжного языка. Так, вполне устоявшимися формами народного языка, без "диалектных колебаний", характеризуется Грамота бана Кулина 1189 г. Народная традиция ощутима не только в светских, но и в церковных грамотах, например, в последней части *Грамоты на основании Хиландарского монастыря* (предлог оу вместо въ; ѿд вместо ѿтъ; могу – 3 лед.ч.). В заключение главы автор определяет жанры и сферы литературного творчества, к которым принадлежат первые сербские кириллические памятники: это юридическая письменность (грамоты), Св. Писание (Мирославово, Вуканово Евангелия), житийная литература (Житие св. Иоанна Богослова), богослужебные книги (праздничная Миня) и апокрифическая литература (молитвы св. Сисиния). Выделяются два особенно характерных для древнесербской литературы жанра: это аренги и записи.

Третья глава посвящена проблемам, связанным с местом и временем возникновения сербской письменности. Автор обращается здесь к трудам Ст. Новаковича, который связывает начало будущего непрерывного культурно-исторического развития сербского народа с приходом славянской письменности из уже существовавшей Болгарии во второй половине IX в. и в первой половине X в.

Среди источников, упоминаемых Трифуновичем – труд "О народах" Константина Багрянородного, где содержатся некоторые сведения о сербском городе Достинике, расположенном в непосредственной близости от Болгарии и, вероятно, служившем центром духовного сотрудничества двух соседних народов. Анализируя различные стороны сербско-болгарских отношений в IX–X вв., автор касается вопросов развития литературного языка, отмечая, что сербские говоры были распространены в средние века и за пределами сербских земель, в областях, принадлежавших Византии и Болгарии. Первые волны славянской письменности, по мнению исследователя, могли прийти в Сербию до прибытия туда князя Часлава Клонириновича (930 г.), который большую часть жизни провел в Болгарии, однако через три года после завоевания Сербии Симеоном (924 г.) воссоздал Сербское княжество. В главе подчеркивается значение Послания царьградского патриарха Фотия болгарскому князю Михаилу (Борису), отправленного в 865 г. По мысли автора, оно должно было стать известным и князю Чаславу (приводится фрагмент памятника в переводе на современный сербский язык). В главе подробно рассматривается вопрос о бытовании в сербских землях древнейших памятников славянской письменности, при этом приводятся конкретные данные об их сербских списках. Не разделяя точку зрения ряда историков, полагающих, что малое число сохранившихся от XI–XII вв. славянских рукописей на Балканах объясняется эллинизацией Охридской архиепископии, а вместе с нею и сербских земель в XI в. Трифунович указывает, что славянская традиция не угасала там и в этот период. Подтверждением этому может служить, в частности, прославление трех знаменитых пустынников – Прохора Пчиньского, Иоакима Осоговского (Сарандапорского) и Гавриила Лесновского, которое не прекращалось в Сербии в эпоху до Немани.

Особо останавливается автор на проблеме взаимовлияний сербской и русской рукописных традиций. Весьма рано, около середины XII в., как полагает Трифунович, сербы заимствовали у русских синаксарь (пролог), из житийных повествований которого черпали сведения не только о греческих, но и о русских святых (Борисе и Глебе, великом князе Мстиславе, преп. Феодосии Печерском и других). Многие сербские рукописи, как известно, содержат значительное количество русизмов (среди них Иловичский – 1262 г. – список Законоправила св. Саввы, подробно изученный

Л. Штавлинин-Джорджевич). С другой стороны, очевидно присутствие сербизмов в русских рукописях XI–XII вв., в частности, в Изборнике Святослава 1073 г. По мнению автора, явная близость сербских и русских списков некоторых памятников и их общее несходство с болгарскими объясняется тем, что русские списки возникали на основе сербских оригиналов. Исследователь отмечает также, что в средние века у русских было живо сознание сербской принадлежности отдельных рукописных книг. Так, описи XV–XVI вв. включают, помимо прочих сочинений, "Сборник сербской", "Лествицу сербскую" и т.п.

Заключая главу, исследователь делает вывод о том, что постепенное усвоение на национальной почве древнейшего пласта старославянской книжности, рукописного наследия Первого болгарского царства привели к формированию в середине XI в. сербской редакции старославянского языка.

Последняя глава книги посвящена вопросам бытования глаголицы у сербов. Обращая внимание читателя на сложность проблемы возникновения глаголической письменности, автор отмечает, что азбука, составленная Кириллом и Мефодием, без сомнения, была именно глаголической, кириллица же возникла после прибытия учеников солунских братьев к южным славянам, в болгарские края. Наибольшее распространение глаголицы получило в Западной Болгарии, во владениях царя Самуила и в областях до Адриатического побережья; к этим землям принадлежали и населенные сербами. Неизвестные нам древнейшие сербские памятники, по мнению ученого, были написаны глаголицей. В связи с этим он рассматривает вопрос о глаголической традиции в Новгороде, который имел духовные связи с охридскими краями, а также о глаголических надписях, сохранившихся на территории Сербии. Так, обломок кувшина из Чечан с надписью, датируемый IX–XI вв. (гора с таким названием находится на границе с сербскими землями), свидетельствует, по мнению исследователя, о том, что глаголическое наследие проникло в Сербию из охридских краев. Южный путь глаголицы, соединявший охридско-болгарские области с хорватскими, должен был проходить через сербские земли. В северо-восточных краях Сербии были, как указывает Трифунович, обнаружены глаголические надписи того же времени (X–XI вв.). Так, известна песачская глаголическая надпись на античном кирпиче, читаемая как **Федорь**. Ученый заключает, что глаголические буквы сербских надписей аналогичны

тем, что встречаются в памятниках, возникших в Моравии (Пражские отрывки) или на юге (Зографское, Мариинское Евангелия). Таким образом, подтверждается вывод о том, что письменность пришла из сербские края и с севера – из Моравии и с юга – из болгарско-охридских краев.

Существование двух азбук – глаголической и кириллической (когда, например, еще умели читать на глаголице, а писали кириллицей) длилось в Сербии до XIV или XV в. – об этом свидетельствует, как отмечает автор, использование у сербов Мариинского Евангелия до XIV в. Присутствие глаголических букв или целых слов в сербских кириллических памятниках, начиная с XII в. и позднее, – подтверждение того, что глаголица еще не забылась. Особенно важен в этом отношении Апостол 1366/1367 гг. из Архива САНУ, содержащий 20 заметок, написанных вперемешку кириллицей и глаголицей, в которой иногда присутствуют греческие и кириллические буквы. Приводятся также примеры из Сборника четвертого или пятого десятилетия XV в., хранящегося в МСПЦ (собрание монастыря Крушедола), имеющего в своем составе список *Слова любви деспота Стефана Лазаревича*, где глаголица появляется в роли тайнописи.

Сербская кириллица и ее правописание, по мнению автора, имеют ряд особенностей, которые указывают на глаголическое происхождение сербской письменности. Особенно среди них выделяется глаголическая буква **Ѡ**. Ее не было в классической старославянской кириллице, в сербской же кириллице она имеет две формы – угловую **┐** и круглую "джерв", повернутую на 180 градусов, **ϣ**, как чаша. Буква использовалась в словах из сербских народных говоров, например, гра **┐**ам/гра**Ѡ**ам) в Грамоте бана Кулина. Встречается она в Мирославовом Евангелии, на Хумской плите, в Грамоте на основании Хиландарского монастыря и в Вукановом Евангелии. Это, по мнению исследователя, означает, что только сербы могли уже в X и XI вв. последовательно передавать глаголический текст кириллицей. Несомненно известное влияние глаголицы на образование сербской кириллицы – следы этого явления сохранились в Грамоте на основании Хиландарского монастыря 1198 г. Ее правописание отличается отсутствием йотированных **ѡ** и **ѣ** (только **ѡ** (ja), **ѣ** (je), присутствует **┐** и т.д.). Таким образом, заключает автор, кирил-

лица, которую читал Савва (Растко) в детские годы, была по своему составу аналогична глаголице. Касаясь характера сербской глаголицы, исследователь отмечает, что больше всего архаических черт сохранила сербская письменность в Боснии – это касается формы букв и ее глаголической основы. Сербские писцы в Боснии, которые в XV в. писали глаголицей, не использовали в качестве образца хорватскую угловую глаголицу, а продолжали писать круглой глаголицей XII–XIII вв., которая тогда уже отмирала (один из примеров – *Чайничское Евангелие* из Восточной Боснии, написанное в конце XIV или начале XV в.).

Один из основных выводов автора книги: глаголица была известна у сербов в течение всего периода средневековья. Неминуемая смена или вытеснение глаголицы кириллицей длилась весьма долго, однако, исчезнув из употребления как официальная письменность, она не была забыта до XIV–XV вв. Редкие древние глаголические книги долго употреблялись сербами на родине, на Святой Горе и на Святой Земле.

Труд проф. Дж. Трифуновича отличают широта охвата источников и научного материала, ясность и лаконичность слога, аргументированность и тщательная взвешен-

ность выводов, основанных на результатах не только новейших исследований в области славянской филологии, но и разысканий в сфере археологии и материальной культуры славян, истории искусства. Как любой серьезный научный труд, содержащий свежие идеи и оригинальные суждения, его книга несомненно вызовет споры среди славистов. Однако уже сейчас можно утверждать, что этот труд, подытоживающий кропотливую работу многих поколений ученых, открывает новые пути в развитии славянской филологии. Не вызывает сомнений то, что он станет настольной книгой для специалистов в различных областях славянской духовной культуры – лингвистов, историков, литературоведов, послужит прекрасным пособием для студентов. Книга снабжена фотографиями отдельных листов древнейших сербских глаголических и кириллических рукописей, иллюстрирующими изложенный материал. В Приложении приведен текст глаголического отрывка Апостола (Отрывка Михановича) с его кириллической транскрипцией, выполненной В. Ягичем.

© 2002 г. Л.К. Гаврюшина

Славяноведение, № 4

Е.Г. ВОДОЛАЗКИН. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палеяного повествования XI–XV веков). Мюнхен, 2000. 403 С. (= Sagners Slavistische Sammlung. Bd. 26/Herausgegeben von Peter Rehder)

Книга Е.Г. Водолазкина представляет собой капитальное исследование в важной сфере древнерусской литературы – области сочинений о всемирной истории. Исходя из установившегося разделения средневековых повествователей на историков и хронистов (учитывая, однако, и критический подход к этому разделению), автор дает убедительную оценку сочинений по всемирной истории, трактуя их как область богословскую. Из рассмотрения исключается поздняя хронография, где стираются понемногу границы между текстами о всемирной и отечественной истории. Работа Е.Г. Водолазкина убеждает в том, что в ранней

русской хронографии нет места для отечественной истории, что всемирная история и история отечественная выступают здесь как принципиально разные феномены.

Одним из важнейших исследовательских методов в работе является метод текстологического анализа, при этом в работе Е.Г. Водолазкина он удачно сочетается с теоретико-литературными обобщениями. Столь же удачно сочетание методологии ученых старого времени (В.М. Истрин) и современных (О.В. Творогов), отечественных и зарубежных: Е.Г. Водолазкин демонстрирует прекрасную осведомленность в истории занимающего его вопроса.

Не останавливаясь подробно на рассмотрении содержания шести разделов монографии, кратко отмечу лишь наиболее, на мой взгляд, плодотворные идеи автора (а их в работе немало).

Совершенно правомерно во Введении рассматривается специфика средневековых представлений о всемирной истории. Специфика эта все-таки не в том, что не все области тогдашней ойкумены находят в истории отражение, а в самом понимании истории как процесса, протекающего по воле Божьей. Всемирная история не была в средние века предметом историографии (как бы парадоксально это ни звучало), она – предмет богословия. И за справедливо выделяемыми Е.Г. Водолазким тремя типами повествования – летописным, хронографическим и палейным – стоят три аспекта восприятия истории. Точнее, два: буквально сразу же исследователь говорит о двух типах исторического повествования – хронографии и летописании. Это кажется более логичным исходя из богословских задач, стоявших перед средневековой историографией. Каждый из двух типов повествования связывается с разными видами истории – всемирной и отечественной. Едва ли в перспективе они полностью сливались, и в давнем споре В.М. Истрина с А.А. Шахматовым прав, пожалуй, Шахматов, никогда не связывавший происхождение летописей с хронографией. Не видит генетической связи летописей с хронографами и Е.Г. Водолазкин, и мы разделяем его положение: "Связь отдельных событий еще не обеспечивала единства со всемирной историей *как целым*, не устанавливала с ней отношений преемственности" (С. 57). Но вот что национальному историческому сознанию потребовалось пятьсот лет для осознания данной связи – это кажется нам преувеличением, так как желаемого движения "от тождества к единству" в пределах средневековой Руси так и не произошло.

Подробно рассматривается в монографии Е.Г. Водолазкина структура хронографов. Называя структурной единицей повествования фрагмент, исследователь показывает, что с внешней стороны история воспринимается хронистами как череда царствований, в которой роль фрагмента-царствования можно уподобить одному году в летописи. Но второй тип фрагмента – как единица заимствованного текста – выделен автором не совсем корректно. В основу классификации типов фрагментов положены разные принципы: целое царствование может быть одновременно и первым, и вторым типом.

В монографии Е.Г. Водолазкина дается

интересный анализ привычных для нас понятий, имевших в средние века специфический смысл. Таков анализ понятия "развитие", смысл которого точно отвечал этимологии слова "развитие" и никак не соотносился с категорией причинности, вообще находившейся вне исторического ряда. И поскольку современное представление о причинно-следственных связях отсутствовало, прошедшее не мыслилось прошлым, а существовало с настоящим.

Популярные новеллистические тексты (exempla) справедливо толкуются Е.Г. Водолазким не как автономные произведения (что привычно для современного восприятия): "Сама средневековая история до определенной степени рассматривалась как набор exempla, подтверждавших Божественное мироустройство" (С. 89).

Исследователь убедительно показывает внутржанровые связи в древнерусской литературе. Современный медиевист склонен противопоставлять хронограф и палею как разные типы исторического повествования. Е.Г. Водолазкин, напротив, отмечает их глубокое родство: палейное и хронографическое повествования – это, по сути дела, виды средневековой типологической экзегезы. При этом автор смело срывает с привычной традицией отечественного литературоведения всегда и во всем видеть полемическое начало. Предназначение Толковой Палеи было связано с высшими, вневременными ценностями и не могло сводиться к тому, что мы называем полемикой. В этой связи Е.Г. Водолазкин вступает в полемику (уже в подлинном смысле этого слова) с таким авторитетом, как В.М. Истрин, который видел в палее полемический памятник антииудейской литературы.

Тщательному анализу подвергается в монографии хронология русской хронографии, абсолютная и относительная. Если современная историография большее внимание уделяет событию, то средневековый историк более ценил непрерывность истории, не сводимой к событиям, и этим определяется значение так поражающих современного читателя "пустых годов" в летописи. Однако, на наш взгляд, Е.Г. Водолазкин несколько недооценивает значение события как повествовательной единицы. Неслучайно в западноевропейских хрониках можно найти такие записи: "Ничего не было такого, о чем можно было бы рассказать". "Пустой год" формально заполнен, но с известной "тоской" по событию.

Особое внимание уделено в книге Хронике Георгия Амартола как "несущей кон-

струкции", на которой в древнерусских хронографах крепились все другие сообщения. И дело не только в том, что из этой хроники заимствовались целые фрагменты, – хроника была неприкосновенна: "Отношение к полным спискам хроники было сродни отношению к сакральному тексту, не допускающему вмешательства ни фактического, ни стилистического характера" (С. 172). И это лишний раз доказывает тождество хронографии и богословия.

Я уже говорил о том, что монография Е.Г. Водолазкина представляет единство теоретико-литературного и текстологического исследований. Ставя проблемы теоретико-литературного свойства, автор охотно берется за решение конкретных текстологических задач: арабские наименования планет в Златоусте, естественнонаучные фрагменты в Толковой Палесе, история текста Пророчества Соломона. И здесь Е.Г. Водолазкин не перестает быть литературоведом, которого волнуют важные методологические проблемы. Таков, например, коварный вопрос, стоящий перед литературоведами разных профилей, – применение категорий логичности/нелогичности. Фольклористы издавна при сопоставительном анализе разных вариантов эту оппозицию использовали однозначно: чем логичнее, тем первичнее – как будто вначале создается "нормальный тип", который со временем становится все нелогичнее. Как деградацию "жизненной правды" толковали эволюцией былин. Сейчас этот принцип подвергнут критике, но не отвергнут. Е.Г. Водолазкин резонно замечает: «Есть логика стройного "естественнонаучного" изложения, но есть и другая логика, предполагающая постоянную перебивку повествования толкованиями и цитатами, и эта последняя применительно к средневековой выглядит гораздо более убедительно» (С. 211), т.е. нельзя безоглядно пользоваться категорией логичности, исходя из современных представлений о логике.

Особый интерес представляет эту же о монстрах. Сообщение о них выглядит, по определению Е.Г. Водолазкина, как нестабильный текст. Исследователь допускает две возможности его бытования: либо как текста, потерявшего культовые функции (поскольку он был связан с мифом), либо как продуктивной модели. Хочу сразу заметить: миф не имеет жесткой связи с культом, он может не воплощаться в культе и выступать как система специально не манифестируемых представлений. Но о таком едином тексте, части которого могли циркулировать автономно и вступать в разнообразные сочетания, говорить не прихо-

дится. Его можно, конечно, воссоздать как артефакт, как некий пратекст, который, впрочем, едва ли возможно надежно реконструировать. Разумнее говорить о продуктивной модели, к чему, кажется, Е.Г. Водолазкин и склоняется. Монстры – не посторонняя тема: они были неотъемлемой частью средневекового мировосприятия и принадлежали историографии.

Работа Е.Г. Водолазкина ценна не только тем, что в ней рассмотрено крупное литературное явление и подведены итоги его изучения, но и обилием открывающихся исследовательских перспектив. Так, ученый заявляет: "...дальнейшее движение науки о жанрах средневековых литератур не может быть не связано с самым внимательным отношением к вопросу стабильности/нестабильности текста, а тем самым – близости/удаленности от культа" (С. 232). Отдадим должное скромности автора: цитируя его, я опустил первые два слова: "мне кажется". В самом деле, пора уже отрешиться от слишком обобщенных представлений о вариативности текстов древней словесности. Ведь есть жанры – и их немало, – к которым применима народная мудрость: "Из песни слова не выкинешь". И это не обязательно сакральные тексты: как показано в работе, роль сакрального текста успешно выполняла Хроника Георгия Амартола.

Завершая краткий анализ монографии Е.Г. Водолазкина, хотел бы отметить удачное сочетание в ней проверенных, ставших традиционными методов исследования с современной литературоведческой методологией. Ведь когда исследователь говорит о разделяемом им методе современной науки об историческом повествовании средневековья: "...на основании установленного сходства с явлениями современными (отталкиваясь от них) возвращаться опять к предмету, открывать его истинный, средневековый смысл, обнаруживая, что отмеченное прежде сходство было чисто внешним" (С. 249), – он не просто формулирует один из принципов современной медиевистики, но вступает в герменевтический круг, разделяя методологию многих современных литературоведов.

Ценно и то, что Е.Г. Водолазкин видит за литературными явлениями большие культурологические проблемы и охотно их обсуждает. Это, к примеру, проблема *реальности* для средневекового книжника, непосредственно связанная с задачами исследования: "Реальностью был провиденциальный характер истории, это давало возможность считать достойным уюминания только то, что соответствовало главной

исторической задаче: реализации Божественного плана" (С. 249). Это и проблемы связи литературы с действительностью, знакомства со всемирной историей как важной формой христианизации, средневековой историографии как формы экзегезы и т.д.

Все это делает исследование Е.Г. Водолазкина незаурядной работой, интересной и притягательной не только для медиевистов, но и гуманитариев самых разных специальностей.

2002 г. Е.А. Костюхин

Славяноведение, № 4

Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj Nacionalnoj biblioteci. Faksimili / Priredila Svetlana O. Vialova. Zagreb, 2000. 499 S. [561 Il.]

Глаголические фрагменты Ивана Берчича в Российской национальной библиотеке. Факсимиле / Сост. Светлана О. Вялова

SVETLANA O. VIALOVA. Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj Nacionalnoj biblioteci. Opis Fragmenta. Zagreb, 2000. XVIII + 139 S. [2 Il.]

СВЕТЛАНА О. ВЯЛОВА. Глаголические фрагменты Ивана Берчича. Описание

История русско-хорватских научных связей в области филологии пополнилась новым событием, имеющим важное значение для всей современной славистики: в Загребе изданы два фундаментальных фолианта глаголических рукописей, собранных в середине XIX в. действительным членом Югославянской Академии наук и искусств Иваном Берчичем (9 I 1824 – 24 V 1870). Значительная часть собрания хорватского филолога была приобретена в 1874 г. Императорской публичной библиотекой в Санкт-Петербурге. Замечу, что несколько материалов, оставшихся у наследников И. Берчича, позже, в 1895 г., купила Загребская Югославянская академия. Хранящиеся поныне в Санкт-Петербургской Российской национальной библиотеке глаголические рукописи, принадлежавшие И. Берчичу, а также другие глаголические рукописи составляют крупнейшее, наряду с Загребским, собрание глаголических памятников вообще.

Рецензируемое издание в двух фолиантах (в первом – факсимильное воспроизведение памятников, титул на хорватском и русском языках, предисловия А. Назор и С. Вяловой – на хорватском языке; во втором – научные описания памятников, титул на русском и хорватском языках, оба предисловия первой из книг повторены на русском языке)

подготовлено в результате многолетних текстологических и библиографических исследований старшим научным сотрудником Рукописного отдела Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге Светланой Олеговной Вяловой, а опубликовано в Загребе Хорватской академией наук и искусств и Старославянским институтом по инициативе и благодаря содействию его директора – академика Аницы Назор.

Рукописи И. Берчича после их приобретения Императорской публичной библиотекой были объединены хранителями в два тома (один содержит 84 фрагмента, второй – 70 фрагментов); в рецензируемое издание вошли все фрагменты. Все они написаны на пергаменте унциальной угловатой (хорватской) глаголицей; язык всех рукописей – старославянский хорватской редакции. Публикуемые тексты датируются XIII–XVI вв. По жанровому характеру большинство фрагментов является частями богослужебных миссалов и бревиариев; несколько фрагментов – нелитургического содержания. На многих рукописях есть пометы И. Берчича с обозначением места и времени их приобретения. Почти все эти рукописи были найдены или получены И. Берчичем из разных мест хорватского приморья Адриатики и на далматинских островах. Случайность находок была отмечена самим

Берчичем, хотя поиски глаголических рукописей он вел целеустремленно с помощью своих семинаристов начиная с 1848 г., вдохновленный примером выдающегося собирателя древних рукописей Ивана Кукулевича Сакцинского. Преждевременная смерть И. Берчича не позволила ему систематизировать и описать свое собрание глаголических фрагментов.

Сохранность текстов изначально была различной вследствие неблагоприятных условий их хранения местным населением – простыми людьми, далеко не всегда знавшими подлинную ценность рукописей, доставшихся им от предшествующих поколений (поэтому многие тексты сильно повреждены или даже утратили целостность).

Значение собрания И. Берчича было оценено по достоинству после его смерти не только в самой Хорватии, но и в Чехии, и в России. Однако новизна и сложность работы над описанием и тем более прочтением фрагментов в течение долгого времени исключали возможность научной публикации собрания И. Берчича. Первые опыты суммарного описания были приняты помощником директора петербургской Публичной библиотеки А.Ф. Бычковым для отчета о новых поступлениях в библиотеку, а затем хорватским славистом И. Милчетичем, в 1912 г. в общих чертах известившим научный мир о содержании собрания И. Берчича и отметившим большую научную ценность материала. Только благодаря скрупулезной исследовательской работе С.О. Вяловой уникальное собрание глаголических рукописей И. Берчича сегодня наконец описано и издано.

При подготовке к изданию и описанию фрагментов собрания И. Берчича С.О. Вялова восстановила утраченные или трудно читаемые места текстов, сверяя их с многочисленными источниками – с публикациями миссалов и бревиариев, изданных в 1924–1994 гг., с фототеками Старославянского института в Загребе и со специальной карточкой, находящейся в этом же институте, а также учтя предшествующие немногочисленные публикации хорватских авторов. Если первая книга содержит факсимиле глаголических памятников, то вторая посвящена их научным описаниям. Кроме того, в нее включены пять указателей: именной, географической, гомилий и слов отцов церкви, библейских чтений и чтений богослужебного круга и на дни памяти святых, а также список сокращений, таблица цифровых значений глаголических букв и их транслитерации латиницей, литература о И. Берчиче и его собрании.

С.О. Вяловой описаны 72 фрагмента бревиариев, 55 фрагментов миссалов и 7 фрагментов сборников нелитургического содержания. Среди них есть целый ряд памятников XIII и XIV вв. Можно особо отметить такие фрагменты, как отрывок чтения на Великую пятницу из миссала XIII в., отрывок из бревиария XIII в. с малораспространенным чтением о Моисее, не встречающаяся пока в глаголической традиции версия текста жития св. Мартина епископа, редко встречающаяся в глаголической традиции гомилия Оригена и др. Обращают на себя внимание и малоизвестные тексты сборников: неотожествленные тексты Страстей Господних, редко встречающиеся высказывания отцов церкви о вере, поучения о праведной жизни, фрагменты Луцидария XIV в. и др. С.О. Вялова проводит кодикологическое и текстологическое исследование материала, отмечает языковые особенности памятников. Так, в ряде текстов бревиариев и миссалов XV в. она наблюдает использование азбучных сокращений, представляющих первую букву слова, – употребление букв в значении их азбучных названий.

Обеим книгам предпослано специальное предисловие академика А. Назор. Автор излагает обстоятельства приобретения собрания И. Берчича Императорской публичной библиотекой в Петербурге А.Ф. Бычковым и знакомства с ним И. Милчетича, отмечает трудности в процессе подготовки собрания к изданию и высоко оценивает труд С.О. Вяловой: "Ее описание является полным и основательным, составленным в соответствии с принципами современного описания, включая и кодикологию... С.О. Вялова получила возможность проведения сравнительного исследования, которое было необходимо для того, чтобы прочитать и идентифицировать поврежденные и с трудом поддающиеся прочтению фрагменты. Автор провела работу с огромным компаративным материалом... Это исследование является значительным вкладом в филологическую, и не только филологическую науку, но и в историю культуры вообще".

Сама же С.О. Вялова в предисловии к обеим книгам обстоятельно рисует собирательскую и научную деятельность И. Берчича, ссылается на ряд его работ, непосредственно не связанных с его собранием (хрестоматия, книга для чтения, букварь), но в которые включены некоторые тексты собрания. Она отмечает опыт воссоздания И. Берчичем глаголического варианта Священного писания и публикации библейских

текстов, обнаруженных им в рукописных и старопечатных глаголических памятниках. С.О. Вялова характеризует научное значение самого собрания И. Берчича. Предисловие содержит обширную, едва ли не исчерпывающую библиографию предмета исследования.

Рецензируемое издание в целом – первая полная публикация, сопровождаемая научными описаниями уникального собрания фрагментов глаголических рукописей. Оно представляет несомненную историко-культурную ценность и привлечет внимание не только специалистов по глаголической палеографии и текстологии, но также и по истории средневековой литературы на славянских языках и по общей истории средних

веков. По своему типу рецензируемое издание в равной мере доступно для читателей, владеющих как южнославянскими, так и восточнославянскими языками.

Следует особо отметить высокую полиграфическую культуру издания, высокое качество воспроизведения всех рукописей.

Презентация издания состоялась в Санкт-Петербурге в Дни славянской письменности и культуры на "Кирилло-Мефодиевских чтениях" (май 2001 г.), и получило высокую оценку его участников.

© 2002 г. В.Е. Гусев

Славяноведение, № 4

ДЖУРОВА А., СТАНЧЕВ К. Описание славянских рукописей Папского восточного института в Риме / Вступительная статья проф. В. Поджи. Roma, 1997 (= Orientalia Christiana Analecta. Vol. 255). XLIII, 155 С., илл.

Вышло в свет описание второго по богатству (после библиотеки Ватикана) собрания славянских рукописей Италии. Оно выполнено болгарскими исследователями, авторами роскошного каталога кириллических и глаголических манускриптов Апостольской библиотеки, опубликованного в 1985 г. параллельно на болгарском и итальянском языках [1]. Рецензируемое издание давно ожидалось исследователями рукописной книги разных специальностей: доклады по его материалам авторы делали с начала 1980-х годов (С. XI–XII – перечень), книге предшествовал ряд выполненных ими же обзоров (С. VIII–X – список литературы и библиография при описательных статьях).

Описание включает подробные сведения о 53 рукописных книгах библиотеки Папского восточного института (Pontificio Istituto Orientale, далее – ПИО) и, дополнительно, об одном кодексе Папского русского коллегия (Pontificio Collegio Russo) и о рукописных восполнениях в двух старопечатных книгах библиотеки ПИО. Описание предпослано предисловием составителей (на русском и итальянском языках), освещающее

историю работы над каталогом (С. XI–XVI), подробная вводная статья проф. В. Поджи на итальянском языке, посвященная истории формирования собрания (С. XVII–XXXVIII), введение, содержащее общую характеристику коллекции и принципы описания (С. XXXIX–XLIII).

Издание снабжено развернутой системой указателей, включающей тематический (= содержания), очень подробный палеографическо-кодикологический (куда вошли сведения даже о сюжетах и литературном сопровождении филигрanei и штемпелей), географический и именной (без разделения на персонажи, владельцев и исследователей) индексы. Завершается книга альбомом иллюстраций, состоящим из 38 черно-белых, как правило, уменьшенных снимков, относящихся к 33 рукописям.

Описательные статьи очень детальны, схема состоит из следующих пунктов. 1. Заглавная часть: шифр рукописи, название (жанровое определение или самоназвание), датировка. 2. Кодикологическое описание: количество листов, размеры блока и текстового поля, разлиновка, характеристика

бумаги (с отсылкой к альбомам водяных знаков и штемпелей), анализ и характеристика тетрадей, наличие листов без текста, старая пагинация, описание переплета и обреза, почерк, нотация, художественное оформление, особенности языка и правописания. 3. Содержание (аналитическая роспись). 4. Записи (включая поздние глоссы и пометы к тексту). 5. Литература.

Хотя собрание ПИО по количеству рукописей в целом-то сопоставимо со славянским фондом библиотеки Ватикана (соответственно 52 [при этом четыре приходятся на один памятник – Псалтырь толковую в переводе Максима Грека в четырех томах: № 43–46] и 101 единица), этим сходство, пожалуй, и ограничивается. Коллекция ПИО сформировалась в основном в 1920-х – 1930-х годах (см. вступительную статью В. Поджи), при этом богатейшие антикварные распродажи "Международной книги" тех лет на этом процессе по сути не отразились – штамп этого аукциона имеется лишь на одной (и при этом интереснейшей в собрании) рукописи – № 5, Стишной пролог. Особенности формирования существенным образом сказались на составе описанной коллекции, содержащей только восточнославянские рукописи, по преимуществу великорусские (украинско-белорусских по происхождению только две – № 1 – Евангелие тетр, и № 53 – Ирмологий нотный). Больше половины (28 из 54) рукописей датируется XIX в., собственно средневековых (в русском понимании слова – не позднее рубежа XVII–XVIII вв.) только 14. Среди поздних старообрядческих рукописей почти половину (и без малого четверть от общего числа) – 13 из 28 (№ 9–18, 34, 49, 50) представляют богослужебные нотированные (на крюковых нотах). В целом состав собрания чрезвычайно близок результатам археографических экспедиций и поездок по России последних двух десятилетий (времени, когда пик успехов явно остался позади), отчеты о которых содержатся в томах ТОДРЛ и Археографического ежегодника. Можно лишь посочувствовать авторам (интересы которых, как известно, весьма далеки и от старообрядческого пения и от старообрядчества вообще), и заодно восхититься их подвигом на ниве "аскисис графики" (этот средневековый термин, возрожденный Д. Богдановичем, выглядит в данном случае как нельзя более уместным). Им пришлось описывать поздний массовый материал, тиражировавшийся вплоть до конца 1920-х годов (правда, все списки ПИО не выходят за последнюю треть XIX в.) и представленный в хранилищах России, без

преувеличения, тысячами (если не десятками тысяч) экземпляров. Это замечание не означает, конечно, что в собрании нет редких и даже уникальных памятников, о которых пойдет речь ниже, однако по преимуществу рядовой (и даже массовый) материал в нем откровенно преобладает.

Известно, что уже после XVI в. (и даже в течение этого столетия) южнославянская и восточнославянская книжные традиции, несмотря на существование достаточно тесных контактов, столь радикально расходятся между собой как в отношении репертуара, так и в художественном оформлении, что археограф, равно ориентирующийся в обеих, возможен скорее лишь как идеал. При описании позднего и во многом чужого для них материала болгарские авторы проявили незаурядную эрудицию и знание специальной литературы (некоторые пробелы в использовании новейших справочников и исследовательских работ объясняются общей тенденцией к ослаблению русско-болгарских научных связей в последние годы). И все-таки каталог славянских рукописей библиотеки ПИО представляет тот редкий случай, когда рецензент-русист, даже не видя собрания (автор этих строк во время пребывания в Риме в ноябре 1993 г., благодаря любезности дирекции библиотеки и помощи коллеги Дж. Дзиффера, имел возможность ознакомиться с рукописями, представляющими номера 3, 5, 22, 26 каталога А. Джуровой и К. Станчева) и пользуясь почти исключительно данными описания и альбома снимков при нем, находится заведомо в более выгодном положении, чем авторы, которые (вполне естественно) не обладают соответствующим кругом ассоциаций и не придают значения деталям, очевидным для человека, занимающегося русской историей и книжностью. И смысл данной рецензии видится автору в первую очередь не в критике, а в дополнении материала, содержащегося в опубликованном каталоге.

Начать, однако, приходится с замечаний общего характера. Первое касается датировки рукописей. В рецензируемом описании она – за исключением тех случаев, когда наблюдается разброс в показаниях филиграней и в то же время нет оснований видеть в рукописи конволют – достаточно жесткая, почти исключая возможность залежности бумаги. Такой принцип датировки не является особенностью Описания рукописей ПИО, а присущ почти всей южнославянской археографии XX в., начиная с ее классика В.А. Мошина. Наиболее радикальным ее вариантом является датировка "около тако-го-то года" исключительно на основании

филиграней. На мой взгляд, такая жесткая (в пределах менее десятилетия) привязка, несмотря на всю ее не требующую объяснения желанность, возможна только при всестороннем монографическом описании кодекса, в общем же каталоге она выглядит чересчур категоричной. В целом принцип допуска в 10–15 лет при датировке по водяным знакам (и при этом чаще в сторону омоложения, чем удревления), сформулированный еще на заре филигранологии, по-прежнему остается в силе. Второе замечание относится почти к четверти описанных рукописей. При описании старообрядческих нотных (крюковых) рукописей авторы не отмечают языковую особенность, имеющую большое значение для установления происхождения и конфессиональной принадлежности кодексов: "истинноречие" и "раздельноречие". Последнее, как известно, характеризуется передачей на письме (и выпеванием при исполнении) редуцированных как гласных (Ъ как *O*, Ъ как *E*). Оно свойственно, как правило, старообрядческим толкам, не признающим церковной иерархии (беспоповцы). Напротив, "истинноречие" характерно для толков, признающих священство (поповцы). Соответственно, они разграничиваются и географически (Север и Средняя Россия), и в отношении орнаментики ("поморский" и "гуслицкий" стили). В большинстве случаев (№ 9, 10, 12–16, 49) стиль орнаментики определен как "гуслицкий", при этом для двух рукописей (№ 9, 12) истинноречность можно проконтролировать альбомом; в двух случаях (№ 16, 34) принадлежность кодексов к "поповской" традиции (и, соответственно, "истинноречие") определяется содержанием – это Литургии (именно этот термин, а не Служебник, принят применительно к нотным рукописям в русской археографической традиции), которые не служатся беспоповцами. Одна рукопись (№ 50, Ирмологий) несомненно "раздельноречная" (что хорошо видно на снимке 36: "жезломЕ", "претворЕше"), и стиль ее украшений явно "поморский". Для двух рукописей (№ 13, табл. 11, 12; 49, табл. 34, 35) образцы распева не представлены, но их орнаментика (даже в черно-белом воспроизведении) выглядит, действительно, скорее "гуслицкой", чем "поморской". Для номеров 11, 17, 18 вопрос остается открытым – судя по скромной (либо неумелой) орнаментике (см. описания), они связаны происхождением с какими-то провинциальными центрами.

Еще одно замечание общего порядка относится практически ко всем рукописям. В новом каталоге не датированы переплеты.

Иногда (например, № 3) какое-то представление о их датировке дают сведения о бумаге переплетных листов. В большинстве случаев обойден также вопрос о датировке записей.

Перейдем теперь к конкретным рукописям.

№ 1. *Евангелие темп*. Середина – третья четверть XVI в. (Описание – 1550-е годы). В дополнительных сведениях (С. 4) сообщается, что особенности орнаментики и правописания указывают на возможное молдаво-украинское происхождение. С этим можно согласиться лишь во второй части формулировки. Молдавское происхождение кодекса исключено. В собственно молдавских рукописях (происхождение которых достоверно установлено) не встречаются заставки цинопочного плетения (см. табл. 1) и декоративное письмо, в котором различаются тонкие и толстые линии (вязью его, во всяком случае, на воспроизведенном л. 7, назвать нельзя из-за полного отсутствия штамбовых соединений). Напротив, в украинской и белорусской традиции XVI в. можно указать большое число примеров и того и другого. Таковы, например, Евангелие начала XVI в. – РГБ, ф. 218, № 869, л. 10 [2. С. 331]; Евангелие, ок. 1540 г. – Киев, ЦНБ НАН Украины, ДА/35Л, л. 111 [2. С. 333]; Евангелие из Хишевич, 1546 г. – Львов, Нац. Музей, Рк. 577, с. 35 [2. С. 335], и др. Почерк ватиканской рукописи также чрезвычайно близок (хотя, вероятно, и не идентичен) почерку Евангелия из Хишевич и письму волынского каллиграфа и миниатюриста второй–третьей четверти XVI в. Андрейчины, переписавшего, в частности, Служебник (ГИМ, Воскр. 3-бум.) и Евангелие Новгородского музея-заповедника (КП 2192/КР-1) [2. С. 347, 349].

№ 3. *Устав Иерусалимский, церковный и монастырский*. Не позднее 1577 г. (Описание – 1570-е годы). В описании рукопись названа Уставом церковным, что не вполне верно, поскольку она содержит (как и подавляющее большинство русских рукописей Иерусалимского типа, начиная с первой четверти XV в.) и значительное число заимствованных из Студийского устава (в афонской обработке) статей дисциплинарного характера и относящихся к монастырскому обиходу. Авторы абсолютно правы, предположительно отождествляя рукопись с упоминаемым в Описи Благовещенского собора в Сольвычегодске вкладом Якова, Григория и Семена Строгановых, поскольку в этом инвентаре, помимо нее упоминается только один Устав "в полдесть", вложенный Н.Г. Строгановым [3. С. 57], местонахож-

дение которого известно (РГБ, собр. Д.В. Пискарева, № 9 [4. С. 4]). Это отождествление позволяет ограничить датировку рукописи временем не позднее 1577 г., так как 5 ноября этого года умер один из вкладчиков – Григорий Аникиевич Строганов. Правы авторы и в оценке летописных записей (на оставшемся без текста развороте листов 64 об. – 65) как источника по истории росписей собора, легшего в основу всей последующей традиции – настенной "летописи" и надписи на створах шкафчика-киота, выполненной в 1825 г. местным священником А. Беляевым (последняя несомненно ближе к заметкам на Уставе, чем к стенописному варианту, и это доказывает, что по крайней мере до указанного года рукопись находилась в соборе).

Этим, однако, значение летописных известий в кодексе не исчерпывается. Дело в том, что почерк анонимного книжника, написавшего на листе 65 заметки 1600 г., хорошо известен исследователям. Именно им написана основная часть Сольвычегодской соборной описи (РНБ. Собр. РАО. № 26) (но не в 1579 г., а, как установил А.В. Силкин, около 1595 г. [5. С. 6, 21]), вкладные записи 1590-х – 1600-х годов на рукописях и книгах и пометы на оборотах ряда строгановских икон [6. С. 71]. По всей видимости, это был один из соборных клириков, появившийся в столице Строгановых (или достигший здесь определенного положения и доверия хозяев) между 1584 (записи на л. 64 об. сделаны другим почерком) и 1600 гг. Косвенно это подтверждает создание дошедшего списка описи в 1590-х годах.

№ 4. *Сборная рукопись*. 1670–1730-е годы. Гравированная заставка-рамка (названная в описании "штампованной заставкой") с сюжетом "Воздвижение Креста" в наверху (Табл. 5), открывающая часть II конволюта (Л. 6), относится к числу работ московского мастера последней четверти XVII в., знаменщика Оружейной палаты Леонтия Бунина (автора гравированного Синодика 1700 г.). Она происходит из серии листов с изображениями двенадцатых праздников, выполненных мастером в 1680-х годах [7. С. 267–275. Рис. 3]; дополнительно это обстоятельство уточняет время создания аллигата. Для текста на листах 250–273 части VI ("Апология в утление печали") в описании не указан автор – св. Димитрий, митрополит Ростовский. Печатное издание того же текста, фрагмент которого сохранился в составе конволюта (Ч. VII, Л. 275–278), исходя из даты списка (1710–1720-е годы), почти несомненно черниговское – 1696, 1700 или 1716 гг. [8. Кн. 1. № 706, 756; Кн. 2. Ч. 1.

№ 916]; большинство известных списков восходит к последнему, не исключено это и для данной рукописи.

№ 5. *Пролог стихивной, март–август*. Первая четверть XVI в. (Описание – 1500–1510-е годы). В историко-литературном и культурно-историческом отношении это, безусловно, самая ценная и, без преувеличения, уникальная рукопись собрания. Она несомненно требует монографического изучения, в рецензии невозможно дать ей всестороннюю оценку. Дело в том, что все (!) жития русских святых, находящиеся в рукописи (кроме киевских святых домонгольского времени и виленских мучеников), неизвестны по другим спискам. Речь идет, таким образом, о 13 новых агиографических памятниках: Жития новгородского архиепископа Евфимия II (3 марта), митрополита Ионы (30 марта), преподобного Евфимия Суздальского (1 апреля), преп. Никиты столпника Переяславского (22 мая), Леонтия, епископа Ростовского (23 мая), перенесение мощей митрополитов Киприана, Фотия и Ионы (27 мая), Жития Игнатия, епископа Ростовского (28 мая), новгородского архиепископа Иоанна II (18 июня), Петра и Февронии Муромских (25 июня), новгородских архиепископов Василия Калики (3 июля), Спиридона (19 июля) и Иоанна I (23 июля), митрополита Петра (23 августа – на память перенесения мощей в 1479 г. в Успенский собор). Три памятника из перечисленных в описании не отмечены – Жития Иоанна II (Л. 146 в–г), Спиридона (Л. 190 в) и митрополита Петра (Л. 240 г – только начало текста) не упомянут здесь и такой русский текст, как Повесть о перенесении мощей св. Николая из Мир в Бари (9 мая, Л. 89 г–90 б). Причина подобных пропусков в описании заключается в отсутствии перед текстами киноарных заголовков (для них оставлено место).

В настоящая время весь этот комплекс текстов готовится мною к изданию. В историческом (в качестве источника) и литературном отношении значение этих памятников по существу нулевое. Новой информации они либо не содержат, либо содержат в безусловно искаженном виде. Например, архиепископ Иоанн, умерший в 1417 г., назван в Житии племянником ("сестричичем") преп. Зосимы (Соловецкого?), скончавшегося в 1478 г., тогда как в реальности речь могла идти только об обратном. Однако комплекс, несомненно принадлежащий перу одного автора, безусловно важен для истории русской агиографии, поскольку содержит жития лиц, о большинстве которых книжнику было известно лишь имя, лик

и место подвигов (т.е. сведения, сообщаемые памятью месящеслова). Литературное творчество в такой ситуации как бы уподобляется службе по Общей Книге. Особенно показателен пример с Житием Петра и Февронии Муромских (на сегодняшний день древнейшим). На основании имен и княжеского титула безвестный книжник построил их отношения по архетипной модели Константин – Елена, превратив героев будущей поэтической легенды в мать и сына. Не исключено, правда, что эти сведения содержались уже в "историческом источнике" текста – месящеслове: так, Л.В. Мошкова сообщила мне о наличии памяти с тропарем и кондаком "Петру князю Муромскому и матери его Февронии" в тропарнике Псалтыри с воследованием сер. XVI в. (РГАДА. Ф. 181. № 716. Л. 375–375 об.); Феврония при этом названа матерью Петра не только в заголовке, но и в тропаре. Возможно, речь идет об одной из версий, существовавших до фиксации Ермолаем-Еразмом "канонического" варианта. Но и в других случаях (за исключением, пожалуй, новгородских святых, в житиях которых наличествует хоть какая-то историческая информация) безвестный агиограф не утруждал себя сбором сведений, смело черпая вдохновение (вместе с текстом) непосредственно из Пролога. Так, к примеру, Житие преп. Евфимия Суздальского (Л. 37 а–б), при полном отсутствии исторических реалий (за исключением упоминания Нижнего Новгорода и Суздаля и расстояния от города до первой обители) с некоторыми сокращениями почти дословно совпадает с Житием преп. Венедикта Римского (Бенедикта Нурсийского) в редакции Пролога Константина Мокисийского. Достаточно, думаю, сравнить начало: "Преподобный отец наш Еуфимей, иже бе воспитанье в Нижнем Новграде, благословен нарицаемый, оставль дом и родителя, и иде в пусто место, дале от града поприщ 63..." (ПЮ. Слав. 5. Л. 37 а); "Преподобный отец наш Венедикт, иже бе от Римскаго града, благословен нарицаемый, мал же сый, оставль дом и родителя, и иде в пусто место..." (Там же. Л. 8 об. (14 марта) – см. табл. 6) и особенно конец текста: "... мниха некая два видиша во сне путь на небо возводящи, постланы ризами мно[го]ценными, и свеща горяща сюду и сюду. И вопроша ны(!), чий путь есть, слыша от белоризца мужа, яко съ путь Еуфимиев блаженаго. И так скончася" (Там же. Л. 37 б) – "... мниха два видеста путь, на небо возводящ и послан ризами многоценными и свещами възжены сюду и сюду. И въпросиста, чий есть путь, сии слышаста от бело-

ризца мужа, яко есть путь блаженаго Венедикта. Тогда скончася" [9. С. 737]). Интересно было бы выяснить принцип отбора образца (за исключением настоятельного сана обоих святых), в частности, играло ли какую-нибудь роль частичное совпадение значения греческого и латинского имен (Бенедикт – "благословенный", Евфимий – "благодарный"). Пример данного Жития не является в этом Прологе исключением. Нечто подобное можно предполагать также (но пока без указания конкретных источников) для Житий архиепископа Евфимия (который жил "в монастыре близ Рима", и был поставлен на новгородскую кафедру патриархом Германом!), митрополита Ионы и Никиты Переяславского. Можно высказать некоторые предположения о времени и месте создания этих "парадигматических" Житий. Они созданы между 1479 г. (наиболее поздняя дата – перенесение мощей митрополита Петра 23 августа) и началом XVI в. (список уже изобилует примерами несомненной порчи текста). С достаточной уверенностью можно определить и место создания. Рукопись происходит из "цокающей" зоны восточнославянских говоров (Новгород, Псков, Полоцк, Смоленск) – есть примеры смещения Ц и Ч ("сестричиць" – Л. 146 г), слово София (в значении Премудрость Божия) употребляется в мужском роде ("святыи Софей" – Л. 185 г), что также характерно для этого региона. Однако Новгород из этого списка следует исключить сразу – здесь не было нужды создавать жития местных архиепископов, подобные содержащимся в римском Прологе. Против Полоцка и Смоленска свидетельствует отсутствие памятней местных святых (Евфросинии и Авраамия). Псков оказывается наиболее подходящей кандидатурой (вряд ли случайно, даже если это описка, что владыка Евфимий назван в заголовке Жития (Л. 3 г) "Архиепископом Пьскова Великого"), тем более что во второй четверти XVI в. сходные литературные приемы будут характеризовать творчество местных агиографов – сотрудников митрополита Макария, Василия-Варлаама и Ильи [10. С. 113–114; 402–403].

Помимо житийных текстов римский список Пролога содержит также (не упомянутые в описании) поучения, связываемые в научной литературе с творчеством Климента Охридского: на предпразднество Благовещения (Л. 22 б–23 б), на Благовещение (Л. 23 в–25 а), на память апостола Марка (Л. 68 в–70 а), на Рождество Иоанна Предтечи (Л. 154 г–155 в), на предпразднество Преображения (Л. 214 в–215 а), на Преображение (Л. 216 а–г) и на Успение (Л. 226 б–г).

Однако перечисленным сюрпризы Пролога ПИО, Слав. 5, похоже, не ограничиваются. Весьма вероятно (сужу пока по весьма ограниченному материалу), что рукопись, несмотря на наличие проложных стихов, Стишным прологом не является. Точнее, она не связана с метрической редакцией Синаксаря, переведенной южнославянскими книжниками в XIV в. Наличие в списке дополнительных некалендарных статей, отсутствующих в других русских Стишных прологах (например, "Слова о пресвитере, с ним же ангелы служаху" – Л. 8 об., 13 марта – Табл. 6; ср. [11. С. 496–497]), можно было бы объяснить особенностями региональной традиции, изучение которых в настоящее время действительно только начинается. Однако уже упоминавшееся Житие Бенедикта Нурсийского совпадает по тексту не со стишной редакцией [9. С. 753], а с редакцией Константина Мокисийского [9. С. 737]. Стих, предшествующий Житию ("Сам ввержеся во кропиву наг, и Богу дух свой предаст"), также не имеет ничего общего с традиционным ("Утрусив мысли всяких страстей. Жизненныя узы Венедикт оплтъвая" [11. С. 364]). Эпизод о усмирении блудной похоти крапивой отсутствует в стишной редакции и может восходить лишь к Прологу Константина. Как можно судить по описанию, "нестандартные" стихи, с отличиями явно превышающими редакционные, сопровождают в списке также "Память в болгарях скончавшихся братии нашей" (Л. 194 об., 23 июля; Описание. С. 25 – ср. [11. С. 442]). Все это заставляет полагать, что данная редакция представляет попытку создать вариант Стишного пролога, что называется, из подручного материала с написанием новых стихов. Для полноты картины следовало бы предпринять разыскания сентябрьской половины этого Пролога (да и более сохранный экземпляр мартовского тома отнюдь не помешал бы), но больших надежд на это возлагать, вероятно, не стоит. Памятник, несомненно, не дал сколь-либо разветвленной традиции, и поэтому значение списка ПИО как ее представителя трудно преувеличить. Надо признаться, что первоначально я, сосредоточившись на новых житиях, считал (как и описатели), что имею дело со списком обычного Стишного пролога, хотя и новой разновидности. К новым выводам я пришел в результате работы с Описанием А. Джуровой и К. Станчева (и отчасти благодаря счастливой случайности – публикации в приложенном альбоме страницы с окончанием чтений 13 марта и началом 14).

№ 8. *Канонник*. Судя по почерку и орнаментике (Табл. 8), рукопись датируется

скорее первой половиной или серединой XVIII в. (в описании – 1650-е – 1680-е годы) и никак не ранее последней четверти XVII в. Филигрань "герб Амстердам", как сообщают описатели, видна плохо и не идентифицируется, между тем сюжет широко распространен и в XVIII в. (вплоть до 1740-х годов, позднее встречается редко). Если в заключительной (добавленной позднее) молитве сборника упоминается действительно Екатерина I (а не просто "императрица Екатерина Алексеевна"), верхний предел его создания ограничивается 1725–1727 гг.

№ 9. Судя по записям, в XIX в. рукопись находилась (а, возможно, и была написана) в Егорьевском у. Рязанской губ. (деревня Пантелеево находится по соседству с г. Егорьевском – ныне Московская обл.). Фамилия Юдиных во второй половине XIX – середине XX в. играла заметную роль среди егорьевских старообрядцев – попывцев белокрыницкого согласия [12. Вып. 3. С. 255–257].

№ 10. *Октоих и Стихи покаянные, нотированные*. Середина XIX в. Состав покаянных стихов на восемь гласов (постатейно не расписаны) можно было бы соотнести с существующим справочником по этому жанру [13].

№ 20. *"Скитское покаяние" и Канонник*. 1848 г. Нет полной уверенности, что текст "Скитского покаяния" в данной рукописи восходит обязательно к супрасльскому изданию 1788 г. (во всяком случае, ссылка на выходные данные при списке издателей не приводится). Дело в том, что в рукописи ПИО "Покаяние" сопровождается Чин самопричащения (Л. 35–45), отсутствующий в брошюре 1788 г., но имеющийся в почеевском издании Канонника 1786 г. (непосредственно примыкает к "Покаянию") и в позднейших (см.: [14. С. 116–117]); вполне возможно также, что список восходит к одному из изданий опосредованно.

№ 21. *"Альфа и Омега"*. Вторая четверть XVIII в. Судя по репродукции (Табл. 15), орнамента рукописи представляет уже не старопечатный стиль, а барокко, в варианте, восходящем к московской книжной гравюре последней четверти XVII в. Ср., например, нижние части гравированных заставок-рамки 1680-х годов работы Л. Бунина [7. С. 268, 270. Рис. 3, 5]. Подробнее о рукописной и старопечатной традиции памятника см.: [14. С. 82–86].

25. *Синодик лицевой*. Рукопись достаточно надежно датируется 1682–1690 гг. на основании царских и патриарших имен, включенных в помянник (основным почерком написано имя царя Феодора Алексеевича, умершего 27 апреля 1682 г.; дополнитель-

ным – патриарха Иоакима, скончавшегося 17 марта 1690 г.). К сожалению, литературная часть Синодика не соотнесена в описании с наиболее обстоятельным исследованием на эту тему [15].

№ 26. *Торжественник триодный с дополнениями*. Начало – первая четверть XVII в. (Описание – 1600–1610-е годы). Состав сборника, возможно, стоило бы соотнести с каталогом триодных гомилий восточнославянских рукописей [16]. Из текстов славянского происхождения, заслуживающих специального внимания, кроме отмеченных составителями поучений Кирилла Туровского и Климента Охридского, следует указать также помещенное в числе дополнений (Л. 318–319) небольшое Слово в субботу Светлой недели, с именем Григория Богослова в заглавии (начало: "Сей день, иже сотвори Господь..."). В действительности это начальная часть слова на воскресение из седмичного цикла поучений Григория Философа, автора, работавшего в Киеве в 60-е годы XI в. [17. С. 173–174]. Памятник получил определенное распространение в триодных гомилиях XV–XVII вв., римский – по крайней мере пятый из известных списков [18. С. 95. Примеч. 17]. Интерес представляют и три поучения, надписанные именем Иакова – одно в основной части (Л. 144 об. – 149, пятница пятой недели Великого поста) и два в добавлении (л. 313–318, четверг и пятница Светлой недели), учитывая практическую неизученность этого псевдоэпиграфа в древнерусской книжной традиции [19. С. 291–296]. Судя по записи (практически современной кодексу, если судить по воспроизведенному фрагменту [Табл. 20]), рукопись принадлежала Герасимову Троицкому монастырю, неясно лишь – Болдину Дорогобужскому или Вологодскому. Судя по формулировке записи ("Троицы, да Иоана Милостивого"), речь идет скорее о втором из них. В Болдине монастыре не было престола в имя Иоанна Милостивого – трапезная посвящена Введению, соборные приделы также имели другие посвящения [20. С. 414].

№ 28. *Родословная книга*. Третья четверть XVIII в. (Описание – 1760-е годы). О редакции памятника трудно сказать что-либо определенное, поскольку в Описании указано лишь количество глав (64) и название последней ("Начало орде Нагайской, родословие князем и мурзам Нагайским); о редакциях Родословных книг см.: [21]. В летописчике, открывающем книгу (Табл. 21), обнаруживается ряд любопытных легендарных деталей: например, Гостомысл именуется Готовъсмысль (ложная этимоло-

гия – "готовый смысл"?), о Рюрике сказано, что он "от колена Игаря короля". Помета: "А списано с летописца... патриарха Гермогена" при главе "Предисловие о великих князех Литовских" (Л. 79) сообщает некоторую информацию об этой недошедшей до нас летописи (о ней см.: [10. С. 158]).

№ 30. *Сборник сочинений о Петре Великом*. Середина XVIII в. Помещенное на листах 119–491 "Житие Петра I" в пяти книгах принадлежит перу аббата Антонио Катифоро (фамилия в списке искажена – "Капсифарос" и составителями не откомментирована). В сведениях о издании и переводе присутствуют ошибки (погрешности списка или опечатки). Венецианское греческое издание вышло в свет в 1737 (а не в 1727) г., перевод выполнен С. Писаревым в 1743 (а не в 1734) г. [22. № 751]. Оставлен без внимания и владельческий штамп "Сулакадзев 1771" на первой странице рукописи (Табл. 33), между тем, речь идет о знаменитом русском фальсификаторе начала XIX в. А.И. Сулакадзеве (цифра в штампе означает дату рождения), который был и увлеченным собирателем (большая часть его рукописной коллекции ныне в РГБ – ф. 96 (собр. Н.П. Дурова) [12. Вып. 1. С. 193–198]).

№ 32. *Часослов великий с полным месяце-словом и помянником*. Последняя треть XVII в. (Описание. – 1660–1680-е годы). Предложенное наименование представляется неудачным. Из описания следует, что рукопись содержит не все службы дневного круга и по составу близка к исследованию Псалтыри. В российской археологии более употребительно название *Часослов с воследованием*. В дополнительных сведениях (С. 89) авторы ошибочно предполагают на основании неверной интерпретации подстрочной записи, что рукопись находилась в д. Козмодемьянское Дмитриевского у. бывшей Курской губ. Между тем в записи ("Молитвенник церкви великомученика Георгия, что в Дмитровском уезде, в Козмодемьянском стану, что на Хо(т)е") речь идет, несомненно, о Дмитровском у. Московской губ. (ныне области), где имелся стан Козмодемьянская слобода. Это прекрасно согласуется с упоминанием (правда, в не вполне понятном контексте) на листе 434 Николо-Песношского ("Песношного") монастыря, находящегося в том же уезде.

№ 43–46. *Псалтырь толковая в переводе Максима Грека*. Не ранее 1786–1789/1790 гг. (переписка закончена в 1798 г. от сотворения мира и продолжалась 32 месяца); в четырех томах. Этот комплекс представляет существенный интерес для истории складывания собрания ПИО, хотя на

рукописях нет никаких записей и помет, позволяющих проследить их судьбу между 1843 г. (запись на листе 439 в № 45 и на листе 425 в № 46) и временем, когда они оказались в месте нынешнего хранения (поступили не позднее 21.03.1929). Описатели справедливо обратили внимание на полное сходство комплекта (количество томов, запись писца с идентичной датой, миниатюры) с описанным в 1872 г. А.Н. Поповым в составе собрания А.И. Хлудова [23. С. 44–45. № 48] (коллекция находится в настоящее время в ОР ГИМ). Из этого сделан несколько поспешный вывод (покоящийся, впрочем, на вполне справедливом основании, поскольку сведения о филигранях хлудовского списка в описании Попова, в соответствии с археографической практикой его времени, не приведены), что хлудовские тома списаны с комплекта ПИО (датировка которого надежно контролируется водяными знаками) с повторением выходной записи оригинала. В реальности, однако, ситуация и проще и сложнее. С вероятностью до 99% – учитывая неординарность списка – можно утверждать, что речь идет об одной и той же рукописи. В настоящее время Толковой псалтыри, описанной А.Н. Поповым под № 48, в хлудовском собрании ГИМ нет (благодарю сотрудника ОР ГИМ Ю.А. Грибова, сообщившего мне эти сведения). Неясно лишь, пропали ли тома из коллекции между 1917–1923 гг. (время наиболее благоприятное), при ее передаче из Никольского Единоверческого монастыря (куда собрание поступило по завещанию владельца), или же откололись от нее еще до поступления в монастырскую библиотеку (1883 г.). Отсутствие на томах ПИО владельческого экслибриса свидетельствует скорее в пользу второго предположения (хотя наклейки могли быть и уничтожены). К слову, это не единственная утрата хлудовской коллекции, в основном сохранившейся очень хорошо. Так, сербский сборник второй половины XIV в., описанный А.Н. Поповым под № 105 (с датировкой XV в.) и снабженный экслибрисом с соответствующим номером, находится сейчас в Музейном собрании ОР РГБ (Ф. 178, № 10272 – указала мне Н.А. Кобяк).

© 2002 г. А.А. Турилов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джурова А., Станчев К., Япунджич М. Опис на славянските ръкописи във Ватиканската библиотека / *Dzurova A., Stancev K., Japundzic M. Catalogo dei manuscritti slavi della Biblioteca Vaticana*. София, 1985.

2. *Запаско Я.П.* Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. Львів, 1995.
3. *Савваитов П.* Строгановские вклады в Сольвычегодский Благовещенский собор по надписям на них. СПб., 1886.
4. *Викторов А.Е.* Каталог славяно-русских рукописей, приобретенных... после Д.В. Пискарева. М., 1871.
5. Искусство строгановских мастеров: Реставрация. Исследования. Проблемы / Каталог выставки. М., 1991.
6. *Поздеева И.В., Турилов А.А.* "Святые врата", открытые на Восток: загадка раннего казанского книгопечатания // Научно-богословские труды по проблемам православной миссии. Белгород, 1999.
7. *Винокурова Э.П.* К вопросу о генезисе поморского орнамента // Литература Древней Руси. Источниковедение / Сборник научных работ. Л., 1988.
8. *Запаско Я., Ісаевич Я.* Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. Львів, 1981–1984. Кн. 1–2 (Ч. 1–2).
9. Великие Минеи Четыи митрополита Макария / *Die Grossen Lesemenaen des Metropoliton Makarij (12–25 марта)*. Freiburg, 1998.
10. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1.
11. *Петков Г.* Стишният пролог в старата българска, сръбска и руска литература: Археография, текстология и издание на проложния стихове. Пловдив, 2000.
12. Рукописные собрания Государственной Библиотеки СССР им. В.И. Ленина: Указатель. М., 1983. Т. 1. Вып. 1 (1862–1917); 1996. Вып. 3 (1948–1979).
13. Ранняя русская лирика: Репертуарный справочник музыкально-поэтических текстов XV–XVII вв. / Сост. Петрова Л.А., Серегина Н.С. Л., 1988.
14. *Вознесенский А.В.* Старообрядческие издания XVIII – начала XIX в.: Введение в изучение. СПб., 1996.
15. *Дергачева И.В.* Становление повествовательных начал в древнерусской литературе XV–XVII вв.: На материале Синодика. Мюнхен, 1990.
16. *Certorickaja T.V.* Vorläufiger Katalog kirchenslavischer Homilien des bewegliches Jahreszyklus. Kleve, 1994.
17. *Рыков Ю.Д., Турилов А.А.* Неизвестный эпизод болгаро-византийско-русских связей XI в. (Киевский писатель Григорий Философ) // Древнейшие государства на территории СССР. 1982. М., 1984.

18. Турилов А.А. Памятники письменности восточных славян в южнославянской рукописной традиции XIII–XIV вв. (Проблемы и перспективы изучения) // Информационный бюллетень МАИРСК, М., 1992. Вып. 25.
19. Никольский Н.К. Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (X–XI вв.). СПб., 1906.
20. Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI в.: Проблемы художественного мышления эпохи. М., 1996.
21. Бычкова М.Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический источник. М., 1975.
22. Битовт Ю. Редкие русские книги XVIII в. М., 1905.
23. Попов А.Н. Описание рукописей и каталог книг церковной печати библиотеки А.И. Хлудова. М., 1872.

Славяноведение, № 4

Prešernovi dnevi v Kranju. Simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Kranj, 2000. 528 S.

Дни Прешерна в Кране. Симпозиум, посвященный 150-летию со дня кончины д-ра Франце Прешерна

В городе Крань (Словения) издан сборник докладов, прочитанных на Международном научном симпозиуме, прошедшем в этом городе в феврале 1999 г. и посвященном 150-летию со дня смерти великого словенского поэта Франце Прешерна. Симпозиум этот явился своеобразным началом широко-масштабных юбилейных торжеств в связи с 200-летием со дня рождения Прешерна, проходивших в ряде стран, включая и Россию.

В краньском симпозиуме приняли участие 36 докладчиков – литературоведы из Словении и их гости из Австрии, Германии, Италии, Канады, США, России, Польши, Чехии, Словакии, Боснии и Герцеговины. С приветственным словом к симпозиуму обратился президент Словении Милан Кучан, послание это опубликовано как вступление к сборнику. Доклады, прочитанные на симпозиуме, разнообразны по своей проблематике и представляют значительный научный интерес.

Открывают сборник сообщения, предваряющие непосредственное обращение к поэзии Прешерна – они содержат анализ исторических условий, предшествовавших и сопутствовавших творчеству словенского поэта. В докладе П.Водопивца "Предмартовская эпоха" (имеются в виду события марта 1848 г. в Австрийской империи) в противоположность традиционному мнению о статичности этого времени говорится

об известном динамизме экономического и культурного развития Словении в эти годы, об особенностях словенского национального движения, имевшего, как полагает автор, еще исключительно культурно-языковую природу. Многообразные сведения о городе Кране, где Прешерн провел последние годы жизни (1846–1849), представлены в докладе "Крань в эпоху Прешерна" (Й. и М. Жонтар).

Боштьян М. Зупанчич в докладе "Прешерн как юрист", сообщая некоторые биографические сведения о поэте, ставит вопрос о психологическом влиянии профессии на личность и творчество Прешерна, специфику его мышления и метафорики, особенно проявившуюся как своеобразное сочетание конкретного и абстрактного.

Большинство докладов сборника посвящено непосредственно творчеству Прешерна, рассматриваемому в разных аспектах, включая определение его роли и места в развитии словенской литературы. Немецкий исследователь П. Шербер в докладе "От стихотворца к национальному поэту. Франце Прешерн и его творчество в контексте европейского литературного процесса канонизации" указал на относительное запаздывание канонизации, т.е. национального признания Прешерна, которое не было прижизненным и в качестве процесса восходит лишь к 1870-м – началу 1880-х годов, что было обусловлено

необходимостью возникновения соответствующей социальной базы, культурным и языковым развитием Словении в эти годы на такой основе – потребностью персонификаций народа в национальном поэте как воплощении национальной идентичности. Автор сопоставляет этот процесс в словенской литературе с аналогичным процессом в немецкой (Гете, Шиллер).

Очень значителен по своему содержанию, по осмыслению стержневых элементов творчества Прешерна доклад акад. Б. Патерну "Внутренние параметры национальной мысли Прешерна". Автор характеризует три основополагающие компонента, заложенные Прешерном в развитие национального сознания словенцев, – языковой, политический и сущностный, экзистенциальный, обусловленный своей эпохой, европейским романтизмом. Докладчик подчеркивает важность борьбы Прешерна за язык, программный характер этого начинания – выведение словенского языка за пределы утилитаризма, крестьянского обихода, культивирование его до уровня сложнейших форм современной европейской поэзии, поскольку доказательство существования словенского языка было равнозначно доказательству существования словенской нации. Политическая составляющая мировоззрения Прешерна, по справедливому утверждению докладчика, ярче всего проявилась в стихотворении "Здравица". В связи с этой составляющей Б. Патерну рассматривает особенности идеи славянской солидарности у Прешерна (без австрославизма, панславизма и югославизма-иллиризма), указывая на общечеловеческий, гуманистический характер исторической перспективы в стихотворении и называя три периода, когда "Здравица" имела для словенцев наибольшее значение (в 1848 г., во время Второй мировой войны и в наши дни, почти спонтанно став гимном современной Словении). Анализируя сущностно-экзистенциальное содержание поэзии Прешерна, докладчик выявляет его глубину и эмоциональную широту, останавливаясь на нетрадиционном характере христианства в поэме Прешерна "Крещение при Савице".

Два доклада в сборнике посвящены выявлению словенских литературных истоков поэзии Прешерна. Это доклад Й. Погачника "Франце Прешерн и словенская литературная традиция" и И. Грдины – "Прешерн до Прешерна". В первом из них обращается внимание на необходимость обнаружения словенских истоков, имевших существенное значение особенно в раннем творчестве Прешерна. Важнейшим компонентом, воспринятым Прешерном от предшествен-

ников, докладчик считает народный стих (отчасти опосредованный творчеством Водника), а также стихотворные размеры других поэтов, рецепцию отдельных мотивов из литературной традиции ("Водяной" из книги В. Вальвасора "Слава воеводины Краинской", сюжеты из церковных проповедей при подчинении их собственной авторской концепции поэта). Докладчик указывает на существование у словенцев сонетной традиции (первый сонет на словенском языке – перевод с испанского – опубликован в 1734 г., первый оригинальный словенский сонет, принадлежавший Я. Веселу, – в 1818 г.) и полагает, что лишь освоив эти словенские истоки Прешерн обратился к иноязычным образцам.

Автор второго из названных докладов полемизирует с литературоведами, утверждавшими, что до Прешерна у словенцев не было ни литературы, ни языка, и с теми, кто сопоставляет Прешерна лишь с крупнейшими фигурами мировой литературы. Автор останавливается на творчестве словенского поэта Урбана Ярника, сравнивая некоторые его стихотворения с произведениями Прешерна и показывая у него эволюцию этих мотивов от религиозных к светским, любовным. И. Грдина вовлекает в сферу своего исследования также стихотворения Дева, М. Кастелица, Ш. Модриняка, находя некоторые параллели с творчеством Прешерна.

Обширный, интересный и главное – почти не исследованный материал содержит работа М. Хладника "Апокрифический Прешерн", где под словом "апокрифы" подразумевается "неканонизированные" – не входящие в собрания сочинений Прешерна тексты – как по причине неполной достоверности их принадлежности Прешерну, так и из-за встречающейся в них грубой и даже ненормативной лексики. В докладе дается обзор этих текстов – эпиграмм, стихов "на случай", эпитафий, посвящений, своеобразных "пророчеств", стихотворений, записанных по памяти со слов родных и знакомых поэта. Автор останавливается и на отдельных случаях мистификации, подделки рукописей Прешерна. Рассматриваемые тексты позволяют приоткрыть еще одну сторону богатой личности Прешерна, в дополнение к обычно акцентированному трагизму – общительность поэта и его любовь к шутке.

Насыщена интересным материалом также обширная работа Г. Коцияна "Поэт Прешерн в глазах современников", где привлекаются воспоминания родных и близких Прешерна, друзей, знакомых, коллег-юристов, литераторов, журналистов, издателей,

представителей власти. Автор показывает взаимоотношения поэта с рядом видных деятелей культуры, в том числе с Копитаром, Блейвейсом, Вразом, Миклошичем, с чехами Челаковским, Шафариком, поляком Корытко; в результате складывается сложный, разносторонний образ Прешерна как человека, раскрываются своеобразные черты его личности. Автор делает любопытный вывод: большинство людей, с которыми Прешерну довелось общаться, относились к нему с симпатией.

Некоторые участники симпозиума концентрировали свое внимание на восприятии Прешерна творческих импульсов, идущих от древнейших источников мировой культуры. В докладе "Прешерн и античность" Й. Кастелиц прослеживает обращение словенского поэта к античной литературе, которую он хорошо знал (Гомер, Гораций, Виргилий, Овидий, Тибул, Проперций), выявляя образы античной мифологии и поэзии в словенских и немецких стихах Прешерна. Тематически к этому докладу примыкает и сообщение К. Гантара "Так начнем же мы с Гомера" (в качестве заглавия взята строка одного из сонетов Прешерна), где автор говорит об эпических замыслах Прешерна, о его внимании к проблемам гекзаметра, об отдельных образах в его произведениях, соотносимых с гомеровыми.

Еще одному важному пласту в творчестве Прешерна посвящен доклад Я. Коса "Прешерн и Библия", где автор обращает внимание на подход Прешерна к Священному писанию с позиций европейского романтизма, что накладывалось на ранее (с детских лет) знакомство будущего поэта с Библией в процессе домашнего и школьного воспитания. Автор рассматривает библейские образы и мотивы в творчестве Прешерна.

Три доклада в сборнике посвящены поэме Прешерна "Крещение при Савице", в которых она рассматривается в разных аспектах (Т. Кермаунар. «Тема христианской набожности в прешерновском "Крещении при Савице"»; М. Штухец. «Сдвиги в повествовательной системе прешерновского "Крещения при Савице"»; Р. Нойхойзер. «Размышления о жанре прешерновского "Крещения при Савице" (А.С. Пушкин и Ф. Прешерн)»). В первом из них автор высказывает интересное предположение, что, быть может, вся поэма была написана лишь ради возможности опубликовать проникнутое свободолюбием "Вступление", ставит вопрос о границах допустимых "надстроек" текста путем догадок в трактовках

и предлагает свою интерпретацию, видя в герое поэмы Чертомире развитие и разложение героя в словенской литературе в последующие полтора века, а в сюжете – известные европейской литературе взаимные садомазохистские мучения героя и героини, но при том, что персонажи поэмы – автономные свободные личности. Анонсированное в подзаголовке последнего из указанных докладов сопоставление с Пушкиным автором существенно не развернуто и растворяется в большом числе других параллелей.

Сравнительный метод исследования в более четком виде проявляется в целом ряде докладов: З. Дараш. "Адам Мицкевич и Франце Прешерн между классицизмом и романтизмом"; Б. Токарз. "Газели Франце Прешерна и одесские сонеты Адама Мицкевича"; Й. Рекке. «"Идеалы" Шиллера и "Прощанье с юностью" Прешерна. Сравнение и проблема перспективы»; М. Юрак. "Английское романтическое движение и Франце Прешерн". К этой группе докладов примыкает доклад Ю. Мартиновича "Прешерновские стимулы в творчестве Кранчевича".

Еще одна проблемно-тематическая группа докладов дает представление о распространении творчества Прешерна за пределами его родной страны. Сюда относятся доклады: Г.Р. Купер. "Прешерн и англоговорящий мир"; М. Пирьевец. "Путь Прешерна к итальянцам"; Т. Престли. "О переводе Прешерна на английский при особом внимании к женским рифмам"; В. Погачник. «"Венок сонетов" в трех французских вариантах»; М. Недведова. "Творчество Прешерна в чешском культурном пространстве"; А. Розан. "Прешерн у словakov". В эту группу входит и интересный доклад представительницы нашей страны Н.Н. Стариковой "Поэзия Ф. Прешерна в России (конец XIX – начало XX века)", где подробно рассматриваются переводческие и литературоведческие труды акад. Ф.Е. Корша, познакомившие русских читателей с творчеством Прешерна, а также приводятся данные о словенских откликах на работы Корша.

В сборник вошли также доклады, характеризующие разные области словенского искусства и культуры в годы жизни и творчества Прешерна – музыку (Ф. Крижнар), живопись (Н. Шуми), рассматривается проблема портретирования самого Прешерна (М. Кемель) и даже выявляется его манера одеваться (А. Баш). Вопросы архитектуры и градостроительства затрагиваются в докладе Ц. Авгуша "Картина Краня во времена Прешерна. Историко-урбанистический

и архитектурный характер города в первой половине XIX столетия", снабженный, как и доклад Н. Шуми, цветными иллюстрациями, а также своеобразный доклад Д. Матяшец и Д. Черне, как бы заглядывающий в будущее города, – "Видение будущности города Крань, стимулированное идентичностью Прешерна".

Обилие интересных, разнообразных, во многом новых материалов и их серьезное

исследование, постановка новых вопросов, в ряде случаев – отличающиеся оригинальностью трактовки произведений Прешерна – все это говорит о несомненном научном значении рецензируемого сборника, который безусловно вносит существенный вклад в развитие прешерноведения.

© 2002 г. *М.И. Рыжови*



Чтения по проблемам славистики и болгаристики, посвященные юбилею Е.И. Деминой

22 января 2002 г. в Институте славяноведения РАН (ИСл) состоялись Чтения по проблемам славистики и болгаристики, посвященные юбилею Е.И. Деминой. Чтения были организованы по инициативе Отдела славянского языкознания ИСл, в научном коллективе которого Евгения Ивановна работает с 1954 г. От имени руководства Института выступил заместитель директора В.А. Хорев, который оценил научную и научно-организационную деятельность юбиляра как крупный вклад в болгаристику и славистику в целом, получивший международное признание. Высокая оценка научных трудов Евгении Ивановны со стороны ее коллег по Институту была дана и в выступлении заведующего Отделом славянского языкознания А.Ф. Журавлева. Немало теплых слов в свой адрес услышала Е.И. Демина в поздравлениях чл-корр. Т.М. Николаевой, акад. Г.Г. Литаврина, д.ф.н. Л.Э. Калнынь, других своих друзей и коллег по работе.

Научная программа чтений включала восемь докладов. По замыслу организаторов этого мероприятия, их проблематика должна была быть связана с научными интересами юбиляра. Однако эти рамки не очень стеснили участников чтений, так как круг научно-исследовательской деятельности Е.И. Деминой весьма широк. Евгения Ивановна внесла значительный вклад в изучение истории болгарского языка и проблем функционирования болгарского литературного языка в современный период, широко известны ее труды по разысканию, анализу содержания и языка, а также публикациям болгарских рукописей, в области текстологии, диалектологии и лингвистической географии, проблем теоретической грамматики, сравнительно-типологического анализа, социолингвистики, истории славистики.

Проблемам теоретической грамматики был посвящен доклад Т.Н. Молошной "О грамматических работах Е.И. Деминой". Здесь особое внимание выступавшая уделила так называемым пересказывательным формам болгарского глагола. В исследовании именно этой категории идеи Е.И. Деминой получили широкий отклик болгарских – и не только – грамматистов. До работ юбиляра в болгарской нормативной грамматике считалось, что особые, так называемые пересказывательные, формы болгарского глагола являются формами наклонения. Е.И. Деминой удалось доказать, что в данном случае речь идет об особой грамматической категории вторичности высказывания (пересказывания), которая отсутствует в других славянских языках (кроме македонского).

Исследования в сфере болгарской диалектологии нашли свое отражение в докладе И.А. Седаковой "Болгарская диалектная речь: записи последних лет", в котором было дано описание современного состояния восточноболгарского говора (села Равна р-на Провадия). Этот говор интересен тем, что в нем сосуществуют диалектная и литературная нормы, и для речи равнецов характерны дублетность морфологических форм и вариативность произношения даже в пределах одного высказывания. Докладчица обратила особое внимание на речевые ситуации, в которых доминируют архаические диалектные формы или, наоборот, литературные (в представлении носителей говора, "культурные").

О своих последних открытиях в области палеографии и кодикологии рассказал А.А. Турилов в докладе "Новые данные к истории Тырновского скриптория XIV в.". На основе отождествления почерка ему удалось атрибутировать писцу известного сбор-

ника 1348 г. Лаврентию еще три рукописи. Две из этих рукописей (Сводный патерик и отрывок Торжественника) находятся в библиотеке Зографского монастыря на Афоне, а одна (Повесть о Варлааме и Иоасаафе) в фонде Новоямецкого монастыря в Государственном архиве Молдовы. А.А. Туриловым было установлено также, что 101-м (безымянным) писцом Синодального списка Хроники Манассии 1345 г. переписана болгарская часть канонического сборника середины XIV в. (ГИМ. Собр. Хлудова. № 76).

Сравнительно-типологический аспект исследовательской деятельности юбиляра оказался близким Ф.Б. Успенскому. Свой доклад "Сравнительный анализ языческих и христианских имен в средневековой Скандинавии и на Руси: перспективы исследования" он посвятил проблеме усвоения христианских имен в таких странах поздней христианизации, как Дания, Норвегия, Швеция и Русь. В докладе были рассмотрены роль культа рода (культа предков) в сохранении языческого именованности, становление двуименности (языческое имя плюс христианское имя) в скандинавской и русской традициях. Докладчик обратил особое внимание на некоторые лингвистические аспекты бытования крестильных имен на ранних этапах христианизации.

Исследованию проблем социолингвистики как в диахроническом, так и в синхронном аспектах было посвящено немало работ Е.И. Деминой. Социолингвистическую проблематику сделала предметом своего исследования и Е.С. Узенева. В ее докладе "К изучению болгарской ономастики: гендерный анализ имени собственного" анализировалась семантика имен собственных, отражающая традиционную картину мира болгар и соответствующие ей гендерные стереотипы, а также отдельные словообразовательные модели мужских и женских имен. Е.С. Узенева приходит к выводу, что у болгарских личных имен не отмечается четких границ гендерных стереотипов, причем "размытость" идет как со стороны мужских имен к женским, где наличествуют маскулинные характеристики, так и от женских к мужским, которым также свойственны чувственность и эмоциональность, что свидетельствует о тенденции к нейтрализации гендерных различий в имени собственном в болгарском языке.

Важное место в научном творчестве Е.И. Деминой занимает изучение истории славистики. Проблемы этой дисциплины были в центре внимания в докладах Г.П. Клепиковой и Г.Д. Шкундина. В докла-

де Г.П. Клепиковой "П.А. Лавров как лексикограф" был рассмотрен тот аспект деятельности известного русского филолога конца XIX – начала XX в., который сейчас, видимо, особенно близок Евгении Ивановне, работающей над подготовкой к печати "Словаря книжного и болгарского языка XVII века на народной основе" – плодом многолетнего труда международного научного коллектива под руководством юбиляра. Как подчеркнула выступавшая, П.А. Лавров проявлял глубокий интерес к проблеме славянской лексикологии и лексикографии, что нашло отражение во многих его трудах. Особое внимание Г.П. Клепикова уделила освещению деятельности ученого по завершению и публикации "Словаря болгарского языка" А.А. Дювернуа. Г.Д. Шкундин в своем докладе "Российские ученые начала XX века о языке македонских славян" обратил внимание на деятельность славистов, занимавшихся в начале XX в. лингвистическим аспектом македонской проблемы. П.А. Лавров, Н.С. Державин, А.М. Селищев внесли вклад в развитие европейской славистики, подтвердив выдвинутый еще в середине XIX в. В.И. Григоровичем, но слабо им обоснованный тезис болгарской языковой принадлежности македонских славян. Их выводы, как считает Г.Д. Шкундин, стали краеугольным камнем концепции, сложившейся в отечественном славяноведении в основном в конце 1960-х – первой половине 1970-х годов. Эта концепция, опирающаяся на научные критерии, охватывала все стороны македонского вопроса и делала вывод о вычленении македонского народа из болгарского этноса.

К сожалению, из-за болезни докладчика не состоялся запланированный доклад чл-корр. В.А. Дыбо "Ранние болгарские дамскины и проблемы диалектологии болгарских акцентных систем", посвященный, может быть, самой важной сфере деятельности Е.И. Деминой, в которой она получила мировую известность и признание, – изучению ею болгарского рукописного наследия и, особенно, дамскинов. В своем докладе В.А. Дыбо намеревался показать, что фундаментальные труды Е.И. Деминой по дамскинам, хотя и получили признание мирового научного сообщества, до сих пор до конца не оценены, и сделанное юбиляром должно служить базой для дальнейших исследований, в частности, в области акцентологии.

IX Международный сорабистический семинар во Львове

Уже 17 лет во Львовском университете им. Ив. Франко (Украина) проводится семинар, посвященный изучению языка, истории, этнографии и культуры лужицких сербов. Первоначально семинар объединял сорабистов Советского Союза, но в последние десять лет превратился в международный форум, в котором принимают участие исследователи лужицких сербов как из Лужиц, так и из других стран и земель, преимущественно славянских. При этом произошло и некоторое изменение состава участников: до распада СССР большинство сорабистов происходили из Украины, России, Белоруссии, среднеазиатских советских республик. Теперь же во Львов все чаще съезжаются исследователи из Германии и из славянских стран бывшего социалистического лагеря. Это обстоятельство связано как с ухудшением финансирования семинара в самом Львовском университете, так и с практическим прекращением по тем же причинам командировок ученых из регионов бывшего СССР. Нельзя не отметить, что такое положение отрицательно повлияло на интерес к лужицким сербам. Например, в России, ученые которой в послевоенный период много сделали для изучения языка, литературы и истории лужицких сербов, в настоящее время интерес к этим сюжетам совсем невелик. И только на земле Украины, во Львовском университете, сорабистика не угасает: преподается серболужицкий язык по кафедре славянской филологии, поддерживаются контакты с лужицкими сербами, с Сербским институтом в Будишине, появляются молодые кадры ученых и т.д.

IX сорабистический семинар, проходивший во Львове 29–31 октября 2001 г., был организован Институтом славистики Львовского университета и кафедрой славянской филологии того же университета, а также Сербским институтом в Будишине (ФРГ). В работе семинара участвовали пять сотрудников будишинского Сербского института во главе с заместителем директора доктором Ф. Шеном, четыре сорабиста из Польши (из Варшавы и Щецина), среди которых была и профессор Э. Сятковская, известная исследовательница серболужицкого языка и главный редактор выходящего в Варшаве журнала "Zeszyty Łużyckie",

публикующего материалы о лужицких сербах. Чехия была представлена исследователем чешско-серболужицких научных связей Эд. Валентой, Белоруссию представлял лингвист из Бреста Г. Прибитка, а Россию – автор этих строк. Остальные участники семинара (кроме одного – из Харькова) были из Львова. Всего на заседаниях – одном пленарном и двух секционных – было заслушано 30 докладов, в специальной секции по языкознанию – десять. Другие докладчики касались в своих сообщениях различных вопросов литературы, истории, этнографии и культуры лужицких сербов. На пленарном заседании был прочитан доклад директора Сербского института в Будишине доктора Д. Шольце "50 лет сорабистики в Будишине" (читал текст Ф. Шен). В собственном докладе Ф. Шен говорил о значении серболужицких библиотек для сохранения национальной самобытности.

Л.П. Лаптева (Москва) сообщила о неизвестных материалах по лужицким сербам, имевшихся в СССР в первые послевоенные годы. На заседаниях секции истории, литературы и культуры интересным, на наш взгляд, был доклад исследовательницы из Польши М. Мецковской (Щецин) о позиции Польши по отношению к Лунице после Второй мировой войны. Несколько сообщений содержали сведения о культурных контактах лужицких сербов с другими славянскими народами в новейшее время. Так, О. Лазор (Львов) осветила вопрос об украинско-верхнелужицких научных и культурных связях во второй половине XX в., а М. Ковар (Будишин) рассказал о контактах серболужицких культурных деятелей со славянскими странами после 1989 г. Несколько докладов было посвящено разным вопросам серболужицкой литературы – поэзии, новелл, фольклора. Наибольший интерес вызвало эмоциональное выступление профессора Львовского университета В.А. Моторного "Луижские мотивы в украинской литературе". Этнографии был посвящен доклад М. Пигуляк (Львов) "Писанка в украинских и лужицких пасхальных обычаях". Важным событием на семинаре была презентация книги "Сербьска Лужица у Львові", представляющая собой каталог книг по

сорабистике, хранящихся в Научной библиотеке Львовского университета и в личных коллекциях славистов. В нем зафиксировано 1049 названий книг и статей, касающихся лужицких сербов. Составлен каталог библиографом М. Кривенко, он снабжен статьей В.А. Моторного о серболужицкой книге и истории развития сорабистики на Украине, имеется также пояснительная статья к каталогу его составителя М. Кривенко и другие пояснения.

Следует подчеркнуть, что рабочими языками семинара были славянские (серболужицкий, польский, украинский, русский, белорусский), т.е. докладчики читали свои

сообщения и вели дискуссии на том языке, какой предпочитали. Общая атмосфера семинара была исключительно дружеской, а отношение хозяев к гостям в высшей степени доброжелательным. На заключительном этапе семинара была организована экскурсия по историческим местам Львовщины. Участники ознакомились с тремя замками, построенным польскими феодалами в XVI–XVII вв., а ныне преобразованными в музей. Правда, два замка из трех еще находятся на реставрации и собственной экспозиции пока не имеют.

© 2002 г. Л.П. Лантева

Славяноведение, № 4

Супруновские чтения в Белорусском государственном университете

28–29 сентября 2001 г. в Минске прошла Международная конференция "Белорусский и другие славянские языки: семантика и прагматика", посвященная памяти проф. Адама Евгеньевича Супруна. Это уже вторая встреча коллег и учеников выдающегося слависта, которые приехали из разных стран, чтобы еще раз оценить вклад А.Е. Супруна в современную лингвистику. Как и предыдущие Супруновские чтения, конференция была организована кафедрой теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета. Эта кафедра была создана А.Е. Супруном в 1966 г., и ею он заведовал до последнего дня жизни.

Адам Евгеньевич Супрун не просто выдающийся ученый – он принадлежал к поколению, представители которого сделали очень много в различных областях языкознания, являлись основателями различных лингвистических школ. Участники конференции обращались к работам А.Е. Супруна разных лет. Отрадно, что Вторые Супруновские чтения носили скорее характер научной конференции, посвященной насущным проблемам языкознания, чем камерной встречи *in memoriam*, что подтверждает актуальность и значимость идей А.Е. Супруна для современной лингвистики.

На конференции были представлены двадцать докладов языковедов из Белоруссии, Германии, Польши, России и Украины. Тематика докладов соотносилась со следующими проблемами: функциональные, структурные и типологические особенности текста, в том числе анализ славянских памятников письменности, и исследования различных аспектов семантики.

Вопросы структуры и типологии текстов, функционирования в них языковых единиц затрагивали в своих докладах Л.И. Соболева ("Анализ структуры поэтического текста: о последней книге профессора А.Е. Супруна"); И.И. Токарева ("Теория речевой деятельности в трактовке А.Е. Супруна и задачи этнографии общения"); Б.Ю. Норман ("Хиазм в славянских языках: предпосылки, условия, следствия"); Н.Б. Мечковская ("Активные процессы в современной белорусской и русской ономастике: национально-семантические различия"); Э. Смуклова ("Мовы і абліччы палітычных і сацыяльных перамен"); А.И. Багмут ("К. Чапек – мастер литературного разговорного стиля"); Е.Н. Руденко ("Метод концептуальных карт применительно к анализу текста"); А.М. Калюта ("Черный и белый цвет: знаки зла и траура в поэзии Арсения Тарковского").

Памятники славянской письменности анализировали Е.М. Верещагин ("Прагматическое исчисление речеповеденческих тактик IX песни Канона Дмитрию Солунскому по древнейшему списку") и А.А. Кожина ("К вопросу об оригинале и переводах текста Екклесиаста").

Различные аспекты семантики рассматривали В.В. Мартынов ("Семантические примитивы: реконструкция и преобразование"); Ж.Ж. Варбот ("Семантические уроки этимологии"); А. Кречмер ("Семантика лица в славянских языках"); К. Иванов ("Прагматика и семантика болгарских проклятий"); Г.И. Шевченко ("О девственном числе 'семь' и фразеологизмах с ним"); А.И. Титова ("Онтогенез ассоциативных структур лексики цветообозначений в славянских языках").

Отдельно следует отметить доклады, посвященные белорусскому языкознанию: Г.А. Цыхун ("З гісторыі беларускай славістыкі: Леу Цвяткоў і яго беларуска-інша-

славянскія штудыі"); Б.А. Плотников ("Глумачальныя слоўнікі беларускай мовы"); А.Е. Михневич ("Идиоматика"); Н.Г. Пригодич ("Праблема гістарычнага словаўтварэння беларускай мовы на сучасным этапе"). Докладчики отмечали связь своих исследований с научными работами А.Е. Супруна, влияние и значимость его идей. Разнообразная тематика докладов Вторых Супруновских чтений еще раз подтвердила то, что Адам Евгеньевич Супрун был многогранным ученым, и его работы могут послужить программой дальнейших исследований для многих современных лингвистов.

Послесловием ко Вторым Супруновским чтениям стала конференция аспирантов кафедры. Традиции выдающегося языковеда продолжает четвертое поколение его учеников – молодые ученые кафедры теоретического и славянского языкознания.

© 2002 г. А.Ю. Першай



К юбилею Светланы Михайловны Фалькович

10 сентября 2002 г. – юбилей видного историка-слависта, одного из крупнейших специалистов по истории Польши и российско-польских отношений, ведущего научного сотрудника Института славяноведения РАН, доктора исторических наук С.М. Фалькович.

Светлана Михайловна принадлежит к поколению, детство которого пришлось на суровое время Великой Отечественной войны. Определяя свой путь в жизни, она решила посвятить себя науке, оставив выбор на истории, и поступила на исторический факультет Московского государственного университета. Ее учителями здесь были Л.В. Черепнин, С.А. Никитин, И.А. Воронков, И.М. Белявская. Уже в студенческие годы Светлану Михайловну увлекла история Польши, неразрывно связанная с героизмом и романтикой освободительного движения. С этого времени история польско-российских революционных и общественных связей становится одной из главных тем в ее научном творчестве.

С 1962 г. С.М. Фалькович – научный сотрудник Института славяноведения РАН, с которым неразрывно связана вся ее последующая плодотворная научная работа. Здесь Светлана Михайловна в 1977 г. защитила докторскую диссертацию "Пролетариат России и Польши в совместной революционной борьбе (1907–1912)". В Институте Светлана Михайловна работала рядом с выдающимися историками-полонистами: В.А. Дьяковым, В.Д. Королюком, И.И. Костюшко, А.Я. Манусевичем, И.С. Миллером, П.Н. Ольшанским. При ее непосредственном участии были подготовлены и осуществлены фундаментальные многотомные издания "Восстание 1863 года. Материалы и документы", "Документы и материалы по истории советско-польских отношений", "Польское освободительное движение и российско-польские общественно-культурные связи в XIX веке". Эти издания по праву оценены как выдающееся достижение современной отечественной науки и вошли в золотой фонд российской и польской историографии.

Круг исследовательских интересов С.М. Фалькович чрезвычайно широк как в хронологическом плане, так и по изучаемой проблематике. Ее научные труды посвящены истории Польши с XVIII в. по 30-е годы XX в. Перу Светланы Михайловны принадлежат три монографии, одна из которых издана на польском языке; также она соавтор семи коллективных трудов, опубликовала большое количество статей. Книги, вышедшие под ее редакцией, в целом составляют объем более тысячи авторских листов.

Основными направлениями исследований С.М. Фалькович стали политическая история Польши, история освободительного и национального движения на польских землях, а также история польской культуры и российско-польских культурных связей. Она уделяет большое внимание проблемам идеологии, изучая польскую общественную мысль в контексте истории общественных движений и общественного сознания народов Центральной и Восточной Европы. Интерес С.М. Фалькович к сравнительным исследованиям проявился в работах, посвященных польско-украинским и польско-российским отношениям. Ею написаны книги и статьи о русско-польском революционном сотрудничестве, о роли культурного фактора в формировании взаимоотношений русского и польского народов. Год от года С.М. Фалькович расширяет проблематику научного поиска. В последнее время она внесла значительный вклад в изучение проблемы национальных стереотипов во взаимных представлениях друг о друге поляков и русских. В связи с этим особенно хотелось бы отметить ее работы недавнего времени о взаимоотношениях православия и католицизма и их роли в польско-российских отношениях.

Рассматривая конкретные вопросы, С.М. Фалькович всегда изучала их в широком историческом контексте. Так, в "Краткой истории Польши" (1993) она исследовала чрезвычайно важный для становления польской нации и польского национального сознания период 1864–1914 гг., всесторонне осветив

экономические, национальные, политические и культурные проблемы. Столь же синтетический характер отличает написанные ею разделы в коллективной монографии "Освободительные движения народов Австрийской империи" (1981) и в подготовленном под ее руководством коллективом труде "Европейские революции 1848 г. "Принцип национальности" в политике и идеологии" (2001). Названные работы внесли значительный вклад не только в изучение конкретной истории становления наций и развития межнациональных отношений, но и во многом способствовали методологической разработке соответствующих проблем.

Отличающая С.М. Фалькович неиссякаемая творческая энергия проявляется не только в ее многочисленных публикациях, но и в активном участии в научных конференциях как в России, так и за рубежом. Стало уже традицией, что не менее трех раз в год Светлана Михайловна выступает с научными докладами, каждый из которых становится событием в научной жизни.

Нельзя не сказать о характерной для С.М. Фалькович высокой принципиальности и установившейся в ее отношениях с коллегами-учеными, с товарищами по Институту, с друзьями взаимной требовательности, подлинно научной и вместе с тем товарищеской, душевной атмосфере. Подобный стиль отношений способствует успеху в работе и, несомненно, укрепляет авторитет ученого. О высоком авторитете С.М. Фалькович свидетельствует не только внимание к ее выступлениям на заседаниях Ученого совета ИСЛ РАН, не только глубокое уважение, которым она заслуженно пользуется среди польских и российских коллег, но и то, что на протяжении многих лет она является членом двусторонней Комиссии историков России и Польши.

От всего сердца поздравляя С.М. Фалькович с юбилеем, ее коллеги и друзья по Институту, российские и польские ученые желают ей здоровья, успехов во всех начинаниях и новых творческих достижений.

© 2002 г. *Б.В. Носов*

Славяноведение, № 4

К юбилею Людмилы Норайровны Будаговой

В сентябре 2002 г. отечественная славистика отмечает юбилей одного из ведущих литературоведов-славистов в нашей стране – Людмилы Норайровны Будаговой.

Закончив филологический факультет МГУ, с 1959 г. она работает в Институте славяноведения РАН, где в 1966 г. защитила кандидатскую, а в 1995 г. докторскую диссертацию. С декабря 1992 г. возглавляет "Центр истории славянских литератур до 1945 г." И не просто возглавляет, а является его душой, прекрасным организатором, внимательным к научной стороне и чутким к людям.

Диапазон научных интересов Л.Н. Будаговой весьма широк. Вначале она специализировалась прежде всего в области чешской и словацкой литератур, особенно поэзии, в последний период ее привлекают более общие вопросы развития литератур Восточной Европы, широкий поэтический контекст, аспекты взаимосвязей и взаимовлияния литературных течений. За годы работы в Институте ею написаны многочисленные труды (всего их более 120). Прежде всего это монография "Витезслав Незвал. Очерк жизни и творчества" (М., 1967). Незвалу, этой одной из самых ярких фигур в истории чешского искусства, Л.Н. Будагова посвятила многие свои исследования. Уже в одной из первых статей "Начало пути (поэзия Витезслава Незвала в 20-е годы)" 1960 г. проводится тонкий, глубокий анализ творчества поэта периода рождения и формирования его таланта, незваловского стиля, его "светлого восприятия мира", определяется место художника в литературе. Никаких ярлыков и развенчивания декадентского искусства мы здесь не найдем, хотя послевоенная догматическая критика всячески обвиняла Незвала в формализме, что было равносильно политическим обвинениям. "Место художника в литературе 20-х годов определялось часто успешностью преодоления модернистских воззрений на искусство", – отмечает Л.Н. Будагова (Литература славянских народов. М., 1960. Вып. 5. С. 79). Фраза осуждения и неприятия как бы оборвана на полуслове... Это сегодня легко можно написать подобное и развить данный тезис на несколько страниц, но эти строчки были написаны в 1959 (!) году совсем молодым, начинающим свой путь в науке ученым. "С конца 40-х – начала 50-х годов... как никогда прежде литература должна была соизмерять свои шаги и действия с господствующей идеологией и политикой, а писатель не только внешне, но и внутренне, – что особенно губительно для искусства – был ограничен в свободе выбора и выражения своей позиции, –

пишет Будагова (История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. 3. С. 359). И, естественно, это в такой же степени касалось литературоведения. Когда спустя несколько десятилетий пришла мода клеймить тех, кто был до конца привержен социалистической идее, оставался верен СССР, крупнейший представитель поэтизма стал удобной мишенью. И тут нельзя не отметить, что отношение Л.Н. Будаговой к Незвалу, да и к другим авторам, никогда и ни при каких обстоятельствах не менялось в зависимости от политических веяний, и ее трактовка его творчества исходила лишь из таланта художника. "Вожделю чешского авангарда... ныне посмертно приходится расплачиваться за свою приверженность", – писала Будагова в статье "Витезслав Незвал и I съезд советских писателей" в 1991 г. Но вера в идею "не вина, а скорее драма многих писателей XX века, в основе которой противоречие между человеческой, по сути дела христианской сущностью этой идеи, ведущей к свободе, равенству, братству, и бесчеловечными методами ее внедрения в жизнь, которыми суждено было прославиться стране "победившего социализма". Но противоречие это раскрывалось не сразу, а многим, в том числе и Незвалу не хватало целой жизни, чтобы понять его" (Общие литератур. Чешско-русские и словацко-русские литературные связи XIX–XX вв. М., 1991. С. 188). Бескомпромиссность при анализе мира художника, его поэтики, стремление отстоять и уберечь авторов от необъективных оценок и, в то же время, глубоко личностное отношение к любому писателю, творчеством которого ни занималась бы исследовательница, – вот то наиболее важное в характеристике Л.Н. Будаговой как ученого и человека. Для нее В. Незвал, В. Завада, Я. Заградничек, Я. Сейферт это не просто крупные и сложные художники, но живые люди со всем комплексом присущим им противоречий, жизненных коллизий. Понять и объяснить и заблуждения, и ошибки, радость и горе пережитого, воплощенного в творчестве, привлекая историко-литературный контекст, используя традиционные и новые, неординарные теоретико-методологические аспекты – это стиль Будаговой. Отношение ее прежде всего к чешским авторам эмоционально и отражает яркую индивидуальность и увлеченность самой исследовательницы, пришедшей в славистику и навсегда полюбившей культуру небольшой страны, а без этого, вероятно, и невозможно стать настоящим литературоведом.

Не только чешские авторы и сугубо поэтические течения интересовали исследовательницу. Наряду с работами, касающимися узких тем, отдельных авторов (Сюрреализм в Чехословакии. 30-е годы // Художественные процессы и направления в искусстве стран Восточной Европы 20–30-х годов XX в. М., 1995; "Зона" Аполлинера и чешская поэзия 20-х годов XX в. // Поэзия западных и южных славян и их соседей. М., 1996; "Соединить поэзию и живопись..." (Взаимотношения двух типов творчества в чешском авангарде // От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996) Л.Н. Будагова берет более широкий контекст и подходит к изучению общих явлений и процессов как высокоэрудированный специалист по поэзии (Модернизм в литературах южных и западных славян. Универсальное и оригинальное // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов. XII Международный съезд славистов (Краков, 1998). Доклады российской делегации. М., 1998; Tendence avantgardy – poetizmu a surrealismu v české poválečné poezii. In: Rok 1947. Česká literatura. Kultura a společnost v období 1945–1948. Praha, 1998; Нет, он не "стар для современья..." (Восприятие А.С. Пушкина чешским поэтическим авангардом) // А.С. Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000).

Статьи Л.Н. Будаговой переводились на чешский, словацкий, польский, сербохорватский, немецкий языки. Она – автор большинства коллективных трудов литературоведов Института славяноведения, член редколлегий одиннадцати из них и ответственный редактор книг, в том числе сборников: "Очерки истории чешской литературы XIX–XX вв. (М., 1963); "Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы первой трети XX в. (М., 1989); "Литературный авангард. Особенности развития (М., 1993); "Поэзия западных и южных славян и их соседей" (М., 1996); "Пушкин и мир славянской культуры" (М., 2000); "История литератур западных и южных славян" (М., 1997–2001. Т. 1–3). Последний труд (а Л.Н. Будагова является ответственным редактором третьего тома, одним из основных его авторов, и фактически эта коллективная монография с самого начала создавалась по ее инициативе и во многом благодаря ее энтузиазму) хотелось бы отметить особо: это фундаментальная работа, задачей которой была ликвидация белых пятен в литературной истории западных и южных славян и преодоление идеологической предвзятости по отношению к отдельным авторам и целым направлениям, работа, не имеющая аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной славистике.

Участие Л.Н. Будаговой во многих зарубежных и отечественных конгрессах и конференциях вызывало огромный интерес, например, ее доклады на первом и втором конгрессах богемистов-литературоведов в 1995 и 2000 г. в Праге по темам: "Чешская поэзия в России" и "Некоторые парадоксы отношений декаданса и авангарда в чешской поэзии" были особо отмечены чешскими критиками и литературоведами. По ее инициативе и под руководством проводились конференции и "круглые столы" в Институте славяноведения с привлечением ученых МГУ и других научных центров ("Литературы западных и южных славян в период Второй мировой войны", "Наш современник Янко Есенский" и др.).

Нельзя не сказать и об огромной популяризаторской работе, которой Людмила Норайровна уделяет много внимания. Она – автор предисловий и комментариев в изданиях чешской поэзии и прозы, часто

выступает с лекциями и докладами, посвященными известным чешским поэтам XX в. Ее выступления всегда отличаются яркостью, концептуальностью, она готова процитировать строки любимых поэтов практически на все случаи жизни, что выгодно оттеняет ее живое изложение.

Научная работа Л.Н. Будаговой отмечалась международными премиями (премией Чешской и Словацкой АН, Чешского Литфонда), в 1995 г. она была избрана иностранным членом Матицы Сербской. Под ее руководством написаны кандидатские диссертации.

В заключение хотелось бы еще раз сказать о большом, неоценимом вкладе Людмилы Норайровны Будаговой в изучение славянских литератур, преданности ее науке, любви к самой идее славянства, оценить ее дар ученого, организатора, просто глубоко порядочного человека, неординарной и обаятельной личности.

© 2002 г. *Коллеги и друзья*

Славяноведение, № 4

Марк Яковлевич Гольберг

В 2002 г. исполняется 80 лет Марку Яковлевичу Гольбергу, доктору филологических наук, профессору Дрогобычского педагогического университета имени И. Франко, и 50 лет с начала его научной и педагогической деятельности.

М.Я. Гольберг родился 12 сентября 1922 г. в Харькове в семье медиков. Однако профессия родителей не стала его призванием. Увлечение украинской литературой, знакомство еще в школьные годы с молодым поэтом М. Кульчицким, открывшим ему поэзию "серебряного века" во многом определили судьбу юноши.

В 1940 г. М.Я. Гольберг поступил на филологический факультет Харьковского университета, но война прервала учебу, и в 1942 г. вчерашний студент, как и многие его ровесники, вступил в ряды защитников Родины. После Победы он вновь вернулся в университет, закончил не только учебу на факультете, но и аспирантуру (1951) на кафедре русской литературы. В 1952 г. он становится преподавателем Дрогобычского пединститута (ныне университета). Именно с этим учебным заведением связан пятидесятилетний научно-педагогический путь филолога.

В 1954 г. М.Я. Гольберг защитил кандидатскую диссертацию, посвященную лирике В.В. Маяковского. Но впоследствии тематика его работ существенно меняется: большое место в его научных исследованиях стало занимать изучение деятельности и творчества Ивана Франко, а также истории развития украинско-южнославянских культурных связей. Результатом этих изысканий явилась монография "Иван Франко і українсько-сербські культурні зв'язки" (1991).

Глубокое вхождение в эту проблематику, скрупулезное исследование архивных материалов позволили ученому значительно расширить исследования в области истории южнославянских литератур и украинско-южнославянских литературных и культурных связей. Об этом свидетельствует даже краткий перечень статей и книг М.Я. Гольберга по этой проблематике: "Взаимодействие просветительской идеологии и романтизма (на материале южнославянских литератур)" (1977), "Иван Вазов: Життя і творчість" (1976), "Христо Ботев: Нарис життя і творчості" (1988) и многие другие. Он уделяет пристальное внимание истории общественно-политических движений как у южных славян, так и на Украине, намечает точки пересечения между ними, рассматривает жизнь и творчество ведущих общественных деятелей и известных писателей (Ю. Федьковича, А. Метлинского, Ж. Жуевича, Е. Пелина, С. Сарайлия, М. Вовчок, Я. Головацкого, Л. Первомайского, П. Кулиша и др.). Результаты многих исследований в этой области были реализованы в докторской диссертации М.Я. Гольберга "Украинско-сербские литературные связи во второй половине XIX века", защищенной в 1989 г. в Институте литературы АН Украины. В последующие годы это научное направление пополнилось исследованиями творчества Леси Украинки и анализом славянских мотивов в ее произведениях («Поэма Лесі Українки "Віла поестра" і питання українсько-сербських фольклорних і літературних взаємин», Дрогобыч, 2001).

М.Я. Гольберг обращается к исследованию истории восточнославянских литератур в аспекте их взаимосвязей и взаимовлияний ("На стыке двух литератур: Белорусско-украинский взаимоперевод в зеркале критики" (1980), "Олександр Блок і його перекладачі: Про українські переклади творів О. Блока" (1981) и др.). Ученый является одним из авторов академического издания "Українська література в загально-слов'янському і світовому літературному контексті". Т. I "Українська доживотнева література і слов'янський світ" (Киев, 1984).

Обращение к широкому кругу проблем славянского литературного творчества и межславянских литературных и культурных взаимосвязей способствовало переходу ученого к этапу их сравнительно-теоретического осмысления ("До типології патріотичних мотивів у слов'янських літературах" (1971), "Актуальні проблеми вивчення історико-літературного процесу" (1990), "Проблеми порівняльного літературознавства" (1974) и др.).

Творческий поиск ученого способствует тому, что, наряду с литературоведческими и историко-литературными темами, он охватывает в своих трудах и культурологические, философские, историко-научные проблемы ("Читатель и коммуникативные функции культуры: Барокко, Просвещение, романтизм" (1985), "Міжслов'янські літературні зв'язки як предмет вивчення" (1968), "Национальная самокритика как фактор формирования национального самосознания" (1992), "Взаимодействие литературы и некоторые вопросы психологии творчества" (1973) и др.).

Большое место в исследовательской деятельности М.Я. Гольберга уделяется и вопросам интерпретации текстов, теории и практики литературного перевода, его историко-литературным и культурологическим аспектам ("Текст и его интерпретатор: о литературоведческой концепции А.В. Чичерина" (1990), "Долаючи час і простір: Переклад і проблеми національного відродження" (1992) и др.). В трудах по этой тематике автор постоянно проводит мысль о значимости перевода как одной из важнейших форм литературных и – шире – культурных взаимосвязей.

Особое место в своей работе М.Я. Гольберг отводит научно-методической литературе, созданию пособий, посвященных методике преподавания ("О курсе истории славянских литератур" (1970) и др.).

М.Я. Гольберг всегда пристально следит за новинками научной литературы, многочисленны рецензии ученого на книги, связанные с проблемами литературы, культуры, славистики.

Общий список трудов М.Я. Гольберга, которые публиковались в различных научных и массовых изданиях – украинских, российских, белорусских, а также во многих славянских странах, включает более 600 позиций. Автор этих работ предстает как теоретик и историк литературы, культуры, славист широкого профиля, философ, человек большой эрудиции, тонкий стилист, знаток славянских языков.

За полвека преподавательской деятельности М.Я. Гольберг подготовил огромное количество молодых специалистов, с которыми щедро делится своими знаниями. Как научный руководитель профессор передает своим молодым коллегам, дипломникам и аспирантам, не только свой богатый научный багаж и исследовательский опыт, но и увлеченность проблемами перевода, сравнительного литературоведения.

В деятельности М.Я. Гольберга органично и весьма плодотворно сочетаются разные стороны его творческой натуры: исследователя, литературного критика, педагога.

Желаем юбиляру дальнейших успехов на всех поприщах.

© 2002 г. *Е.П. Аксенова, Т.И. Чепелевская*



Памяти Льва Никандровича Смирнова

27 ноября 2001 г. ушел из жизни Лев Никандрович Смирнов, крупнейший российский словакист, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН. Совсем недавно – в мае 1998 г. – его коллеги и друзья отмечали семидесятилетие ученого. И вот теперь это печальное событие.

Л.Н. Смирнов относился к тому поколению ученых, для которых их профессиональные занятия стали смыслом и главной целью жизни. Окончив славянское отделение филологического факультета Московского университета по специальности "словацкий язык", он стал сотрудником Института славяноведения АН СССР. Именно здесь он получил возможность не только применить полученные знания, но и пройти путь ученого, стал высококвалифицированным славистом широкого профиля. В течение семнадцати лет Л.Н. Смирнов руководил Сектором славянского языкознания, а последние годы – Центром по изучению славянских литературных языков.

Л.Н. Смирнов является автором более 200 научных трудов. Широкому кругу славистов он известен прежде всего своими работами по словакистике. Изучение языка и культуры словацкого народа стало смыслом его жизни. Спектр интересов Льва Никандровича охватывал проблематику как истории, так и современного состояния словацкого языка. Специальное внимание исследователя привлекали категории вида и времени словацкого глагола. Эти вопросы освещаются в монографии "Глагольное видообразование в современном словацком литературном языке", защищенной им в 1972 г. в Институте языкознания им. Л. Штура Словацкой академии наук в Братиславе в качестве докторской диссертации. Исследование значимо не только большим и полноценным фактическим материалом, но и детальной разработкой общетеоретических проблем славянской аспектологии.

Л.Н. Смирнов много занимался проблематикой истории славянских литературных языков, прежде всего словацкого. Упомянем в этой связи разделы в коллективных трудах Института "Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма" (М., 1989), "Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе" и др. Предметом заинтересованности Л.Н. Смирнова было и становление литературного словацкого языка в период национального Возрождения. Этой тематике посвящен цикл статей о А. Бернолаке и Л. Штуре, имевших отклик как у отечественных, так и словацких исследователей. В последний период жизни Л.Н. Смирнов изучал проблему значимости переводов Библии для становления литературно-языковых норм. Под его руководством был подготовлен коллективный труд "Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков", в котором перу Л.Н. Смирнова принадлежат введение и глава о словацком языке. К сожалению, руководитель не дождал до его выхода в свет.

Весьма значителен вклад Л.Н. Смирнова в развитие словацкой лексикографии. На протяжении ряда лет он был редактором-рецензентом изданного в Словакии шеститомного "Большого словацко-русского словаря". В поле зрения Л.Н. Смирнова находилась, разумеется, не только проблематика словакистики. Его интересовали общетеоретические и сравнительно-типологические проблемы, вопросы интернационализации и демократизации литературного

языка, функционирование заимствований и т.п. Л.Н. Смирнов выступал с докладами на самых различных международных научных форумах – он был участником семи международных съездов славистов, различных конференций и симпозиумов в Словакии, Польше, Болгарии. В сфере деятельности ученого находилась историографическая проблематика – назовем в этой связи коллективный труд "Российская филологическая наука и зарубежное славянство: отечественные слависты XIX в. о формировании национальных литературных языков южных и западных славян". Реализации этого замысла были посвящены последние годы его жизни.

Важными чертами Л.Н. Смирнова как ученого и человека были эрудиция и блестящее владение материалом, исключительная добросовестность и обязательность. Уже больным он завершил свою последнюю статью "Отражение взаимодействия культур в художественном переводе", предназначенную для международного проекта "Встречи этнических культур в зеркале языка".

Л.Н. Смирнов в течение ряда лет был членом редколлегии и заместителем главного редактора журнала "Советское славяноведение", членом редколлегии известного серийного издания "Славянское и балканское языкознание", членом международной комиссии по социолингвистике при Международном комитете славистов.

Научную деятельность Лев Никандрович сочетал с педагогической. Он читал лекции, руководил спецсеминарами, курсовыми и дипломными работами на славянском отделении филологического факультета МГУ и факультете иностранных языков. Им были прочитаны спецкурсы во Львовском университете и Самарской гуманитарной академии. Много сил и внимания уделял работе с аспирантами.

Заслуги Л.Н. Смирнова были по достоинству оценены высокими академическими наградами: "Золотой почетной медалью имени Людовита Штура" Словацкой Академии наук и "Серебряной медалью имени Йозефа Добровского" Чехословацкой Академии наук.

Всем нам, знавшим Л.Н. Смирнова многие годы, будет очень трудно смириться с его уходом из жизни. Он был человеком жизнерадостным, общительным и, что не так уж часто встречается в гуманитарной среде, мужественным. Несмотря на все жизненные испытания, умел сохранять душевное равновесие, вносить умиротворение в бурлящий эмоциями коллектив, был прекрасным шахматистом, многолетним активным участником институтских капустников.

Нам будет не хватать его улыбки, задорных песен, его трогательных стихов.

© 2002 г. Г.П. Нецименко

Славяноведение, № 4

Памяти Раисы Романовны Кузнецовой

Российская богемистика понесла тяжелую утрату. 31 декабря 2001 г. на 82 году жизни скончалась Раиса Романовна Кузнецова, видный специалист по чешской литературе, доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ, член Союза писателей СССР и России. Она была награждена медалью Карлова университета в Праге и международной премией Витезслава Незвала за пропаганду чешской литературы.

Более пятидесяти лет проработала Раиса Романовна в МГУ. Многие поколения богемистов и словакистов, слависты других специальностей были ее студентами и аспирантами. Среди них – сотрудники Института славяноведения Л.Н. Будагова, Л.Н. Титова, Ю.В. Богданов, Ю.И. Ритчик, И.А. Герчикова, Н.В. Шведова, аспирант Института И.В. Ястребов, сотрудник ИМЛИ С.И. Бэлза.

Раиса Романовна Кузнецова перед войной училась в ИФЛИ, во время войны эвакуировалась и завершила обучение на восстановленном филологическом факультете МГУ. Закончила аспирантуру МГУ, работала во Всесоюзном обществе культурных связей с зарубежными странами. В университете преподавала с 1949 г. Раиса Романовна была одним из наиболее авторитетных литературоведов-славистов нашей страны. Ей принадлежит около 170 научных

публикаций, примерно треть из них вышла в Чехии. В числе трудов Раисы Романовны – работы о Юлиусе Фучике и Марии Майеровой, монографии "Становление романа-эпопеи нового типа в чешской прозе" (1975), "Чешский межвоенный роман: эволюция жанра и стиля" (1980), "Роман 70-х годов в Чехословакии" (1980; второе, дополненное издание – 1988), учебник "История чешской литературы" (1987). В год ее кончины вышла книга "История чешской литературной критики".

Раиса Романовна была доброжелательным, но одновременно и требовательным научным руководителем, не ограничивала свободу мышления студентов и аспирантов, помогала своими советами найти верный путь, стремилась развить творческие способности подопечных. До последних дней Раиса Романовна работала на кафедре славянской филологии филологического факультета МГУ. Она была для нас образцом работоспособности, добросовестности в науке, требовательности к себе. Уже в немолодые годы Раиса Романовна была исполнена жизнелюбья, приветливости, всегда была подтянутой и красивой. Годы, проведенные под руководством Раисы Романовны, невозможно забыть. Мы с гордостью и благодарностью называем себя ее учениками. Она передавала нам не только знания, но и любовь к чешской и словацкой литературе, к культуре народов Чехии и Словакии.

Раиса Романовна умерла в последний день первого года нового века, передав нам эстафету служения науке и преподаванию. Светлая память о Раисе Романовне сохранится в душах людей, знавших ее. Мы постараемся быть достойными своего Учителя.

© 2002 г. *Н.В. Шведова*

Новые издания Института славяноведения РАН

В 1999–2002 гг. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:

*Автопортрет славянина. М., 1999.

Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1917–1990-е годы). Центральноевропейские исследования. М., 1999. Вып. 1.

Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М., 1999.

Власть и интеллигенция. Культурная политика в странах Центральной и Восточной Европы. 1920–1950-е годы. М., 1999. Вып. 3.

Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. М., 1999.

*Геннадюс. К 70-летию академика Г.Г. Литаврина. М., 1999.

Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. М., 1999.

*Греческая культура в России. XVII–XX вв. М., 1999.

Дмитриев М.В., Заборовский Л.В., Турилов А.А., Флоря Б.Н. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII в. Ч. II: Брестская уния 1596 г. Исторические последствия события. М., 1999.

Коровицына Н.В. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX в. М., 1999.

**Лабунцев Ю.А., Шавинская Л.Л.* Белорусско-украинско-русская православная книжность межвоенной Польши: Исследования и публикации. М., 1999.

Македония: проблемы истории и культуры. М., 1999.

Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999.

*Польша и Европа в XVIII в. М., 1999.

Славянские этюды. Сборник к юбилею С.М. Толстой. М., 1999.

*Славянский альманах. 1998. М., 1999.

Фрейдзон В.И. Нация до национального государства. Историко-социологический очерк Центральной Европы XVIII в. – начала XX в. Дубна, 1999.

**Адельгейм И.Е.* Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка. М., 2000.

**Аксенова Е.П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.

*А.С. Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000.

*Балто-славянские исследования. 1998–1999. М., 2000.

Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000.

**Бернштейн С.Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Век Екатерины II. Дела балканские. М., 2000.

**Головачева А.В.* Стереотипные ментальные структуры и лингвистика текста. М., 2000.

**Задорожник Э.Г.* Социал-демократия в Центральной Европе. М., 2000.

**Калиганов И.И.* Георгий Новый у восточных славян. М., 2000.

**Кирилина Л.А.* Словенцы и революция 1848–1849 гг. М., 2000.

*Книга в пространстве культуры. М., 2000.

Лабунцев Ю.А., Шавинская Л.Л. Православная литература белорусов современной Польши. М., 2000.

- * *Маркович Д.Ж.* Разговор с друзьями. М., 2000.
 - * *Международные организации и кризис на Балканах. Документы.* М., 2000. Тома I, II.
 - * *Плотникова А.А.* Словари и народная культура. Очерки славянской лексикографии. М., 2000.
 - * *Политика и поэтика. Сб. статей.* М., 2000.
 - Поляки и русские в глазах друг друга.* М., 2000.
 - Поляки и русские. Взаимопонимание и взаимопонимание.* М., 2000.
 - * *Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVII века.* М., 2000.
 - Славяно-германские исследования.* М., 2000. Т. 1–2.
 - * *Славянские народы: общность истории и культуры.* М., 2000.
 - * *Хиванова О.В.* Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре: движение 1790 года. М., 2000.
 - * *Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности.* М., 2000.
 - * *Беседы на Лубянке. Следственное дело Дёрдя Лукача. Материалы к биографии.* М., 2001.
 - * *Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы.* М., 2001.
 - * *Гугнин А.А.* Серболужицкая литература XX века. М., 2001.
 - * *Из Варшавы: Москва, товарищу Берия. Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг.* М.-Новосибирск, 2001.
 - * *Институт славяноведения. 1999–2000.* М., 2001.
 - * *Исследования по славянской диалектологии. 7.* М., 2001.
 - * *История литератур западных и южных славян.* М., 2001. Т. 3.
 - * *Костюшко И.И.* Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы). М., 2001.
 - * *Молошаная Т.Н.* Грамматические категории глагола в современных славянских литературных языках. М., 2001.
 - * *Николаев С.Л., Толстая М.Н.* Словарь карпатоукраинского торуньского говора. М., 2001.
 - * *Смирнов Л.Н.* Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. М., 2001.
 - * *Стькалин А.С.* Дьердь Лукач – мыслитель и политик. М., 2001.
 - Фрейдзон В.И.* История Хорватии. М., 2001.
 - * *За балканскими фронтами Первой мировой войны.* М., 2002.
 - * *Studia Polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева.* М., 2002.
- Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва. Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения РАН, комн. 921. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Shnirelman V.A.</i> (Moscow). Russians, Non-Russians and Eurasian Federalism: Eurasians and their Opponent ...	3
<i>Kosik V.I.</i> (Moscow). "Young Russia" (Question of Russian Fascism)	21
<i>Efimova V.S.</i> (Moscow). First Person Pronoun in Oldest Slavic Textes	32

HISTORY OF SLAVIC STUDIES

<i>Bonazza S.</i> (Verona). South-Slavic Problems in Vatroslav Jagich' Magazin "Archiv fur Slavische Philologie" ..	43
<i>Bott M.-L.</i> (Berlin). "Philology" or "Study of Adversary"? The Fasmer Slavic Institute in Development of Slavic Studies in Germany (1925–1932)	57
<i>Aksyonova E.P.</i> (Moscow). A.V. Florovsky's Letter (1938) to "The Slavic Institute" in Prague	65

COMMUNICATIONS

<i>Kalinina T.M.</i> (Moscow). Etiological and Etimological Legends about Slavs in XI Century Persian Writer Gardizi	68
<i>Korolev G.I.</i> (Moscow). Study of Heraldic Documents in Hugarian, Slovack and Czech Historiography	74

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Matejič P. A.</i> Fotič. Sveta gora i Hilandar u Osmanskom carstvu XV–XVII vek	82
<i>Deuschikova A.V.</i> Н.Н. Гордеев. Пражская научная школа конца XVI–начала XVIII века	86
<i>Nikitin S. S.</i> Aloe. Angelo De Gubernatis e il mondo slavo: Gli escordi della slavistica italiana nei libri, nelle riviste e nell'epistolario di un pioniere (1865–1913)	89
<i>Zadorozhnyuk I.E.</i> R. Paradowski. Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei	91
<i>Kaznina O.A.</i> G.S. Smith. D.S. Mirsky: A Russian–English Life (1890–1939)	94
<i>Dostal M.Yu.</i> L. Harbul'ová. Ladomirovské reminiscencie. Z dějin ruskej pravoslavnej misie v Ladomirovej. 1923–1944	99
<i>Vasiliev M.A.</i> Неоязычество на просторах Евразии	100
<i>Fridman M.V.</i> G. Barbă, L. Cotorcea, A. Crasovschi. Слово о полку Игореве. Cântecului oastei lui Igor	105
<i>Gavryushina L.K.</i> Дж. Трифунович. Ка поченима српске писмености	107
<i>Kostyuchin E.A.</i> Е.Г. Водолазкин. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале хронографического и палеяного повествования XI–XV веков)	112
<i>Gusev V.E.</i> Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj Nacionalnoj biblioteci. Faksimili.	115
<i>S.O. Vialova.</i> Glagojski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj Nacionalnoj biblioteci. Opis Fragmenta	115
<i>Turilov A.A.</i> А. Джурова. К. Станчев. Описание славянских рукописей Папского восточного института в Риме	117
<i>Ryzhova M.I.</i> Prešernovi dnevi v Branju. Simpozij ob 150-letnici smrti dr. Francta Prešerna	125

SCHOLARLY LIFE

<i>Efimova V.S.</i> Slavic and Bulgaric Conference Devoted to E.I. Dyomina Anniversary	129
<i>Lapteva L.P.</i> IX International Sorabistic Festival in Lvov	131
<i>Pershay A.Yu.</i> Conference in Honor of Suprun in the Byelorussian State University	132

JUBILEES

Towards Anniversary of Svetlana Mikhailovna Falkovich	134
Towards Anniversary of Lyudmila Norayrovna Budagova	135
Mark Yakovlevich Golberg	137

OBITUARIES

Lev Nikandrovich Smirnov: in Memoriam	139
Raisa Romanovna Kuznetsova: in Memoriam	140
New Publications of the Institute for Slavic Studies, RAS	142

Технический редактор *В.М. Пахомова*

Сдано в набор 12.04.2002 Подписано к печати 05.06.2002 Формат 70 × 100 ¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.-печ.л. 11,7 Усл. кр.-отт. 7,0 тыс. Уч.-изд.л. 13,0 Бум.л. 4,5
Тираж 550 экз. Зак. 6439

Свидетельство о регистрации № 0110184 от 4 февраля 1993 года
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук.

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

Индекс 70891

Славяноведение, 2002, № 4

ISSN 0132-1366